Humanitas

Нестор Котляревский

Михаил Юрьевич Лермонтов

Личность поэта и его произведения

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – литературовед, публицист, критик. Книга о Лермонтове написана в 1891 году, в год пятидесятилетия со дня кончины поэта и к 1915 году выдержала пять изданий. Книга позволяет проникнуть в творческую лабораторию М. Ю. Лермонтова, раскрывает глубину и остроту его мысли, богатство оттенков его настроения, отклик его поэтической души на все впечатления жизни, его раздумья над нравственной ценностью жизни и нравственным призванием человека.

В Приложении публикуется очерк об А. И. Одоевском из книги Н. А. Котляревского «Декабристы».

- Нестор Котляревский
  -
  - I
  - II
  - III
  - Детство и юность
    - I
    - II
    - III
    - IV
  - Юношеские стихотворения
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
  - Учителя и книги
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - «Демон»
    - I

- II
- III
- IV
- V

- Юношеские драмы. «Вадим». «Измаил-Бей»
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
- Первые годы в Петербурге
  - I
  - II
- Литературная деятельность до 1837 года
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- Последние годы
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
- «Герой нашего времени»
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI

- VII
- VIII

○ Личность поэта
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

○ Лермонтов и литературное движение его эпохи
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI

○ Современная Лермонтову лирика
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- Комментарии

○ Приложение. Князь Александр Иванович Одоевский
-
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX

- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120

- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161

Нестор Котляревский
Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук

© Левит С.Я., составление серии, 2015
© Центр гуманитарных инициатив, 2015

* * *

Эта книга была написана в 1891 году, в год пятидесятилетия со дня кончины Лермонтова. Тогда много говорили и писали о Михаиле Юрьевиче. Суд потомства над ним как человеком и поэтом поражал отсутствием согласия в конечных выводах. Каждый из судивших истолковывал по-своему душу писателя и смысл его слов, по-своему оценивал общечеловеческое или историческое значение его поэзии.

Такое разногласие не должно удивлять нас, если мы вспомним, какой сложной, полной противоречий, какой загадочной психической организацией был одарен Лермонтов: как глубок был смысл его речей – плод его острой мысли – и как богато оттенками его настроение – отклик его поэтической души на все впечатления жизни, не только его окружавшей, но жизни вообще как великой нравственной проблемы.

Долгие годы, протекшие со дня кончины Лермонтова, сохранили его живым для нас. Многое, о чем он думал, осталось и для нас предметом живого размышления; многие из его страданий и радостей продолжали и нас печалить и радовать, и мы, говоря о нем, не могли забыть о себе.

Личные симпатии и антипатии должны были примешаться к суждениям об этом большом поэте и вместе с тем столь типичном выразителе и истолкователе одной весьма знаменательной эпохи в истории нашей образованности.

Жизнь поэта была, таким образом, продолжена за пределы его гроба, и это было новым оправданием красоты его поэзии и ее

общечеловеческого смысла.

История жизни Лермонтова в настоящее время восстановлена – насколько это допускают дошедшие до нас скудные сведения. Нельзя сказать, что это жизнеописание во внешних своих очертаниях представляет большой интерес. Поэт умер очень рано и в книге жизни успел перелистать лишь несколько страниц, и то довольно однообразных. Но он в себе самом носил целый мир чувств, идей и видений.

Эти мысли, настроения и грезы он облек в художественную поэтическую ризу. Для всех, кто чуток к красоте, кто склонен и любит думать о ее смысле и назначении в нашей жизни, поэзия Лермонтова навсегда останется неиссякаемым родником наслаждения и размышления.

Но в ней есть и иная сила, столь же вечная, как ее красота. В художественную форму облекла эта поэзия целый ряд вопросов нравственного порядка – вопросов, не только связанных с определенным историческим моментом нашей русской жизни, но связанных вообще с бытием человека, поскольку человек мыслит и ощущает себя не единичным явлением, а частью единого целого, в отношении к которому у него есть и права, и обязанности.

Лермонтов – из семьи моралистов, искателей нравственной истины.

Чего искал он и как искал – вот вопрос, на который автор настоящей книги желал бы ответить.

I

Раздумье над нравственной ценностью жизни и нравственным призванием человека составляет одну из отличительных черт минувшего XIX века. Он был веком тяжелых испытаний для нашего нравственного чувства и вместе с тем веком очень сильного воздействия всевозможных этических учений на самый ход жизни. Редко когда человек мучился так вопросами личной и общественной этики, как в это столетие, начавшееся с крутой ломки главнейших устоев духовной и материальной жизни культурного мира и окончившееся ожиданием столь же радикального перелома.

Века зарождающегося и торжествующего христианства, равно как и эпоха реформационных движений, могут, конечно, по силе и глубине поднятых в те годы нравственных вопросов поспорить с XIX столетием. Но надо помнить, что первые христиане и реформаторы в своей борьбе за новый или обновленный нравственный идеал жизни имели одну великую союзницу – сильную своей простотой и наивностью религиозную веру, которая освящала нравственные понятия, утверждала кодекс личной и общественной этики и давала людям готовую формулу поведения. XIX век, наследник скептицизма и рационализма предшествующих двух веков, такой неизменной союзницы не имел и теоретическое построение морали и практическое проведение ее в жизнь свершал главным образом при поддержке свободного разума и свободного чувства, которые все более и более освобождались от всякой не ими установленной санкции. Такая свобода приводила к великим умственным и душевным колебаниям и тревогам и дала в результате то поражающее разногласие в философских основах морали и в программах практического проведения в жизнь принципов добра и справедливости, которое бросается к глаза при самом беглом взгляде на ход развития культурной жизни за минувшее столетие. Моралист-теоретик или практик, открытый или тайный, – вот тот повсеместно распространенный тип культурного человека, который в изобилии выработан XIX веком. Служители церкви разных вероисповеданий перенесли центр своих интересов с вопросов богословских на вопросы нравственные, стремясь главным образом оправдать истинность своих религиозных догм не столько перед Богом, сколько перед людьми… Философы всевозможных школ завершали свои философские системы построением морали на принципах умозрения, не говоря уже о том, что сама этика разрослась в целую самостоятельную науку,

обогащенную новым материалом, добытым антропологией, этнографией, языковедением и естественно-историческими знаниями… Люди строгой науки, которые могли оставить нравственные вопросы вне поля своего зрения, – и они – физиологи, биологи и зоологи, не говоря уже об историках всех видов и направлений, – старались привести свою науку в связь с этическими требованиями человеческого духа… Если от людей теоретической мысли мы перейдем к людям практического дела, то общий и самый беглый взгляд на политические и социальные движения, которые в XIX веке во всех культурных странах проявлялись так решительно и в таком разнообразии, убедит нас еще более в том, как настойчиво современный человек стремился и стремится устроить свою земную жизнь согласно с теми нравственными принципами, которые он признает разумными и природе человеческой свойственными. Наконец, поэты и художники, и они не избегли в минувшем столетии этого самовластия моральной мысли и чувства – и стоит только углубиться в мир их мечтаний, чтобы увидать, как часто они отожествляли свою роль творцов красоты с ролью наставников, проповедников житейской мудрости, пророков добра и истины, законодателей и вождей. И как много мучились они над вопросом о связи добра и красоты, которой они служили, как поспешно подчиняли они иногда красоту добру и затем, рассерженные, как резко и раздраженно пытались они порвать всякую связь между ними!

XIX век – век своеобразный по интенсивности в людях нравственной мысли и чувства, век, когда недовольство установлявшимися этическими нормами жизни заставляло людей часто переоценивать все ценности, от утверждения быстро переходить к отрицанию, от любви к ненависти, от смирения к восстанию.

Этот интерес к вопросам нравственного порядка – к вопросам личной и гражданской этики, теоретической и практической, – был в минувшем веке очень силен и у нас в России. Особенности нашего политического и общественного строя не могли, конечно, не отразиться на тех формах, в какие облеклась эта этическая мысль у нас. При неподвижности и косности мысли религиозной, при отсутствии широкого и разностороннего гласного обсуждения многих самых существенных сторон жизни, при всех тех стеснениях, какими у нас было обставлено всякое проявление свободной инициативы в мыслях и деяниях, трудно было встретить смелого и свободного моралиста на открытых поприщах теоретической или практической деятельности. И вся воспитательная работа в этом направлении почти всей своей

тяжестью легла на служителя искусства, преимущественно, конечно, искусства словесного. Художник-писатель под давлением этической мысли, узкой или широкой, личной или общественной, привыкал смотреть на себя как на судью, который должен дать известную нравственную оценку окружающей его действительности; и это неравномерное распределение ролей в деле общественного воспитания поставило русского художника-писателя в положение исключительно трудное.

Как сын своего века, столь увлеченного этическими вопросами, и, кроме того, как гражданин страны, где всякая моральная проповедь, глубоко врезывающаяся в жизнь, обставлена всяческими стеснениями, художник-писатель, без поддержки иных культурных сил, имел много случаев задуматься над своим призванием и над своим нравственным долгом перед жизнью; и эти думы становились для него источником больших мучений.

II

Из всех людей, стоящих в первых рядах общества, никто не бывает так безоружен перед этическими вопросами жизни, как поэт, этот признанный баловень природы.

Сложная и весьма часто болезненно напряженная нервная система; повышенная отзывчивость на все впечатления жизни без разбора; мир мечты и видений, заслоняющий так часто реальный облик жизни и тем обостряющий столкновение с нею, держат художника в постоянной тревоге духа; и чем сложнее запросы жизни, его окружающей, тем труднее и запутаннее его отношение к ним. Ему, более чем кому-либо, приходится страдать от постоянного разлада идеала и действительности, так как результаты его деятельности менее осязательны, чем плоды какой-либо иной работы.

Способность преображать и людей, и минуту; способность жить в ином мире силою своего воображения, иногда торжествующего, а иногда беззащитного перед сарказмами рассудка; поэтическая идеализация земных чувств и уменье наслаждаться призраками, как бы предметами земными и осязаемыми, – все выводит поэта на опасный путь раздвоения и вражды с окружающей его обстановкой, если его фантазия не настолько сильна, чтобы поработить в нем все остальные духовные силы и заставить его совсем забыть о том, что он видит плотскими глазами.

Этот разлад в душе поэта может быть смягчен и умиротворен лишь одним сознанием – уверенностью, что его поэтическая греза есть живая сила, которая при всей своей видимой отчужденности от жизни не что иное, как сама эта жизнь, но только в своеобразной форме. Художник должен прежде всего сознать свою солидарность с окружающими людьми – как бы он на них ни сердился и даже ни презирал их, – потому что только эта солидарность, эта нравственная связь обеспечивает ему самое ценное – уверенность, что он сам есть сила живая, действующая, а не призрачная.

III

Душевные страдания Лермонтова, застывшие в столь красивых формах, проистекали из его раздумья над вопросом, в чем и как должна выразиться связь между ним, поэтом и человеком, и людьми, среди которых судьба ему жить определила.

Лермонтов с самых юных лет старался выяснить себе свое, если так можно выразиться, общественное положение в самом широком смысле этого слова. Вопросы религиозные, философские и политические скользнули по его глубокому уму и взволновали его душу, и он умер, не успев доработаться в раздумии над этими вопросами до какого-нибудь определенного объединяющего мировоззрения. А ему нужна была ясность во взгляде на мир и в понимании своей роли в нем, так как с детских лет он был убежден, что судьба забросила его на землю для какого-то великого подвига. Он чувствовал в себе большую силу характера и таланта и не знал, куда ее направить. Мир представлялся ему ареной, которая ждала его выхода, его борьбы за идеалы. Он страдал от того, что эти туманные, но облюбованные им идеалы не укладывались ни в определенную теоретическую формулу, ни в практическую программу. Эти поиски идеалов и эти мечты о своем великом призвании были в поэте не чем иным, как проявлением сознания своей связи с людьми и обнаружением желания служить им в одной из самых ответственных и трудных ролей героя. Не покидавшее поэта сознание своей беспомощности перед этой высокой задачей стало источником его недовольства жизнью, его разочарования и его скорби.

Михаил Юрьевич Лермонтов, как известно, умер очень рано, на 27-м году жизни (родился 2–3 октября 1814 года. Умер 15 июля 1841 года). Ранняя смерть прервала его литературную деятельность, быть может, в тот самый момент, когда талант его, пройдя через длинную подготовительную школу литературного и жизненного воспитания, был накануне полного расцвета. В оставшихся произведениях Лермонтова перед нами далеко не законченная картина, а лишь более или менее вырисованные этюды и наброски.

Естественно, что от человека, который жил так мало, мы не вправе требовать устойчивого решения труднейших вопросов жизни. К этому решению Лермонтов только готовился, и вся его литературная деятельность не что иное, как отражение этой духовной работы, постоянно кипучей, нервной и часто до болезненности изнурительной.

По своему темпераменту Лермонтов был натурой очень деятельной, живой в мыслях и поступках; его фантазия никогда не вызывала в нем мечтательно-томного пассивного настроения, а наоборот, отрывая его от слишком монотонной будничной жизни, переносила его в мир образов, где все было огонь и движение. Жить и творить значило для него волноваться. Как в жизни он не мирился ни с одним из своих положений, светского ли человека или военного, так и в своей поэзии он не мог найти покоя и отдыха. Смотреть на мечту как на мирную пристань для взволнованного и мятежного духа Лермонтов не мог. Он не мог усвоить себе того тихого и ровного творчества, того душевного покоя и чувства удовлетворения, какое испытывали, например, его ближайшие предшественники, поэты 20-х годов, ограждавшие себя мечтой от сует и волнений жизни.

Для Лермонтова – поэзия которого не выходила из круга личных ощущений и настроений – анализ собственного сердца был результатом мучительной борьбы двух спорящих душевных состояний: изнурительной жажды какой-то великой, героической деятельности и сознания своей несвободы, своего бессилия в утолении этой жажды. При таком душевном разладе никакое примирение с жизнью на почве чисто эстетического ее созерцания или пересоздания не могло состояться.

Не мог поэт доработаться и до спокойного и широкого философского взгляда на жизнь и на роль искусства в жизни. К отвлеченному мышлению, к которому его не подготовили ни природа, ни воспитание, он не имел склонности, и утешение в философии не пришло ему на помощь.

Единственный возможный выход из этого тяжелого разлада идеалов и жизни, надежд и разочарования была борьба, вмешательство в самую жизнь, во имя определенных нравственных принципов. Но для этого нужно было, прежде всего, иметь такие определившиеся идеалы и, кроме того, жить при условиях, благоприятных для их утверждения и обороны.

Туманность идеалов и неустойчивость взглядов на коренные нравственные вопросы жизни причиняли поэту большие страдания, питали в нем его разочарование и ту склонность к меланхолии и грусти, которой с рождения наделила его природа.

Не было ни одного живого вопроса минуты, которого бы Лермонтов не затронул вскользь и от которого бы не отвернулся с тайной досадой на свою беспомощность овладеть им и с раздражением против обстоятельств и людей, которые этот вопрос запутали.

Трудно вычитать идеалы из книг, не имея перед глазами самой жизни, которая своим живым, быстрым и шумным

движением рождает в умах людей то или другое требование разума и в их сердце то или другое острое желание. Писатель на Западе, присматриваясь к окружавшей его действительности и свободно разбираясь в ней, строил и проверял свое мировоззрение на живом течении событий. Русская жизнь шла своим особым шагом, и поверхность ее была в годы, когда жил Лермонтов, так гладка и невозмутимо спокойна, что угадать ее насущные, и притом скрытые, потребности, умственные и нравственные, было делом нелегким. Редкие из наших передовых людей 30-х и 40-х годов угадали эти потребности – но Лермонтов не принадлежал к их числу. Из того знания, каким он обладал, он не мог создать себе цельного взгляда на насущные запросы современности. Все в нем было борение, порыв, колебание и сомнение. Вина была, конечно, его, но большая часть вины должна быть поставлена в счет самой русской жизни того времени, которая давала так мало пищи умам и сердцам людей, по природе своей более склонных к действию, чем к тихому мечтанию.

И зла была ирония судьбы, которая так неожиданно прервала жизнь поэта!

Поэт, который с детских дней мечтал о какой-то великой деятельности, о героических подвигах, в котором каждое движение души было порывом и вспышкой или тоской по идеалу, писатель, откликавшийся по мере сил на все запросы современности, оставил нам в своем наиболее ярком литературном типе образ печального, разочарованного, озлобленного и совершенно бесполезного человека, прожигающего свою жизнь без всякой мысли о каких-либо идеалах.

Как мог сложиться в творческой фантазии Лермонтова этот тип, который, несомненно, хранил частицу души самого художника?

Детство и юность

I

Сведения, какие мы имеем о детстве и ранней юности Лермонтова, крайне скудны. Уединенная, замкнутая жизнь в деревне, в кругу семьи, совершенно скрыла от нас те первые ступени духовного развития поэта, которые особенно ценны для биографа. Когда мы знакомимся с Лермонтовым как писателем, перед нами уже 15-летний мальчик, с довольно характерным миросозерцанием и нравственным обликом, основные черты которого сохраняются у него до самой смерти. Вопрос, каким образом сложился этот своеобразный ум и характер, какие события внешней жизни повлияли на выработку таких, а не иных склонностей и взглядов ребенка, должен остаться открытым и может допустить лишь приблизительное решение.

Семейная жизнь родителей Лермонтова не была счастлива. Мать вышла замуж по любви, но против воли старших, и поставила этим в своей семье себя и своего мужа в неловкое положение. Юрий Петрович, отец поэта, был человек мягкий, довольно легкомысленный, но, по-видимому, не вполне достойный той жертвы, какую ему принесла его супруга. Больная и нервная женщина, она умерла очень рано, и ребенок остался на руках бабушки, которая после смерти дочери не имела особых причин стесняться с зятем. Они рассорились, и отец был вынужден уступить своего сына бабушке и уехать.

В первые годы детства эта семейная драма была для ребенка, конечно, тайной; но с годами она стала ему открываться и вызвала в нем сильное нравственное потрясение. Бабушка не переставала вести постоянную войну с зятем, и мальчику приходилось нередко колебаться между живым чувством к страстно его любившей женщине и чувством более идейным, которое он питал к своему отцу. Юрий Петрович наезжал лишь изредка навестить своего сына и не решался взять его к себе, так как не имел достаточных средств, чтобы дать ему должное образование и воспитание.

Решить семейной загадки в чью-либо пользу ребенок, конечно, не мог, и потому в мечтах преувеличивал то свою любовь к отцу[1], то свое раздражение против бабушки; он рисовал в самых мрачных красках судьбу несчастного, гонимого родителя и в той же степени идеализировал образ своей матери. Однажды мальчику мелькнула даже мысль о самоубийстве. Однако он искренно и всей душой любил свою бабушку и если, в своих поэтических образах, иногда как будто хотел задеть ее за живое, то в письмах не иначе говорил о ней, как словами самой

теплой любви.

Биографы часто останавливались на этой домашней семейной ссоре, пытаясь найти в ней главный источник печальных взглядов на жизнь, так рано утвердившихся в уме ребенка. Нет сомнения, что ненормальное положение в семье старило мальчика. Оно вырывало из его юности целую светлую страницу, лишало его семьи в строгом смысле слова, не дало расцвести в нем целому ряду чувств, которые могли бы помешать развитию в его душе излишней склонности к меланхолии, излишнего раздумья над своим одиночеством, над горькой участью отца, несчастием матери и многими другими вопросами, слишком трудными и опасными для детского ума[2].

Семейный разлад был важным, но зато единственным мрачным событием в детстве Лермонтова. Семья, в которой он остался жить, не жалела средств на то, чтобы обставить воспитание ребенка наилучшим образом. Мальчику была предоставлена большая свобода; деревенская жизнь помогла ему рано полюбить природу и простых людей и испытать на себе их умиротворяющее влияние; женское общество, из которого главным образом состояла его семья, развивало в нем много нежных и поэтичных чувств, хотя, быть может, слишком рано воспламенило его фантазию. Гувернеры разных национальностей постоянно поддерживали в нем духовные интересы и расширяли умственный кругозор своего воспитанника, который, живя в глухой деревне, рисковал утратить идейную связь с современной ему жизнью.

В деревне Лермонтов провел 13 лет – не только детство, но и отрочество.

Крестьянский быт был у него перед глазами, и он, как рассказывают, жил в довольно тесном общении с простым людом.

II

Лермонтов иногда вспоминал свое детство и любил разукрашать его насчет настоящего. Когда в его еще совсем юной душе начались всяческие бури и волнения и на него легла трудная обязанность найти в жизни место и оправдание неясным стремлениям души, поэт, нервный и раздраженный, с грустью говорил о мирном, былом времени, когда его душевная гармония не была, как ему казалось, нарушена никаким идейным или сердечным диссонансом.

Еще в 1830 году, живя в Москве, он писал:
Зачем семьи родной безвестный круг
Я покидал? Всё сердце грело там,
Всё было мне наставник или друг,
Всё верило младенческим мечтам!

[1830]

Та же мысль выражена Лермонтовым и в другом стихотворении, но только более поэтично. Намекая на свою «бурную» жизнь, он сравнивал себя с волной и говорил:

…волна
Ко брегу возвратиться не сильна.

Когда, гонима бурей роковой,
Шипит и мчится с пеною своей,
Она всё помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей…

[1831]

И в 1833 году мы встречаемся с тем ж настроением:
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она, бесспорно, скверное наследство.

[1833]

За скудостью посторонних сведений и ввиду молчания самого Лермонтова весь ранний период его жизни остается для нас полузагадкой. Мы можем с уверенностью сказать только одно, что основная черта лермонтовского характера – его грусть, его меланхолия, сказалась в нем необычайно рано, хотя в этот ранний период и сменялась иногда проблесками более светлого настроения, которое потом стало исчезать очень быстро.

Эта грусть, стремление во всех впечатлениях жизни отмечать их печальную сторону, была, несомненно, врожденной склонностью, даром природы, так как в самих фактах юношеской жизни поэта света было все-таки гораздо больше, чем мрака.

Такой дар самой природы был хоть и опасный и печальный, но он приучал мальчика рано вникать в смысл жизни.

В борьбе с трудными загадками этой жизни Лермонтов, как видно по его самым ранним стихотворениям, прошел прежде всего через ту полосу «романтического», неопределенного, малопродуманного томления, когда земное существование кажется тяжким бременем, когда грустный юноша готов на словах «прервать ток своей жизни», а на деле только начинает ощущать всю прелесть ее юных впечатлений. Жуковский лучше всех умел некогда выразить такое томление.

Чрез эту ступень развития Лермонтов прошел очень быстро, и только в самых ранних его стихах мы можем подметить туманное стремление вдаль, поэтичную тоску по надземному блаженству, томление по какому-то лучшему миру. Очень скоро эти мечты уступили место другому чувству, более определенному, но зато и более печальному.

Мальчик все больше и больше привязывался к земле и стал пристальнее присматриваться к ее явлениям. Томиться по иному миру он переставал, но над миром земным он произнес приговор очень строгий и мрачный.

III

Лермонтову было тринадцать лет, когда его привезли в Москву; он поступил в университетский пансион, а затем в университет, сначала на этико-политическое отделение, а потом на словесное.

В столице поэт сразу попал в совершенно новую для него обстановку. Вокруг него не было ни деревенской свободы и простоты, ни природы, которую он так любил и чувствовал. К тому же он приехал в Москву с несвободным сердцем, насколько может быть несвободно сердце тринадцатилетнего мальчика. В 1825 году, живя с бабушкой на Кавказе, куда она ездила с ним для поправления его хрупкого здоровья, Лермонтов испытал чувство первой сердечной привязанности, которое оставило глубокий след в его памяти.

Перемена обстановки и связанный с нею наплыв воспоминаний, всегда грустных, за отсутствием предметов, которые их вызывали, частые сердечные вспышки, семейные ссоры отца и бабушки, принявшие в Москве особенно острый характер, – все поддерживало в мальчике его меланхолическое, но теперь уже, временами, желчное настроение.

Прежний замкнутый образ жизни резко изменился. Приходилось сталкиваться с товарищами, с их интересами, университетскими и иными; приходилось, наконец, столкнуться и с вопросами общественными и политическими, которые в начале 30-х годов начинали волновать русское общество.

Ко всем этим новым для него сторонам жизни Лермонтов приноровлялся туго. Из рассказов его товарищей мы знаем, что в университете он занимал в их кругу совершенно обособленное место, друзей не имел и даже ни с кем из них не разговаривал. Верны ли эти рассказы о его угрюмом виде, о его дерзких ответах, о постоянном чтении в аудитории какой-то английской книги – утверждать трудно, но не подлежит сомнению, что Лермонтов держался в стороне от товарищей, хотя, вероятно, не из гордости или презрения к людям. Такое нелюдимое и угрюмое поведение Лермонтова объясняется отчасти тем, что поэт переживал как раз в эти годы (1829–1831) тяжелый нравственный и умственный кризис: целый ряд самых трудных и сложных вопросов взволновал сразу его ум и душу, и он, по природе скрытный и гордый, предпочел разбираться в них в тиши, не призывая никого на помощь.

Что, собственно, дал Лермонтову московский университет в смысле умственного развития, определить трудно[3]. Насколько

оживлены были тогда духовные интересы молодежи, – а ведь рядом с Лермонтовым на одной студенческой скамье сидели Белинский, Станкевич, Герцен, К. Аксаков и их друзья, – настолько, за весьма малыми исключениями, мертва была в то время речь преподавателей. Лермонтов, избегая близкого общения с товарищами, тем самым ставил себя и вне их умственных интересов.

Товарищам же бросалась в глаза его светская жизнь и тот круг блестящих барышень, в обществе которых он появлялся в театре и на балах. Внешний лоск молодого студента, сопоставленный с его нелюдимым поведением в аудитории, конечно, подавал повод обвинить его в высокомерии и гордыне.

Странным может показаться, однако, что, несмотря на видимое отчуждение от общей товарищеской жизни, Лермонтов принял участие в известном скандале, устроенном студентами профессору Малову. Но какую именно роль сыграл Лермонтов в этой университетской «истории», с точностью неизвестно.

Имеются также сведения, что Лермонтов ссорился с профессорами на экзаменах, а при тогдашних взглядах на субординацию такие стычки с начальством не могли, конечно, пройти даром. Отразились ли они непосредственно на положении Лермонтова в университете, неизвестно, но только в 1832 году мы застаем поэта в Петербурге со свидетельством от московского университета в том, что он прослушал двухлетний курс лекций и выбыл из числа слушателей.

IV

Московский период в жизни Лермонтова окончился, когда ему было восемнадцать лет. Чем мог поэт помянуть эти годы?

Жизнь текла однообразно, разделенная между семейными и светскими интересами, хождением в университет и домашними занятиями.

Семья и «свет» не могли наполнить его жизни. Для света Лермонтов был еще слишком молод, а в семье, несмотря на окружавшую его всеобщую любовь, положение его было не из легких.

Профессора давали мало пищи его уму, а шумная, но вместе с тем идейная жизнь товарищей не находила себе отклика.

Домашние занятия шли зато правильно и успешно; юноша быстро развивался, читал много, размышлял и наблюдал.

Недостаток внешних впечатлений вознаграждался, таким образом, для Лермонтова усиленной внутренней жизнью, тем анализом собственных чувств и мыслей, которому он всецело отдался. Плодом этого анализа была очень спешная и напряженная литературная работа. В этот именно короткий промежуток времени, с 1828 по 1832 год, Лермонтовым написаны все многочисленные его юношеские стихотворения, «Демон», «Измаил-бей», «Историческая повесть», несколько драм, поэм меньшого размера, набросков и отрывков.

В этих стихах и поэмах перед нами развертывается очень характерное миросозерцание совсем юного философа, стремящегося преодолеть необычайную трудность тех сложных этических проблем, на которые его наталкивала пока не столько сама жизнь, сколько раздумье о ней.

Юношеские стихотворения

I

Когда мы, ознакомившись с условиями, в которых протекало детство и юность Лермонтова, переходим к чтению его стихотворений, относящихся к этой эпохе, нас поражает в них несоответствие между поэтическим вымыслом автора и тем, что ему дала жизнь. Несложные и очень обыденные житейские явления не согласуются со сложным и совсем необычным духовным миром юного мечтателя.

Юношеские стихотворения Лермонтова затрагивают широкий круг вопросов и частного, и общего характера. Они частью скользят по ним, частью дают на них ответы. Соединяя эти разрозненные ответы в одно целое, мы получаем в итоге довольно своеобразную житейскую философию. Она иногда до того безотрадна и мрачна, до того нервна и подчас болезненна, что читатель, незнакомый с обстоятельствами жизни самого поэта, готов пожалеть гонимого, оскорбленного и несчастного человека, детские впечатления которого излились в таких скорбных и отчаянных песнях.

Но мы знаем, что Лермонтов не был ни гоним, ни несчастен, ни даже оскорблен. Он был от природы меланхолик, не по годам умен, очень впечатлителен и большой мечтатель – умен прежде всего, и, конечно, этот перевес ума, эта способность, не довольствуясь впечатлением, расчленять его и продолжать его в выводах, сыграла не последнюю роль в укреплении того печального взгляда на жизнь, с которым Лермонтов с детства сроднился. Ранний ум старит ребенка, и преждевременная утрата детской наивности вредно отражается на нем. Эта утрата может стать источником подозрительности и желчности, которая способна заставить человека думать, что природа его обидела, обошла на жизненном пиру, тогда как на самом деле она его слишком одарила.

Биографы поэта часто говорят об известном нам семейном разладе, о ранней смерти матери, о грустной затаенной привязанности ребенка к отцу, об опасной болезни Лермонтова в юности, о не совсем благоприятной его наружности, о его ранней любви, которая должна была разрешиться в тоскливое томление, – одним словом, о многих фактах, печаливших и сердивших поэта. Значения этих случайностей отрицать нельзя, они важны и могли иметь свое влияние на впечатлительную душу юноши, но они такое обыденное явление в жизни многих людей, что едва ли могут быть названы настоящей причиной того мрачного мировоззрения, которое открывается нам в юношеских

стихах Лермонтова. И наконец, все эти огорчения искупались житейскими удобствами, заботливостью и теплой любовью, которой было окружено детство этого капризного ребенка.

Главный родник лермонтовского настроения заключается в самом душевном складе поэта, который дан был ему природой, предрасполагал его к ощущениям известного порядка, оберегал от других, и источников которого никто не уловит и не объяснит. Природа создала Лермонтова, по существу, меланхоликом и мечтателем, и мы можем только проследить, как на этот основной фон ложились временами более темные или более светлые краски.

Уже в юношеских стихах Лермонтова заметна одна черта, которая должна была усилить в нем его пристрастие к печальному. Это была ранняя склонность анализировать умом свои чувства и привычка восполнять мечтой недостаток живых впечатлений.

Лермонтов прожил свое детство и первые годы юности в кругу очень тесном. Интерес дня сосредоточивался на семейных мелочах; широкого общественного кругозора у людей, его окружавших, не было; вопросы литературы были вопросами книжными, а не живыми. Лермонтов читал, но не разговаривал с авторами. Читал он очень много; утверждают, что тринадцати лет от роду он знал уж почти всю русскую литературу и имел богатые сведения по литературам иностранным. Умственная жизнь юного поэта делилась, таким образом, на две неравные половины: с одной стороны, скудный и малоинтересный опыт житейский, с другой – богатый мир чувств и мыслей, вычитанных из книг. Строго разграничить эти два мира Лермонтов был, конечно, не в состоянии, но он был слишком большим мечтателем, чтобы не попытаться слить их: мелочи жизни он пригонял и приноравливал к тем сильным и картинно выраженным чувствам, с которыми он встречался в книгах. Отсюда вытекла его склонность преувеличивать собственные ощущения – привычка, не покидавшая его и в зрелые годы.

Наряду с этой привычкой восполнять мечтой недостаток житейского опыта и однообразие переживаемых ощущений поэт с самых юных лет сильно развивал в себе и другую склонность – расчленять разумом то, что он успевал схватить своим чувством. В сущности, разлад между действительностью и мечтой, разгоряченной чтением, был так велик, что многие неиспытанные чувства пришлось уяснять себе разумом; и многие испытанные ощущения добавлять тем же разумом, чтобы сделать их похожими на те, с которыми ум поэта успел уже освоиться по книгам. Эта способность оказала свое опасное влияние на развитие

прирожденной поэту грусти.

Естественные и обыденные мысли и чувства, отданные во власть беспощадному анализу, могут привести человека к самым безотрадным и пессимистическим выводам, в особенности, если этот человек так юн, что не имеет за собой никакой жизненной опытности, никаких установившихся убеждений и, кроме того, по природе своей меланхолик. Так, например, чувство семейной горечи могло привести поэта к отрицанию всяких нравственных основ семейной жизни; чувство детской обманутой дружбы – к непризнанию в людях вообще каких бы то ни было благородных чувств: недовольство ребенком-женщиной – к целой теории женского коварства; смутное сомнение в своих силах – к бреду о собственном ничтожестве. Юношеские стихотворения Лермонтова дают нам разительный пример таких умозаключений, вытекавших из неизбежных мелких неудач и разочарований ежедневной жизни, замкнутой в себе и предоставленной на произвол логического анализа, лишенного всякой житейской опытности.

Меланхолический темперамент, однообразная и огражденная почти со всех сторон жизнь, раннее усиленное чтение, попытка привести это чтение в связь с тем, что удалось испытать на деле, и сильная склонность к рефлексии – вот те условия, при которых миросозерцание ребенка и юноши получило скорбную не по его летам окраску.

II

Прислушаемся к словам поэта. В своих юношеских стихах, в бесчисленных вариациях повторяет Лермонтов все одну и ту же песню об одиночестве, грусти и унынии. Иногда это простое признание в том, что «дух его страждет и грустит», что «уныния печать лежит на нем, потерявшем свои златые лета». «Отчаяния порыв» тогда охватывает его; он даже не может плакать и «страдает без всяких признаков страданья»; он – «воздушный одинокий царь» и «года, как сны, перед ним уходят».

Иногда это красивые поэтические сравнения. Поэт – как «постигнутый молнией лесной пень, который догорает, гаснет, теряет жизненный сок и не питает своих мертвых ветвей»; он «как пловец среди бури устремляет угасший взор на тучи и молчит, среди крика ужаса, моленья и скрипа снастей»:

…жалкий, грустный, я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

[1830]

Его судьба, как «тот бледнеющий цветок, который в сырой тюрьме, между камней растет не для цветения, а для смерти». Он живет, как «камень меж камней, скупясь излить свои страдания»; он – «куст, растущий над морской бездной», «лист, оторванный грозой и плывущий по произволу странствующих вод». Зачем ему жизнь – ему, который «не создан для людей»?

Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но все под ним змея.

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.

Молю о счастии, бывало,
Дождался наконец,

И тягостно мне счастье стало
Как для царя венец.

И все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.

[1830]

Любовная связь между ним и людьми порвана. В его сердце нет сострадания:

Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут;
Но в сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут.

Слеза по щеке огневая катится,
Она не из сердца идет.
Что в сердце, обманутом жизнью, хранится,
То в нем и умрет.

Не смейте искать в сей груди сожаленья,
Питомцы надежд золотых;
Когда я свои презираю мученья,
Что мне до страданий чужих?

[1831]

Да и за что любить людей? Лучше забыть их. Постараться —

Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

[1831]

И что такое жизнь? – чаша обмана:
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта.
И что она – не наша!

[1831]

Не лучше ли стать «уединенным жильцом шести досок» и протянуть дружественно руку смерти? «И ненавидя и любя, он был во всем обманут жизнью; пора уснуть, уснуть последним сном». Смерть – она не страшна; в ней покой и забвение, и прежде всего забвение людей:

Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час – пора домой,
Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слез, ни славы, ни честей,
Где вспоминанье спит глубоким сном,
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызет.
Пора. Устал я от земных забот…

Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой по-прежнему страдать
И столько же любить? Всесильный Бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей!

[1830]

Наивен будет, конечно, тот биограф, который поверит этим словам и подумает, что юноша на самом деле готов был кончить счеты с жизнью. Но Лермонтов был искренен; и он был прав, когда писал:

Словам моим верить не станут,
Но клянуся в нелживости их:
Кто сам был так часто обманут,
Обмануть не захочет других.

[1831]

Он не обманывал, и все отчаянно грустные строфы в его песнях – правдивый отголосок одного неразрешенного, грозно нависшего вопроса: стоит ли любить людей и искать сближения с ними?

Этот вопрос получает более определенное решение в тех юношеских стихотворениях Лермонтова, в которых он говорит уже не о стоимости жизни вообще, а о ценности некоторых чувств, наиболее его возрасту доступных, – о ценности любви и дружбы.

III

В одном стихотворении поэт признается, что ввиду трудности задачи бытия он решился несколько упростить ее:

О, мой Отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.
Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос – и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

[1831]

С этим обращением к женскому сердцу как спасительной пристани от всех мучительных вопросов мы переходим к новой черте лермонтовского характера, которая и усладила, и отравила ему впечатления его молодой жизни. Мы говорим о влюбчивости поэта.

Сам Лермонтов был очень откровенен в своих признаниях:

В ребячестве моем тоску любови знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной;
На мягком ложе сна, не раз, во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образной,
Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой:
Я видел женский лик, он хладен был как лед,
И очи – этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений.
И деву чудную любил я, как любить,
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.

[1830]

Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! – Любить
Необходимость мне, и я любил
Всем напряжением душевных сил…

… «О! когда б одно люблю
Из уст прекрасной мог подслушать я,
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю,
Всё б в новый блеск оделось!»…

[1831]

Таких любовных признаний очень много в юношеских тетрадях поэта. Во всех, и веселых, и печальных, стихотворениях высказана одна и та же мысль – мысль о том, что единственным спасением и утешением в его страдальческой жизни была эта страсть, рано в нем проснувшаяся[4] и дорогая ему, несмотря на все разочарования. Лермонтов был искренен, когда говорил о силе и благотворном влиянии этой страсти. Действительно, его рассудок, разлагавший все чувства, имел менее всего власти над этим чувством: сколько раз поэт считал себя обманутым в любви; сколько раз терял веру в ее постоянство, но в силу своей влюбчивой природы он всегда находился под ее обаянием. Он сам признавал, что для его всегда влюбленной души покой —

Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.

Но любовь неразрывно была сплетена в его сердце с печалью:

И отучить не мог меня обман;
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней;
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.

И о судьбе ее чужой пришлец
Жалеет. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконец,
Увянет преждевременно она;
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть

Иметь неограниченную власть.

[1831]

В любви Лермонтов был мечтатель, также неисправимый. Влюбляться ему, конечно, приходилось пока в своих сверстниц; они подрастали, становились барышнями, он оставался мальчиком и мог играть при них только роль поверенного или шафера[5]. Эта роль, конечно, сердила и огорчала поэта, который вдобавок не мог убедить себя в том, что наружность его привлекательна. Он стал считать естественное развитие женских чувств черной изменой и обманом; увлекался по-прежнему, но не упускал случая при каждом новом любовном порыве нарисовать себе картину его печальных последствий. Вот почему в его любовных мотивах к гимну любви всегда примешивается печальная мелодия отвергнутого или обманутого сердца. Сколько нелестных эпитетов сказал он в своих стихах по адресу женщин! Он спрашивал, видел ли кто-нибудь женщин «благодарных»? Женщина и измена были для него часто синонимами; перед ним все мелькал лик неверной девы. Он испытал, «как изменять способны даже ангелы»; он состарился от первой любви, он грозил, что из гроба явится на мрачное свидание к изменнице; и много говорил он такого, что он позднее зачеркивал в своих тетрадях или отмечал словом «вздор». Но когда он писал эти строфы, он все это чувствовал, и иногда так глубоко, что чувство выливалось в настоящую художественную форму.

Как хорошо, например, стихотворение в прозе, озаглавленное «Солнце осени»:

Люблю я солнце осени, когда,
Меж тучек и туманов пробираясь,
Оно кидает бледный, мертвый луч
На дерево, колеблемое ветром,
И на сырую степь. Люблю я солнце,
Есть что-то схожее в прощальном взгляде
Великого светила с тайной грустью
Обманутой любви; не холодней
Оно само собою, но природа
И всё, что может чувствовать и видеть,
Не могут быть согреты им. Так точно
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь,
И до ланит он вечно не коснется.

Зачем вторично сердцу подвергать
Себя насмешкам и словам сомненья?

[1831]

Или эта покорная жалоба непризнанной любви:

Сонет

Я памятью живу с увядшими мечтами,
Виденья прежних лет толпятся предо мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твое владычество порой;
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощен мой дух и скован, как цепями.
Что ж пользы для меня? – я не любим тобой,

Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно ее мольбам внимаешь.
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит, – у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.

[1831]

Все помнят, конечно, и знаменитое стихотворение «Нищий»:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бессильный, бледный и худой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

[1830]

Но пусть суровый ум умерял восторг любви печальным раздумьем; при всей своей меланхолии поэт никогда не мог сказать, что он в любви разочаровался и стал ей недоступен. Он был слишком доступен ей и, зная свою слабость, защищался притворным хладнокровием и презрением. Забыть своей любви он не мог и говорил:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он.

Другим предавшися мечтам,
Я все забыть его не мог;
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё Бог!

[1830]

И этому Богу любви, не только торжествующему, но и низложенному, он в юные годы чаще всего молился.

Нельзя сказать, однако, что эта молитва мирила поэта с людьми. И в ней звучал вопрос – да стоит ли любить, когда столько страданий сопряжено с этой радостью? А за этим вопросом следовал другой – почему люди бывают так неискренни и жестоки, и если они таковы, то не лучше ли от них отвернуться? Даже если они отвечают любовью на любовь, то и тогда не предпочесть ли одиночество?

И Лермонтов как будто следовал этому правилу, если не в любви к женщине, то в чувстве дружбы.

В годы, когда зрел талант Лермонтова, культ дружбы и в жизни, и в стихах был особенно развит. Но в стихотворениях нашего молодого пессимиста таких мотивов почти совсем нет; есть два-три стихотворения, в которых он прощается с чувством дружбы, и лишь одно, в котором он ее приветствует.

Кажется, что и на самом деле у него в те годы близких друзей-сверстников не было… Это очень характерно. Итак, анализ

ума коснулся и этих двух чувств, столь естественных и столь наивных в юношеском возрасте. Любовь и дружба вместо того, чтобы отвечать на запросы ума и сердца, как это обыкновенно в юности бывает, сами ставили молодому философу труднейший вопрос о своем нравственном оправдании.

IV

Если встреча с людьми вызывала такую тревогу в юной душе Лермонтова – можно было предположить, что хоть природа окажет на него успокаивающее влияние. Он любил природу, и – если судить по его стихотворениям – в юные годы не меньше, чем в зрелые. Созерцание ее красоты его умиротворяло. Поэт любил сравнивать покой природы с людской тревогой – мчался ли он «на лихом коне при луне, в ущельях гор иль средь степей», упрекая себя в том, что человек «на своем коне хочет оспаривать у природы ее владычество – спокойное и красивое»; глядел ли он на кавказские вершины и оплакивал их вольность, размышляя о том, как «пещеры и скалы услышат крик страстей, звон славы, цепей и злата».

Кавказ в особенности поразил Лермонтова своей дикой красотой, в которой буря и покой так таинственно сливались[6]. Толпы звезд и ночные своды казались поэту залогом каких-то обещаний Божиих, хотя он и чувствовал, что ему не придется быть свидетелем их исполнения.

В сущность этих Божиих обещаний поэт тогда еще не вникал: дума о Боге пришла к нему позднее. В юные годы он в стихах не молился и только раз просил у Всесильного прощения в том, что он, поэт, любит «мрак земли с ее страстями, что редко к нему в душу входит струя живых Божиих речей, что лава вдохновения клокочет в его груди, что дикие волнения мрачат его очи и он в песнях молится, но только не Богу». Он просил Бога «угасить в нем дар вдохновения, преобратить его сердце в камень» и обещал тогда обратиться на тесный путь спасения. Поэт, очевидно, представлял себе Бога слишком ревнивым и жестоким. Но не всегда. Иногда казалось ему, что и Бог любит песни и разрешает своим ангелам полуночи петь их, когда они несут в своих объятьях младую душу, которая в мире слез и печали осуждена томиться и сквозь сон души, среди скучных песен земли, вспоминать о песне небесной.

Были же мирные, хоть и печальные чувства, которые природа и Бог вселяли в это тревожное сердце!

V

Но тревога сердца не унималась; она, напротив, возрастала, и поэт отчетливо сознавал, что все мечты об уединении, об одиночестве, о бегстве от людей несовместимы с его темпераментом, который «ищет бури». Ему самому было ясно, что покой, о котором он вздыхал, есть отрицание всей его душевной и духовной сущности. Недаром он говорил, что его настоящее «облито чудными страстями», недаром хотел он назваться «братом бури». «Невинная любовь не льстила его душе»; он «искал измен» и новых чувств, которые своей «колкостью оживили бы его кровь, угасшую от грусти». «Печален степи вид», – писал он в одной из своих ранних поэм («Джулио»), —

где без препон
Скитается летучий Аквилон,
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой:
Так жизнь скучна, когда борений нет.

[1830]

И если жизнь дана, то пусть она бьет ключом:

Источник страсти есть во мне
Великий и чудесный;
Песок серебряный на дне,
Поверхность лик небесный;
Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
И небо над водами
Одето облаками.
Родится с жизнью этот ключ
И с жизнью исчезает;
В ином он слаб, в другом могуч,
Но всех он увлекает;
И первый счастлив, но такой
Я праздный отдал бы покой
За несколько мгновений
Блаженства иль мучений.

[1831]

И нельзя же было поэту помириться с праздным покоем, когда он сам сознавал, что он одарен «деятельным гением», и верил, что этот гений пробьется сквозь все испытания. Про свое сердце Лермонтов говорил:

Что в нем живет, то в нем глубоко.
Я чувствую – судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,

От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных
И от желаний, непонятных
Умом посредственных людей?..

(Которые не понимают того человека),

… кто в грудь втеснить желал бы всю природу,
Кто силится купить страданием своим
И гордою победой над земным
Божественной души безбрежную свободу.

[1831]

Торжествовать гордую победу над земным – таково было нескромное желание поэта; и оно не было минутным капризом его настроения. Лермонтов был убежден, что он призван свершить нечто великое.

VI

Мы напрасно стали бы искать какой-нибудь определенной программы в этих неясных порывах молодой фантазии «к великому». Голова мальчика, разгоряченная ранним чтением книг, по преимуществу романтического содержания, бредила рыцарскими подвигами, мечтала о Шотландии[7], о Кавказе и его героях, о Древней Руси с ее богатырями, о Риме, о морских разбойниках, – одним словом, обо всем, на чем только лежала печать внутреннего или внешнего величия. Понятно, что поэт и наслаждался этим миром, и жил в нем как его воображаемый участник, как его герой.

Но сама жизнь охлаждала на каждом шагу эту чрезмерно пылкую фантазию, и ранняя меланхолия находила себе новую пищу в дисгармонии мечты и действительности. Несмотря на все разочарования, мечта Лермонтова никогда не желала признать себя побежденной. Она успела пустить глубокие корни в сердце поэта. Постоянное желание быть участником великих дел, хотя бы и неясных, повлекло за собою уверенность в том, что этот сон должен осуществиться. Мысль об осуществлении его совпала у Лермонтова с мыслью о собственном призвании. Поэт не скрывал своих гордых дум. Он открыто признавался, что ищет славы, что хочет во всем дойти до совершенства, что он страдает оттого, что в настоящем все не так, как бы ему хотелось… он чувствовал в себе темперамент бойца и в своих стихотворениях часто говорил о бойце-воине и бойце-поэте. Он сам себе пророчил эту славную будущность и был очень нескромен, когда говорил о своем призвании:

…для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит…

…неведомый пророк
Мне обещал бессмертье…

…отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин…

[1831]

Лермонтов нам не сказал, что именно желал он совершить достойного бессмертия и величия. Каждый раз, когда он касался этого вопроса, он обходил его в общих выражениях; он только боялся, что не успеет совершить «чего-то». Это «что-то» остается неуловимым призраком, который преследует и Лермонтова, и всех его героев. Всегда им кажется, что они делают не то, что следует.

В годы, о которых мы говорим, Лермонтов отдавался этим мечтам о своем великом призвании с легковерием ребенка, хотя каждый прилив таких героических чувств был неразрывно связан с таким же наплывом сомненья. Мечтая о высоком и великом призвании, поэт ежеминутно отдавал себе отчет в том, что все эти мечты, быть может, не более как мечты – плод его разгоряченной фантазии, что то «великое», к которому он стремится, останется для него недостижимым, что он, сделав попытки к его достижению, лишь навлечет на себя недовольство окружающих, их проклятие, будет заклеймен ими и отвергнут, непонят и даже «казнен»[8]. Фантазия Лермонтова вообще не была скупа на темные краски, и потому раз только ему запала в голову мысль, что он будет гоним людьми за высокие идеалы, за стремление к великим, хотя и туманным подвигам, он не замедлил развить эту мысль до ее последних крайностей.

Он вырисовывал целую картину нравственных и физических мучений, действующим лицом которой являлся он сам. Понятно, что эта картина была им придумана, а не выстрадана, – почему юношеские стихи Лермонтова, в которых попадаются эти страшные кошмары, и носят на себе следы деланности и вычурности. Мы приведем для примера наиболее характерные выдержки, где основная мысль о жалкой и страшной участи, которая ожидает поэта, выражена наиболее ярко:

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.

[1831]

Настанет день – и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни – гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою…

[1830]

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей…

[1830]

Читая такие и подобные им тирады, хочется сказать Лермонтову словами одного из его героев: «Ты строишь химеры в своем воображении и даешь им черный цвет для большего романтизма!» Эти мрачные картины были, несомненно, химеры, как и те светлые мысли о великом призвании, которые их вызывали. Но в них была и истина.

Что такое, в сущности, эти мечты, как не поэтическое приподнятое выражение вполне понятного желания поэта жить действуя и влияя на жизнь, – желания, чтобы жизнь считалась с ним, как с живой силой? Что Лермонтов, при всем своем пессимизме, искал такого сближения с жизнью и людьми, и что он, насколько ему позволяли его годы и условия жизни, зорко следил за тем, что на земле, вблизи его и вдали его, творилось – на это есть прямые указания в его юношеских стихотворениях.

VII

В одном из самых мрачных стихотворений («Ночь»), обращаясь к смерти, Лермонтов говорил:

Ах! – и меня возьми, земного червя —
И землю раздроби, гнездо разврата,
Безумства и печали!..
Всё, всё берет она у нас обманом
И не дарит нам ничего – кроме рожденья!..
Проклятье этому подарку!..

[1830]

Но поэт говорил слова, которым сам не верил. В этом проклятии земле звучала, в сущности, большая любовь к ней. Прежде чем просить смерть раздробить землю, он признавался сам себе:

…одно
Сомненье волновало грудь мою,
Последнее сомненье! Я не мог
Понять, как можно чувствовать блаженство
Иль горькие страдания далеко
От той земли, где первый раз я понял,
Что я живу, что жизнь моя безбрежна,
Где жадно я искал самопознанья,
Где столько я любил и потерял…

Искренность этих последних слов подтверждается и другими стихотворениями. Припомним одно, очень характерное («Земля и небо»):

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;.
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам,
Хоть мы ищем другого порой,
Но в час расставанья мы видим ясней,
Как оно породнилось с душой.

[1831]

Та же мысль выражена и в словах:
Стремится медленно толпа людей,
До гроба самого от самой колыбели,
Игралищем и рока, и страстей
К одной, святой, неизъяснимой цели.
И я к высокому, в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их…

[1829]

Но одной любви мало для того, кто жаждет великого подвига. Надо же знать, с каким сочетать ее действием.

Нельзя требовать от юного мечтателя, чтобы он на этот вопрос ответил сразу и вполне определенно. Достаточно будет, если он себя начнет подготовлять к решению, выясняя себе, с чем именно должно бороться. А как бороться с тем, что считаешь злом, какой избрать путь для подвига – это должна указать сама жизнь, если только она протечет в условиях благоприятных для этих поисков и не оборвется слишком рано.

VIII

И Лермонтов с ранних лет торопился развить в себе строгое критическое отношение к жизни. Его юношеский взгляд на жизнь был значительно шире, чем можно было предполагать, судя по впечатлениям, какие ему могла дать замкнутая обстановка, в которой он вырос. Оказывается, что Лермонтов рано успел задуматься не только над общими этическими вопросами, но вдумывался и в вопросы общественно-политические, от которых, казалось, жизнь держала его в таком отдалении.

Он бывал иногда увлечен «свободой» и «вольностью». Целую поэму посвятил он прославлению «последнего сына вольности» – легендарного Вадима, столь популярного у наших либералов 20-х годов. Он перелагал в стихи народные разбойничьи песни («Атаман», 1831) и красота таких переложений указывает на то, что сердце его лежало к таким мотивам. Вспомним, например, стихотворение «Воля» (1831):

Моя мать – злая кручина,
Отцом же была мне – судьбина,
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться:
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться.

Но мне Богом дана
Молодая жена,
Воля-волюшка,
Вольность милая,
Несравненная.
С ней нашлись другие у меня —
Мать, отец и семья;
А моя мать – степь широкая,
А мой отец – небо далекое.
Они меня воспитали,
Кормили, поили, ласкали;
Мои братья в лесах —
Березы да сосны.

Несусь ли я на коне, —
Степь отвечает мне;

Брожу ли поздней порой, —
Небо светит мне луной;
Мои братья в летний день,
Призывая под тень,
Машут издали руками,
Кивают мне головами;
И вольность мне гнездо свила,
Как мир – необъятное!

Но такое вольнолюбие сомнительного свойства находило свою поправку в более сознательном отношении к свободе.

В юношеских тетрадях Лермонтова встречается немало заметок и стихов, в которых он прямо касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые свободомыслящие, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая, правда, запоздалая, выходка против «тирана» Аракчеева («Новгород», 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей («Пир Асмодея», 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращения пугачевщины («Предсказание», 1830)[9].

Пусть все это незрело и непродуманно, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом раздумья.

Есть в юношеских тетрадях поэта также два стихотворения, посвященные июльской революции, – оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению.

Есть одно стихотворение, очень умное и красивое – привет какому-то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь к музам:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом

Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного Суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

[1830]

Наконец, есть «Монолог» – печальное размышление над нашей русской жизнью – первый набросок знаменитой «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколенье». Этот «монолог» обнаруживает в авторе большую силу ума и наблюдательности: Поверь, – пишет он, —

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем…
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье…
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

[1829]

Эти первые гражданские мотивы лермонтовской поэзии указывают, что наш юный пессимист вовсе не был так далек от людей и жизни, как ему хотелось себя самого в этом уверить.

Да и был ли он пессимистом? В его юношеских тетрадях попадаются, правда, изредка, совсем жизнерадостные мысли.

IX

Иногда эта жизнерадостность является с примесью иронии:

Я верю, обещаю верить,
Хоть сам того не испытал,
Что мог монах не лицемерить
И жить, как клятвой обещал;
Что поцелуи и улыбки
Людей коварны не всегда,
Что ближних малые ошибки
Они прощают иногда,
Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворен,
Что добродетель не названье,
И жизнь поболее, чем сон!..

Но вере теплой опыт хладный
Противоречит каждый миг,
И ум, как прежде безотрадный
Желанной цели не достиг;
И сердце, полно сожалений,
Хранит в себе глубокий след
Умерших – но святых видений,
И тени чувств, каких уж нет;
Его ничто не испугает,
И то, что было б яд другим,
Его живит, его питает
Огнем язвительным своим.

[1831]

Иногда с примесью горечи и печали:

Мы сгибнем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон;
Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам.
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.
Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей

Не будет. – Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..

К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы. – А мы
Увидим этот рай земли,
Окованы над бездной тьмы.
Укоры зависти, тоска
И вечность с целию одной:
Вот казнь за целые века
Злодейств, кипевших под луной.

[1830]

Иногда в самой чистой своей форме, незапятнанной никаким сомнением («Мой дом»):

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Всё, в чем есть искра жизни, в нем живет,
И для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей досягает,
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.

И Всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нем,
И в нем лишь буду я спокоен.

[1830]

Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать.

Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней —
Она в душе, где всё земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

[1831]

Все эти порывы радостных и радужных чувств – возражение самому себе на слишком поспешные печальные выводы из житейских впечатлений. Но счесть их за конечную поправку этих печальных выводов нельзя: поэт может отречься от таких мирных и светлых мыслей каждую минуту.

X

Так сбивчивы, противоречивы, недосказаны и невыношенны все суждения юного Лермонтова о жизни и людях. Перед ним ряд загадок, который поэт стремится решить во что бы то ни стало. Решение, какое он дает им, иногда повышает в нем симпатичные и радостные чувства, иногда, наоборот, вызывает самые печальные и злобные. Эта смена настроений повергает его в большую тревогу и боязнь, что он никогда не решит трудной задачи, никогда ясного пути перед собой не увидит.

Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;

Счастливцы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;

Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.

Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,

К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,

К тому, что обещал нам Бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели…
И в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум, печальной цели.

[1830]

Среди юношеских стихотворений Лермонтова сохранилась одна весьма откровенная исповедь, в которой поэт как будто бы хотел сомкнуть в одно целое все волновавшие его в те годы чувства и мысли. Исповедь эта озаглавлена «1831-го, июня 11 дня», и с некоторыми строками из нее мы уже знакомы.

Вспомним ее частями, чтобы закруглить словами самого поэта все уже сказанное о его юношеских мечтах, думах и настроениях. Лермонтов писал:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями. Но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен.

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! всё было ад иль небо в них.

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов

Не нахожу и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь,
Хоть тень их перелить в другую грудь.

Известность, слава, что они? – а есть
У них и надо мною власть: они
Велят себе на жертву всё принесть,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! – неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал всё, что дар земной.
……..
Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе,
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там – ей все равно.
……..
Грядущее тревожит грудь мою.
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит, и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я, порок,
И вижу, я слабей любить не мог.
……..
Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты Бог или злодей…
……..
Так жизнь скучна, когда боренья нет.
В минувшее проникнув, различить
В ней мало дел мы можем, в цвете лет
Она души не будет веселить.

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что же? Мне жизнь всё как-то коротка
И всё боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! – жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

Есть время – леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык…
……..
Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать,
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.
……..
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,
Невольным сожаленьем и молвой
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда.

И скажет: отчего не понял свет

Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. И печаль
Его встревожит, он посмотрит вдаль,
Увидит облака с лазурью волн,
И белый парус, и бегучий челн.

И мой курган! – любимые мечты
Мои подобны этим. Сладость есть
Во всем, что не сбылось, – есть красоты
В таких картинах; только перенесть
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена,
Когда свободна, как игра детей,
Как арфы звук в молчании ночей!

Исповедь очень туманная, как видим; ряд ощущений мимолетных, ряд набежавших мыслей и картина близкой смерти, которая должна разрешить всю эту путаницу. Ясного сознания прожитого момента нет, нет и никаких видов на будущее. Сумерки души – как говорит поэт. И действительно, такие сумерки лежали тогда над душой Лермонтова[10].

Да и могло ли быть иначе, когда самые трудные этические вопросы жизни обступали молодой ум и он в решении их должен был полагаться на впечатления минуты? И минутами поэт и любил людей, и ненавидел их, и искал их встречи, и сторонился от них. Минутами верил, что ради них призван действовать, затем не верил в свое призвание; минутами проклинал мир, а затем пророчил ему счастливую будущность.

Во всех этих колебаниях и противоречиях было только одно постоянное – ощущение боли от растерянности перед нравственными требованиями, которые ставишь себе самому и окружающим людям.

О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?

[1830]

Учителя и книги

I

Высказывалось иногда мнение, что взгляды и чувства, выраженные в юношеских стихах Лермонтова, – чувства напускные и мысли заимствованные. У кого они могли быть заимствованы?

Лермонтов в своей юности читал много, и в круг его чтения входили самые разнообразные по своим мировоззрениям и настроениям авторы.

Внимание ребенка было очень рано обращено на книгу. Сначала гувернеры – их было много: грек, еврей, два француза и англичанин, – а затем преподаватели благородного пансиона сдружили Лермонтова с писателями, которые на короткий срок, несомненно, покорили его фантазию, совсем юную и очень впечатлительную.

Точных сведений о книгах, какие Лермонтов читал в детстве и юности, мы не имеем; из собственных же его стихов мы можем вывести только одно заключение, что из всех литературных образцов, на которых поэт учился образно мыслить и чувствовать, поэзия Байрона оставила наиболее ясный след на его творчестве.

Часто и много говорилось об этом влиянии Байрона на Лермонтова. Оно очень ощутимо и в ранний период творчества Лермонтова, и в годы зрелого его развития. Иногда целое стихотворение выдержано в байроническом ключе, а всего чаще встречаются драматические положения и образы, которые Байрон отметил навсегда своей печатью.

Первый вопрос, с которым мы должны считаться, говоря о байронизме Лермонтова, это – вопрос о *предрасположении* Лермонтова к восприятию байронического настроения. Иногда приходится слышать, что Лермонтов находился под прямым влиянием английского поэта, что он вычитывал из него свои юношеские произведения, что и в дальнейшей своей деятельности он часто развивал тему, данную ему со стороны.

Значение влияния Байрона на Лермонтова было так же преувеличено, как оценка влияния того же Байрона на Пушкина. Не подлежит сомнению, что, сравнительно с Пушкиным, Лермонтов чаще и упорнее писал в «байроническом духе», но это объясняется тем, что Пушкин случайно, в один только краткий период своей жизни, совпал с Байроном в настроении, мыслях, симпатиях и антипатиях, а Лермонтов родился со всеми задатками байронического настроения. В самой психической организации Лермонтова было очень много сходного с Байроном. Их роднило и ненасытное самолюбие, и свободолюбие, и мятеж

духа, и мечты о великом призвании, и способность нежиться в грусти, и протест против многих этических норм современной им жизни. Но Лермонтов умер очень молодым и не мог прочувствовать, понять и усвоить вполне всей сущности байронической философии жизни, а потому развил и дополнил только одну, правда, самую показную, ее сторону – сторону отрицания. Эта сторона была Лермонтову более понятна, так как он мог прийти к меланхолическим, пессимистическим и отрицательным взглядам на жизнь и людей помимо Байрона, сопоставляя лишь данные реальной жизни с теми идейными требованиями, какие он ей ставил. Но если один человек сходится с другим в своих мнениях и чувствах, то его мысли, подкрепленные и развитые этим взаимным соглашением, остаются все-таки его собственностью. Так точно и поэтическое настроение Лермонтова, выросшее свободно из недр его мятежного и опечаленного духа, было только подкреплено соседством Байрона.

Душа Лермонтова была заранее подготовлена к восприятию такого, а не иного настроения и порядка чувств. И если бы сочинения Байрона были единственной книгой, с которой наш поэт беседовал в молодости, то такое преобладание байронического настроения, пожалуй, можно было бы еще объяснить покорностью и увлечением. Но одновременно с Байроном Лермонтов читал Пушкина, Гёте, Шиллера, Гюго, Гейне, если не считать поэтов меньшей силы, как, например, Скотта, Купера, Барбье и всей фаланги русских поэтов пушкинского периода. Он был знаком и с Шекспиром, о котором он говорит очень восторженно в одном из своих писем. В юношеских стихах нашего поэта попадаются и отзвуки Жуковского, и темы поэзии классической, а также и народной – и все эти поэтические мотивы мало-помалу умолкают, заглушенные поэзией Байрона, звуки которой как будто слышатся во всех, даже самых последних, произведениях Лермонтова.

Чем объяснить такое преобладающее влияние одного литературного образца над всеми остальными?

II

От поэзии Пушкина и Гёте в стихах Лермонтова остались слабые следы. Пушкину Лермонтов подражал лишь в тех произведениях, в которых сам Пушкин шел навстречу Байрону, как, например, в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах».

Что же касается Гёте, то Лермонтов вспомнил о нем лишь тогда, когда взялся за перевод «Горных вершин».

В миропонимании Пушкина и Гёте было для Лермонтова нечто неуловимое, неусвояемое, чуждое, и ни Пушкин, ни Гёте не могли ответить на тревожные душевные запросы юного вопрошателя жизни. Поэзия Гёте, как известно, была образцом художественного самообладания. Энтузиазм, каким бывал охвачен этот великий язычник, был в нем всегда в конце концов смирен, обуздан философской мыслью. Один из самых тонких и глубоких сердцеведов, С.-Бёв утверждал, что Гёте был совершенно неспособен рисовать героев, что героическое настроение было ему чуждо, – и критик был отчасти прав. Герой в восторженном романтическом стиле, герой нервного и впечатлительного склада души, человек, в котором необузданная, но туманная энергия подавляет разум и всякое самообладание, герой-фантазер был не по душе Гёте, как чужды были и истинно гётевские цельные типы душам от природы экзальтированным и тревогой вскормленным, каким был Лермонтов. За исключением «Вертера», окончательный философский вывод самых сильных творений Гёте: «Геца», «Фауста», «Вильгельма Мейстера», «Тассо» – примирение с жизнью на почве уступок, покорность судьбе, отказ от неисполнимых мечтаний и стремлений, свобода философского духа, а не свобода желаний. Такая философия была, конечно, далека от нашего молодого мечтателя, только что начинавшего жить и требовавшего от жизни столь многого.

III

Не будем же удивляться тому, что для Лермонтова прошла почти совсем бесследно поэзия Гёте и Пушкина, который ведь, в сущности, наш русский Гёте.

Шиллер стоял к Лермонтову ближе. Восторженная, сентиментальная, но вместе с тем героическая, полная энергии поэзия Шиллера, неземная по своим образам и вполне человечная по своим чувствам, должна была гармонировать с душевным настроением Лермонтова, тем более что элемент тревоги, бури и порыва устоял в поэзии Шиллера перед всеми натисками его примиряющей фаталистической философии.

В ранней юности Лермонтов читал Шиллера прилежно – как это видно из его первых стихотворений, среди которых немало переводов из Шиллера и вариаций на его темы. Это чтение влияло на мечтательность Лермонтова, настраивая ее на мирный элегически-идиллический лад, следы которого попадаются еще в юношеских произведениях нашего поэта. Идиллии в стиле Руссо, которыми некогда увлекались и Шиллер, и Байрон, можно встретить и у Лермонтова, но только в очень несовершенной форме. Герои таких идиллий, чувствительные идеалисты, встречаются и в юношеских драмах нашего поэта. Но как мы знаем, это спокойное и мирное настроение в душе Лермонтова только тлело, и он в Шиллере любил другую черту – возвышенно-страстную, героическую по преимуществу.

В юношеских драмах Лермонтова мы слышим иногда отзвуки монологов Карла Мора и Позы, неясные отзвуки, перемешанные с целыми тирадами в стиле Байрона, так как английский поэт очень скоро стал вытеснять немецкого. После 1830–1831 годов мы уже не встречаем в стихах Лермонтова никаких следов Шиллера, в особенности того возмужавшего – примиренного с судьбой и с людьми Шиллера, с которым мы знакомы по балладам, философским элегиям и драмам последнего периода его жизни. Из баллад Шиллера Лермонтов, правда, перевел «Кубок» и «Перчатку», но перевод вышел слаб; поэт не сумел уловить настроения оригинала.

От философских произведений Шиллера Лермонтова оттолкнула уверенная в себе устойчивость идей, а равно и классическое спокойствие формы. Мыслителем в настоящем смысле этого слова Лермонтов никогда не был, и потому все философские стихи Шиллера мало говорили его сердцу. К классическому спокойствию Лермонтов имел также мало склонности; примирение с жизнью на почве эстетического

созерцания, которое так высоко понимал и красноречиво проповедовал Шиллер, было для Лермонтова немыслимо.

Таким образом, в своих симпатиях к Шиллеру наш поэт остановился на первой ступени, на увлечении его идиллическими мечтами о счастливом человечестве и на увлечении бурными порывами тех громителей и разрушителей – тех оскорбленных идеалистов, представителем которых был герой «Разбойников».

Герой Шиллера был, однако, как мы сказали, скоро вытеснен из сердца Лермонтова героями Байрона, так как все, чем дорожил Лермонтов в немецком герое, а именно: обаятельная сила личности, гордость, независимость, презрение к обыденным правилам жизни, героизм в действиях и любовные восторги – все нашлось и в английских образцах и, вдобавок, без примеси сентиментальности, которую Лермонтов очень скоро разлюбил.

IV

Много ли говорила сердцу Лермонтова поэзия Гейне – решить трудно. В некоторых любовных стихотворениях Лермонтова есть сходство с мотивами Гейне, но это сходство могло быть случайным. Основные и излюбленные стороны поэтического миросозерцания Гейне едва ли могли быть симпатичны Лермонтову. Самолюбующийся цинизм в решении святых вопросов жизни, смех над самим собою и пародия как проявление высшей свободы духа в его борьбе с властью идей нравственных, политических и религиозных – все это было чуждо Лермонтову. Ему это было чуждо как человеку, смеющемуся сдержанно, с горечью и как бы нехотя, человеку, бесспорно, с идеалами, хотя и туманными, поэтому самоуверенно гордому и признавшему над собой неотразимую власть какой-то судьбы, ведущей его к великой цели. С Гейне Лермонтов мог сойтись только в двух чувствах: в любви к коварной, жестокой, неприступной чаровнице и в симпатии к Наполеону. В обоих случаях поэты поклонялись стихийным силам; их гордую и непреклонную душу любовь могла истерзать, а физическая сила принизить. Но такое совпадение в случайных симпатиях не дает нам, однако, никакого права говорить о влиянии Гейне на Лермонтова.

Равным образом, было бы странно говорить и о влиянии других иностранных писателей, с которыми Лермонтову по книгам пришлось познакомиться. Он, как известно, не отставал от литературных вкусов своего времени. Конечно, и Оссиан, и Вальтер Скотт, и Томас Мур, и Купер оказали свое влияние на Лермонтова, горячили в детстве его фантазию и развивали в нем пристрастие к рыцарским легендам, к восточным сказкам, к таинственному, фантастическому, к «романтическому» вообще, точно так, как Шенье, Барбье и Гюго могли поддержать в нем вкус к общественной сатире. Но готовность, с какой Лермонтов воспринимал все эти влияния, быстрота, с какой он их ассимилировал, и сила, с какой он побеждал их, показывают нам только, что поэт самой природой был подготовлен к таким чувствам, настроениям и взглядам[11].

Единственный певец, чью власть над собой Лермонтов долго и всего сильнее чувствовал, был Байрон.

V

«Грустный, безотчетный сон, порыв страстей и вдохновений» Байрона при первом же знакомстве пленил и покорил Лермонтова. Мальчик ловил всякое малейшее сходство между собой и лордом, готов был стать несчастным, как Байрон, лишь бы походить на этого «великого» человека. В 1830 году, прочитав жизнь Байрона, написанную Муром, Лермонтов признавался:

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны; нет;
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки;
О если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад – прошедшее ужасно;
Гляжу вперед – там нет души родной!

[1830]

Год спустя, однако, гордыня Лермонтова не пожелала мириться с ролью подражателя или последователя, и он писал:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Или поэт – или никто!

[1831]

Лермонтов сочинил эти стихи как будто из чувства самозащиты, предугадывая, что его назовут подражателем, как его, действительно, иногда называли. Между тем, в чем же сказывалось это подражание Байрону?

Того глубокого смысла, который затаен в творчестве Байрона, Лермонтов не усвоил и не мог усвоить, ввиду разницы исторических и общественных условий, в которых выастали оба поэта. Лермонтов перенял только общий колорит байронического настроения, как оно выразилось в первых произведениях Байрона. Это настроение было одним из преобладающих литературных настроений в начале XIX века, и можно было совсем не знать Байрона и в то же самое время написать поэму в его духе. Но во всяком случае, следы прямого влияния Байрона в стихах Лермонтова несомненны, хотя упорство в обрисовке постоянно одного и того же типа, который имеет столько сходного с типами Байрона, показывает нам ясно, что этот постоянно повторяющийся образ коренился глубоко в душе Лермонтова, был тесно и неразрывно связан с его собственной психикой, а никак не навеян извне. Вот почему нет никакой нужды приводить все – очень многочисленные – аналогии и параллели, которые так ясно говорят о родстве этих двух тревожных душ, нашедших для своей исповеди столь сходную речь и столь сходные драматические положения и образы.

Что же, однако, приковывало Лермонтова к Байрону?

Прежде всего обаяние самой личности, та полуфантастическая, легендарная биография, которая ходила по всей Европе и возбуждала всеобщее любопытство. Сам Байрон был тем воплощенным героем, которым бредил Лермонтов.

Как всегда бывает в первые минуты увлеченья, внешность личности оттеснила на второй план ее внутреннее содержание. Увлекаясь колоритной драпировкой байроновских поэм, Лермонтов едва ли глубоко вник в самый смысл жизни их героев. Его прельщала больше поза героя, чем его внутренний мир.

Герои Байрона хоть и автопортреты, но прежде всего они борцы за идеалы очень широко понятой свободы личной и преимущественно общественной. Их эгоизм, пессимизм и одиночество – печальный вывод из суровой школы жизни,

которую прошли не они только, а и весь современный им культурный мир; их вражда с людьми – просчитавшаяся и обманутая любовь – любовь, принесшая великие исторические жертвы.

Этот широкий общественный принцип слабо отмечен в сильных лермонтовских типах; самые видные из них: Демон, Радин, герой «Маскарада» и Печорин – люди с кругозором достаточно узким, занятые лишь самими собой, себялюбивые резонеры. Но они далеко не выражают всей правды души самого поэта. Лермонтов не подчеркнул в них того широкого гуманного чувства, которое таилось в глубине его собственного сердца, и не подчеркнул его при обрисовке своих героев именно потому, что не подражал Байрону, а самостоятельно трудился над задачей жизни и в решении ее не подвинулся пока еще настолько, чтобы так широко ставить вопросы, как их ставил Байрон.

Экзальтированный мечтатель, с большой склонностью к рефлексии, с очень туманными идеалами, скрытный и любящий уединение – Лермонтов искал в поэзии Байрона лишь подтверждения тем чувствам и мыслям, которые сам живо испытывал и передумал. Фантастичность обстановки, меланхолия, отчужденность, гордое уединение, любовь, всегда кончающаяся трагично, всегда возвышенная, идеально-страстная, величие героев, поражающее своим внешним блеском, – все это в стихах Байрона пленяло нашего поэта и находило сразу отзвук в его сердце. Любуясь показной стороной байронических героев, поэт не задал себе вопроса: зачем и ради чего они ведут такой странный образ жизни? Они понравились ему в один определенный момент и в одной определенной позе. И в эту позу Лермонтов часто ставил своих героев. Что же касается внутреннего развития их характера, то в психологической мотивировке их образа мыслей и поступков Лермонтов оставался вполне самостоятелен. Он копировал самого себя, а не чужой образец. Вот почему он, при неясности собственного миросозерцания, при всей своей растерянности в решении трудных этических проблем, не перенял целиком мировоззрения Байрона, не стал повторять его политических, нравственных и религиозных сентенций. Он ждал, пока сама жизнь приведет его к этим или сходным выводам.

Итак, когда мы говорим о влиянии Байрона на Лермонтова, мы должны иметь в виду, что это влияние, хотя и продолжительное, было влиянием односторонним; оно поддерживало в Лермонтове настроение только определенного отрицательного порядка и не давало его уму готового решения тех этических вопросов жизни, которые его мучили.

Поэзия Лермонтова начала выигрывать и в содержании, и в форме по мере того, как поэт сближался с жизнью больше и меньше читал свои любимые книги. Положительная сторона в решении житейских вопросов стала ему выясняться из событий его собственной жизни. Но это сближение с людьми и интересами действительности давалось ему, как мы увидим, необычайно трудно. Лермонтов привык становиться в отношении к окружавшей его обстановке в слишком изолированное положение, в знакомую нам внешнюю байроническую позу, и он чувствовал, что становится в это положение, не имея ни достаточного оправдания в прошлом, ни ясных видов на будущее. Сознание, что эта поза до известной степени фальшива, тяготило Лермонтова, и в тяжелые минуты такого сознания он, чтобы как-нибудь оправдать ее, бросал на бумагу те пессимистические мечты и мысли, в которых не щадил ни своего прошлого, ни будущего и предавал одинаковым проклятиям и воспоминания, и надежды.

Но если такое одностороннее влияние Байрона, не давая решения жизненной загадки, тормозило в известном смысле развитие характера и творчества Лермонтова, то оно же предохраняло человека и поэта от измельчания.

Лермонтов был крайне неустойчивой натурой; когда он из деревни попал в университет, а затем в юнкерскую школу, он увлекся неумеренно рассеянной жизнью, и его поэзия 1832–1837 годов носит на себе ясные следы душевной пустоты и телесной разнузданности. Мелочность жизни отзывается и на гениях, и если Лермонтов вышел победителем из этого испытания, то только потому, что в нем никогда не умирали сознание своего преимущества над средой, вера в силу своей личности и преклонение перед своим призванием. Все эти благие свойства характера, которыми удивлял современников и Байрон в эпопее своей жизни, были даны Лермонтову его природой, но в чтении Байрона они находили себе пример и поддержку.

«Демон»

I

Поэты нередко бывают несправедливы к своим первым произведениям, как люди вообще к своей первой любви. Известно, какой строгий приговор произнесли Гёте над «Вертером» и Шиллер над «Разбойниками». Эти юношеские произведения казались им ошибками не только в печати, но и сами по себе, тогда как на самом деле они были очень правдивыми отголосками живых впечатлений жизни.

Не забудем, что первые произведения больших поэтов отличаются обыкновенно большой примесью личного элемента, в силу перевеса в художнике живого, самобытного чувства над каким бы то ни было привитым и усвоенным вкусом. Невыдержанность, туманность, беспорядочность и вычурность таких произведений – прямое отражение молодости, на которую зрелый возраст и старость иногда смотрят свысока.

В «Сказке для детей» 1841 года, вспоминая давно минувшие годы, Лермонтов в следующих выражениях говорил о своей юношеской поэме:

Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно… и душа тоскою
Сжималася – и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами!

Приговор, как видим, не особенно жестокий, хотя и строгий, но он не вполне верный приговор, так как, вопреки словам поэта, стихи не помогли ему отделаться от этого печального образа. Он преследовал его всю жизнь под разными именами и в различных костюмах.

Лермонтову было пятнадцать лет, когда им задумана была поэма «Демон», и он не переставал работать над ней почти до самого дня своей смерти. Ни одно из его произведений не подверглось таким тщательным и долговременным переделкам, несмотря на то, что поэт с каждым годом все дальше и дальше отходил от «дикого бреда» и приближался к трезвой действительности. Очевидно, что действительность имела свою

долю участия в создании красивой мечты.

II

«Демон» замыкает собою весь цикл юношеских произведений Лермонтова: это – первая попытка связать в одно целое ряд перечувствованных ощущений и передуманных мыслей – первая попытка создать «тип» из материала, взятого не вне, а внутри себя. «Демон» – это памятник, поставленный Лермонтовым своему детству и своей юности, и, как большинство памятников, он идеализирован и символичен.

К этому, некогда столь пленительному, образу мрачного духа, сознающего свою силу и не находящего этой силе никакого применения, мы теперь относимся с некоторым предубеждением, а иногда и насмешливо. Правду сказать, он давно прискучил нам и в литературе, и в жизни. Этот Демон, появившийся на русском горизонте в 30-х годах XIX столетия и пленивший сразу не только женские, но и мужские сердца, породил целую массу мелких и пустых бесов, которые расхаживали в мундирах военных и статских, а иногда даже в гимназических. Но для людей 30-х годов Демон был интересным героем, а для самого автора – любимым символом пережитого и выстраданного. Действительно, работая над своей поэмой в продолжение многих лет, поэт тщательно отделывал детали и почти ничего не изменил в характеристике главного героя; этот герой остался таким, каким он был задуман пятнадцатилетним мальчиком.

В поэме много личных намеков. Стоит только сравнить юношеские стихотворения Лермонтова с «Демоном», чтобы увидеть, что нет ни одного «демонического» чувства, которое не нашло бы себе соответствующего человеческого в юношеских тетрадях поэта.

Этот красивый Дух принадлежал земле, а не небесам, и мы, без натяжек, узнаем в нем самого автора.

Лермонтов, впрочем, и не скрывал своего псевдонима. В посвящении первого очерка (1829) «Демона» он говорил о скуке своего личного бытия и о том, что его душа (пятнадцатилетняя!) не перестает скорбеть о годах «развратных», что жизнь его пасмурна и что нет для него в мире новых впечатлений, т. е. он повторил начальные слова своей поэмы.

В посвящении второго очерка (1830–1831) Лермонтов подтвердил это же признание, называя себя мрачным гением, который «воскрес для надежд, для небес и для непорочных наслаждений близ своей Мадонны». В конце очерка параллель между демоном и певцом развернулась даже в целом стихотворении:

Я не для ангелов и рая
Всесильным Богом сотворен;
Но для чего живу страдая,
Про это больше знает Он.

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;

Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни,
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.

Помимо этих признаний, вставленных в самый текст поэмы, мы в юношеских стихотворениях Лермонтова встречаем также много намеков на ее основную идею.

Дважды в своих тетрадях поэт говорит о каком-то демоне-искусителе, который преследует его и будет преследовать всю жизнь, о каком-то духе зла, унылом и мрачном, презревшем чистую любовь и отвергшем все моленья, но сохранившем свою страстность:

Собранье зол его стихия;
Носясь меж темных облаков,
Он любит бури роковые
И пену рек, и шум дубров.
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи,
Безвестные слезам и сну.

К ничтожным, хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
Он чужд любви и сожаленья.
Живет он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.
……..
И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня

И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня.
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

[1831]

Стихотворение как будто навеяно «Демоном» Пушкина, но в нем есть, бесспорно, частица души самого Лермонтова. С Демоном его поэмы этот дух имеет, впрочем, лишь только внешнее сходство.

Но иногда этот злой демон начинает делать уступки в пользу человека, и, наоборот, в душе Лермонтова начинают проявляться порой демонические чувства. Так, поэту кажется, что самое святое чувство – то, которое в его юношеской душе было особенно сильно, – его любовь, пропитано демоническим ядом:

Мне любить до могилы Творцом суждено,
Но по воле того же Творца
Всё, что любит меня, то погибнуть должно,
Иль как я же страдать до конца.
Моя воля надеждам противна моим,
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.
……
…и я под ударом судьбы,
Как утес, неподвижен стою,
Но не мысли никто перенесть сей борьбы,
Если руку пожмет он мою;
Я не чувств, но поступков своих властелин,
Я несчастлив пусть буду – несчастлив один.

[1830]

Не есть ли это стихотворение прелюдия или вариация на тему монологов «Демона»? И таких вариаций в юношеских стихотворениях Лермонтова много, и во всех автор говорит от своего лица[12].

В одном стихотворении поэт даже предрекает себе за гробом судьбу Демона и молит о том, чтобы для него нашлась своя Тамара. Послушай, – пишет он, —

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану! —
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга всё счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне – вселенной!

Личные воспоминания легли, бесспорно, в основание знаменитой поэмы[13].

Вот почему оценивать эту поэму должно прежде всего как личное признание, как попытку обобщить и разрешить ту нравственную проблему, которая в юные годы так тревожила пытливую мысль юноши.

Основная нравственная идея «Демона» была, несомненно, выстрадана Лермонтовым и принадлежала лично ему. Она заключена в одном простом, но трудно решимом вопросе: может ли человек примириться с полным одиночеством и не искать встречи с другими людьми, даже если признать, что в нем погибли все добрые чувства, что он силен настолько, чтобы ни в ком не нуждаться, и пресыщен и разочарован до полного индифферентизма? И если при всем этом человек не в силах сжиться со своим одиночеством, то какое же чувство может вдохнуть новую жизнь в совершенно мертвую душу?

Если вспомнить, как часто Лермонтов считал свою собственную душу умершей для всех чувств, то станет понятным, почему поэт мог так долго, в продолжение всей своей жизни, думать и работать над своей поэмой. В ней он утешал самого себя, хотел уверить себя в том, что полного одиночества и индифферентизма для человека нет и что никогда не исчезающая возможность любви может быть залогом душевного обновления.

Для этой простой и сухой мысли нужно было найти подходящую литературную форму, и здесь Лермонтову пришла на помощь старая легенда о демоне, грехи которого может искупить любовь чистой девы. Эта легенда в форме сказки или житейской драмы давно была обработана на Западе, и Лермонтов мог знать ее даже в какой-нибудь готовой литературной переделке. Но если самое зерно фабулы могло быть заимствовано, то разработка ее принадлежала всецело поэту. Он неоднократно менял и действующих лиц, и место действия. В первом очерке героиней была какая-то женщина, любимая ангелом, затем она обратилась в монахиню и действие

происходило в Испании; наконец, десять лет спустя после того как поэма была задумана, автор написал ее в восточном, кавказском стиле: монахиня стала Тамарой, и поэма обогатилась роскошными описаниями кавказской природы и быта.

Поэма осталась аллегорической по смыслу, но очень человечной в развитии чувств всех действующих лиц: очевидно, что поэт имел все время в виду не демона, а человека, и, конечно, прежде всего самого себя.

III

Демон – не сатана, а один из его подначальных. Сатанинского отрицания в нем нет; он служит духу тьмы скорее из расчета, так как пользуется на его службе большей свободой, чем та, которой бы он мог располагать на небе. Небо ему дорого только как воспоминание детства. В нем нет ни достаточного смирения, чтобы стать ангелом, ни достаточно злобы и отрицания, чтобы стать бесом. В бесовской иерархии он стоит на довольно скромной ступени – что и позволяет ему ощущать чисто земные чувства, как, например, любовь и раскаяние. У него нет даже иронии и смеха, этого беспощадного оружия, которым наделен каждый бес, сознающий свою силу. Правда, сила есть у лермонтовского Демона, но она – сила физическая. Способность превращения, произвольного перемещения и разрушения находится в его власти, но у него нет способности перерождения. Он – человек, поступивший в услужение духа тьмы, но не забывший старых привычек. Земля его привлекает, женщина трогает его сердце, и потеря этой женщины сердит, несмотря на «язвительную улыбку», какой он укоряет победоносного ангела.

Мы застаем героя поэмы в минуту для него очень печальную – в минуту наплыва воспоминаний о том, как он жил без злобы, без сомнений, неопытный, но любящий и любимый. Так мы живем в нашем детстве.

Теперь он возмужал и стал силен. Как жил он в недавнем прошлом, что делал до той минуты, когда мы с ним встречаемся, – мы не знаем. Мы знаем только, что он жил скучно, одиноко, сеял зло без наслажденья, и что, наконец, это зло ему наскучило. Оно могло, вероятно, наскучить ему потому, что не было принципом его жизни.

По крайней мере, в первых редакциях поэмы Лермонтов изобразил Демона «не знающим ни добра, ни зла» и «не смеющимся своим злодействам». Он и остался таким не злым, а скучающим духом, не знающим, на что употребить свою силу.

Некогда этот Демон обольстил и погубил одну смертную, любимую ангелом. Любил он эту смертную, очевидно, больше из ревности к своему противнику, и потому скоро бросил. Теперь, скучающий от безделья, разочарованный в любви и пресыщенный сознанием своей силы, он предался бесплодному странствованию, сначала среди людей, а затем среди пустынной природы.

Люди ему скоро надоели своей пустотой и своим развратом; он стал их презирать за мелочность и ненавидеть за разврат, забывая, что ненависть к людям для демона – слишком

человеческое чувство.

Природа ему нравилась больше. Он «вник в нее глубоким взглядом и объял душою ее жизнь», но ненадолго. Она перестала вызывать в нем новые чувства и новые силы, и скоро его презрение и ненависть распространились и на нее. Он утратил, таким образом, последний интерес к чему бы то ни было. Он был спокоен, так как не имел желаний, ничего не боялся и ничем не восхищался. Но, как нередко бывает в таких случаях, это спокойствие, после целого ряда бурь, было затишьем перед новой бурей.

Какое чувство могло вызвать новую бурю в сердце настоящего демона, сказать трудно; но в сердце человека при одинаковых условиях душевные волнения всего легче вызываются любовью, или, вернее, ее вскипевшим приступом. Так случилось и с Демоном. Появление любимой женщины, той ли, в которую был влюблен ангел, или испанской монахини, или наконец Тамары – сразу перерождает нашего героя. Чем легендарнее становится с этого момента повесть, тем правдоподобнее и человечнее становятся чувства Демона. При виде Тамары:

…На мгновение
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог…

Демон находит, наконец, в любви ту цель бытия, которой он может посвятить отныне весь богатый запас своей энергии. Он прежде всего пользуется физической силой для устранения соперника, затем своей нравственной силой для утешения

овдовевшей невесты. Знаменитый монолог «не плачь, дитя» показывает нам, как может быть любезен, поэтичен и завлекателен демон:

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы,
И на шелковые ресницы,
Сны золотые навевать…

Мы ошибемся, если сочтем эту сладкую речь за предательское обольщение. Демон верит, что для него пришла «желанная пора новой жизни», и он, как влюбленный юноша, живет сам в этом фантастическом мире чудес, которым старается заманить невинную душу. Произнося этот монолог, он, «ада дух ужасный», становится похожим на ясный вечер; не забудем к тому же, что он, как поэт, обладает умением разукрасить поэтическими сравнениями самые обыкновенные речи.

«Не плачь, дитя», действительно, самый обыкновенный любовный лепет, который мы можем подслушать в любое время у любого влюбленного. Но ведь сила поэта и заключается в том, что она, как сказал Мюссе, простую слезу преображает в жемчужину.

Мы могли бы подумать, что этот нежный, поэтичный монолог Демона был *рассчитан* на чувствительную и детскую натуру Тамары, что и Демон легко мог бы говорить с несчастной невестой, у которой он отнял жениха, приблизительно тем же дерзким и вкрадчивым языком, каким Ричард III говорит с Анной у гроба ее мужа. Но такая коварная и извилистая речь едва ли могла удасться Демону, его любовь хотя и недолговечна, но настолько сильна и искренна в данную минуту, что он неспособен ни на какую хитрость, ни на один софизм, ни на какие уговоры;

он ограничивается общими местами о покое загробной жизни и сразу переходит к картине блаженства, которое ожидает его возлюбленную «на воздушном океане».

Демон настолько человечен и чист в своих чувствах, что в самую решительную минуту, перед тем как войти в келью Тамары, он начинает колебаться, как всякий честный человек в подобных обстоятельствах. Он знает, что она будет жертвой, и вопрос, что он может ей дать взамен ее преданности, начинает беспокоить его:

…долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда, казалось, он готов
Оставить умысел жестокий.

Эта единственная минута колебания промелькнула, как молния, и песнь Тамары погружает Демона снова в томительно-сладкое настроение, и —

Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится…

Он входит в келью и встречается с ангелом.

Мы снова в мире символов. Этот ангел, в котором мы должны признать доброго гения Тамары или, другими словами, ее невинную душу, вполне сознает, с каким врагом он встретился. Женское сердце иногда инстинктивно разгадывает тайну мужского – и это, конечно, может раздражить сильного человека. Разгневался и Демон, почувствовав сопротивление там, где ожидал встретить одну покорность. Разгневался он, как подобает демону; но в его положении и у простого человека могло шевельнуться нечто демоническое в сердце:

Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! – сказал он грозно, —

Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою…»

Сопротивление, оказанное Демону, было очень слабо; и может показаться странной та поспешность, с какой ангел поторопился, взмахнув крылами, утонуть в эфире неба. Тамара сдалась слишком скоро, и весь последующий ее разговор с Демоном уже не борьба, а ряд нарочно высказанных опасений, с целью в них разубедиться. Весь этот разговор Тамары и Демона – перл блестящей художественной риторики в стиле Виктора Гюго. Психологическая задача, сама по себе очень несложная и обыденная, получает совершенно оригинальную окраску от нагромождения поэтических сравнений, от этого приподнятого тона, от переливов величавой, возвышенной мысли, которые чередуются с мелодичными напевами нежной любви и вновь заглушаются словами вскипающей страсти.

В самом ходе этого любовного диалога особых оригинальных приемов не видно. Сначала очень гордые речи о своей силе и могуществе, затем исповедь побежденного, жалоба на одиночество и на свои печали и, наконец, легкое смущение при напоминании о Боге, смущение, которое ощутил не только Демон, но и сам автор поэмы. На брошенный Тамарою вопрос о Боге ни у того, ни у другого не нашлось должного ответа; но вопрос был предложен как-то случайно, без глубины и тревоги мысли; по крайней мере, сама героиня удовлетворилась первым попавшимся ответом[14] и потребовала от Демона только клятвы в искренности его чувств. Остановки за этой клятвой, конечно, не было; она в своей величественной красоте превзошла даже все ожидания Тамары, судя по последствиям, какие она имела. Демон одержал победу и вместе с этой победой утратил вновь и спокойствие, и цель жизни. Житейская драма кончилась, и эпилог был разыгран уже на небе.

Фантастичность этого эпилога и его содержание были Лермонтову продиктованы традиционной легендой. Рай должен был открыться для чистой любви, и начало добра должно было восторжествовать над началом зла[15]. Теперь понятно, почему в последней сцене никто не мог узнать привлекательного и даже любезного героя поэмы:

Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом

Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

Как символ, противопоставленный ангелу, он и не мог иметь иного вида. Земная оболочка с него упала и остался один бесплотный дух зла и отрицания.

Этот аллегорический эпилог не был таким суровым для Демона в первых редакциях поэмы, т. е. в то время, когда настроение и склад мысли автора соответствовали больше настроению и взглядам Демона. Во втором очерке поэмы Демон совсем не обменивается словами с ангелом, а пролетает мимо:

…над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Без цели мчался с быстротой;
Но ни раскаянья, ни мщенья
Не изъявлял угрюмый лик;
Он побеждать себя привык;
Не для других его мученья!

Стало быть, они не исчезли, эти мученья, и преследовали Демона и после смерти Тамары!

В этом втором юношеском очерке Демон был ближе к земле и психика его была более человечна.

Итак, «Демон», при всей его фантастической обстановке, тесно связан с чисто земным существованием самого автора. Это символ, не заимствованный из книг и разукрашенный воображением, а взятый из личной жизни поэта и заключенный в рамки фантастической легенды.

IV

Лермонтов, перерабатывая свою поэму, не торопился с ее печатаньем. Она ходила по рукам в бесчисленных списках и была принята с восторгом и молодыми читателями, и взрослыми. Восторг этот был знаменательным явлением: он показал, что думы и чувства автора шли вровень с веком. Одна единичная личность, с душой замкнутой и одинокой, объединила в себе многие черты целого поколения. Одного этого факта достаточно, чтобы зачислить «Демона» в разряд очень ценных литературных памятников, несмотря на все его погрешности. Но и недочеты поэмы нравились тогда многим. Туман неопределенных желаний, сильных, но неясных порывов висит иногда над целым поколением и покрывает одинаково и гения, и простого смертного.

Внешняя отделка много способствовала успеху «Демона». Она всем бросалась в глаза и всех ослепляла. Вспомним, что Пушкина уже не было на свете, когда «Демоном» стали зачитываться. Никто из современников Пушкина не мог равняться красотой своего стиха со стихами Лермонтова; да и сам учитель, по природе своей любивший больше простоту, чем блеск, едва ли мог указать в своих произведениях что-либо равное «Демону» по эффектам внешней отделки.

Но «Демон» пленил всех главным образом своим *настроением*. Туманный герой поэмы сумел вселить в душу читателей какое-то неопределенное настроение, под влиянием которого они, не отдавая себе ясного отчета в сложной психологии героя, могли, однако, *чувствовать* ее.

«Демон» – новинка по фабуле и ее отделке – не давал, в сущности, нового типа. Читатель того времени не мог отделаться от впечатления, что где-то он встречался с Демоном или с подобными ему образами; он мог, кроме того, заметить и в себе самом некоторое духовное родство с героем поэмы. Действительно, к этому герою примыкал длинный ряд западноевропейских типов, в том числе самые популярные типы поэм Байрона, а в нашей жизни того времени его поддерживал целый круг «романтически», восторженно настроенной молодежи.

Молодежь была неравнодушна к Байрону и французским романтикам, что видно, между прочим, на приеме, какой был сделан писателям, опережавшим эти «романтические» вкусы. Вспомним, что последние произведения Пушкина остались непонятыми; вспомним, сколько труда потратили критики на истолкование произведений Гоголя, и сравним с этим успех

романов Полевого и Марлинского, драм Кукольника и популярность целой бездны пьес и повестей с повышенным настроением и фантастическим колоритом.

Русская жизнь сама по себе представляла очень удобную почву для восприятия и дальнейшего развития мятежной тревоги духа, скучающей силы, разочарованной бездеятельности и всех тех кипучих чувств и эксцентричных положений, какие составляют сущность некоторых романтических движений сердца. «Демон», который отразил в себе всю юношескую жизнь Лермонтова и все его юношеское чтение, не мог не быть симпатичным тому поколению, которое увлекалось теми же туманными идеалами и теми же книгами.

Таким образом, наш писатель, сочиняя своего «Демона», не только говорил от своего лица, но, сам того не подозревая, от лица весьма многих.

V

Сказалось ли литературное чтение Лермонтова на его «Демоне»?

Из автобиографического характера этой поэмы, этого символического обобщения детства и отрочества Лермонтова вытекает оригинальность и искренность ее настроения и основной ее идеи. Во внешней отделке, конечно, многое напоминает Байрона; байронические мотивы можно найти в изобилии во всех главах «Демона», но ни одно из произведений Байрона все-таки не может быть названо прототипом поэмы Лермонтова.

В какой мере оригинальна сама кавказская фабула – вопрос спорный; она была присочинена Лермонтовым позднее и потому, конечно, не могла натолкнуть его на характеристику героя. Герой был создан раньше, так же как и главное драматическое положение – столкновение демона с земной женщиной и ее гибель.

Насколько же оригинальны эти основные положения «Демона», т. е. трагедия героя и трагичная любовь Тамары?

Сравнение с некоторыми западными типами, взятыми у различных авторов, убедит нас, что, несмотря на известное сходство, нет прямой зависимости между Демоном и этими типами. Все они родные братья по настроению, только один старше, другой моложе.

Они все выросли на почве общественного и умственного движения конца XVIII века, из той революции во всех областях мысли и чувства, которая наобещала на первых порах так много, а в страшном итоге дала так мало. Принцип свободы и жажда счастия стали источником всех титанических порывов, какими жили идеалисты конца XVIII и начала XIX столетия, точно так же, как крушение всех идеалов и надежд вызвало в этих же восторженных людях острые приступы озлобления, разочарованности, меланхолии и даже мизантропии. В этом столкновении необузданной жажды счастия и самой широкой свободы с внешним и внутренним установившимся строем человеческой жизни кроется начало тех душевных настроений, какие выразились всего отчетливее в героях Шатобриана, молодого Гёте и Байрона.

Наш Демон принадлежит к их орлиной семье. В нем сохранились общие семейные признаки – гордый ум, сила духа и тела, огонь страсти, – но он не знает, как пользоваться всеми этими преимуществами. Этим именно незнанием он и отличается

от своих западных родственников, которые, как дети революционного века с определенными общественными идеалами, знали, куда должно было направить свои силы, и страдали только от невозможности приложить их к делу или от сознания, что они были приложены не так, как должно. У нашего Демона таких идеалов совсем нет. Несмотря на свои земные чувства, герой поэмы считал интересы земли нестоящими внимания; ввиду людской ничтожности и мелочности он давно порвал всякую связь с людьми и был занят лишь самим собою.

Главное драматическое положение поэмы, встреча демона с Тамарой, имеет также свои аналогии на Западе.

Драматическая завязка поэмы вытекает естественно из характера самого героя, чем и объясняется сходство многих произведений, друг от друга не зависящих.

Демоническая натура, несмотря на многие привлекательные свои стороны, – натура эгоистическая. Сознание своей силы и величия своих порывов и замыслов умаляет в глазах такого «демона» цену какой бы то ни было жертвы, принесенной ему его ближними. Глубина и острота собственных страданий заставляет его хладнокровно смотреть на страдания других, в особенности если эти страдания не захватывают столь широкого круга чувств и мыслей, какой охвачен страданиями самого героя. Встречаясь с натурой более слабой, демоническая натура обезличивает ее, иногда даже против свой воли, и становится источником ее нравственных мучений, так как предъявляет ей требования, на которые она ответить не в состоянии. Вот почему жизненные столкновения с такими демоническими характерами не обходятся дешево людям обыкновенным и преимущественно женщинам.

Общественное движение, создавшее демонических мужчин, поселило и в женских сердцах жажду свободы. Но героиня была очень консервативна, менее стремительна в своих думах и чувствах, пока еще безмолвна и очень смиренна в сравнении с героем, который, хоть и одинокий в мире, все-таки не отказывался от личной жизни и нуждался в подруге. Сродных по духу взять было негде и приходилось довольствоваться кругом нежных, любящих и слабых женских натур. Отсюда вытекает драматическое противопоставление демона-мужчины ангелу-женщине, контраст, являющийся обычным, повсеместно распространенным рычагом поэм и романов в первой половине XIX столетия.

Еще в XVIII веке встречаем мы целый ряд таких героинь в английских, французских и немецких романах. Эти героини романов Ричардсона и Руссо – христианки, смиренные женщины, отданные на произвол единственной страсти – любви, смешанной

иногда с большою долею страдания и сожаления.

Но так как прямой или косвенной задачей романов Ричардсона и Руссо и их прямых последователей была проповедь нравственности и притом довольно узкой, то и главные герои, противопоставленные этим нравственным женщинам, были, в большинстве случаев, люди, характер которых скорее определяется отсутствием известных добродетелей, чем присутствием иных сильных душевных качеств. Таковы, например, Ловелас, герой «Памелы», и Сен-Прё – «Новой Элоизы». Отнимите у Ловеласа его донжуановскую натуру, не останавливающуюся перед насилием, устраните из жизни Сен-Прё некоторые социальные предрассудки – и все эти семейные драмы кончатся картиной супружеского счастья. Во всех героях дореволюционной эпохи нет демонического элемента, того склада характера, при котором покой и счастье невозможны, даже при самых благополучных условиях. В сердце таких героев для сатаны остается мало места. Он вселится в этих людей, когда крушение великих надежд ляжет на них всею тяжестью.

Пример тому – Рене и его младшие братья. «Рене» Шатобриана многими своими сторонами коренится в действительно выстраданных минутах жизни. Он – родной сын французской революции, и этим все сказано. Запас его душевных сил велик, как велико и его страдание. В его душе живет это чувство недовольства всем и всеми, которое заставляет его бежать от людей, говорить о ничтожестве мира, не находить ничего поучительного ни у древних, ни у новых народов, смеяться над всякой обязательной работой и предаваться мрачным мечтаниям, «сидя у кратера огнедышащей горы». В вопросах религиозных этот человек не может быть назван неверующим; но гордость и жажда великой роли никогда не уживаются с христианским смирением. Мы чувствуем, что для лиц с таким характером возможен лишь один покой – кажущийся покой бури. Дружба и любовь такого человека опасны и гибельны. Он, правда, не совращает невинных, но любовь его не может удовлетвориться обыкновенной страстью; ему нужно что-то особенное, что выдвигало бы его и в этом чувстве из ряда других людей; и Рене любит свою родную сестру, но любовью не братской. Когда он потом берет себе жену из дикого племени, семейная и, по-видимому, счастливая жизнь среди девственной природы не дает ему успокоения. Он бросает жену и доводит ее до самоубийства. Призрак несчастной сестры не покидает его и становится источником того мистического настроения, той скуки и томления, которые окончательно парализуют все его душевные силы.

Если оставить этому типу его эгоистическое самообожание, дать ему возможность более энергично действовать, не в дебрях американских лесов, а в цивилизованных странах, заставить его любить глубже и глубже ненавидеть, со страстью бороться за свои идеалы и затем оплакивать их крушение – то получится тот тип героев, которым Байрон придал такую мрачную красоту.

Оставляя в стороне социальное значение этих типов, возьмем их личную жизнь, и мы увидим, что их любовь – проклятие. Вспомним сначала Сбогара и его возлюбленную, затем Конрада и Медору, Лару и Калед, Селима и Зулейку, Манфреда и Астарту, Альпа и его невесту, Уго и Паризину.

Припомним также Фауста и Маргариту. У Гёте, Байрона и Нодье, как позднее у Мура и Виктора Гюго, Мюссе и других поэтов первой половины XIX столетия, часто будет попадаться эта основная пружина эпических рассказов и драматического действия, это постоянное столкновение сильного мужского характера с женским, более слабым, но всегда более симпатичным. Женщина, исполнив свой долг утешительницы и помощницы, будет смиренно сходить со сцены как мученица своей нравственной чистоты. Ей будет открыто небесное царствие, как в последней сцене Фауста, а невольный или вольный ее мучитель будет страдать и казниться. Но и здесь женщина не покинет его. Любящая, она и за гробом будет ходатаем перед Богом за его искупление. Старый мотив Данте оживет в новых образах.

Образец такой, хотя и тщетной, попытки утешить и возродить к новой жизни падшего духа дан в том подвиге ангельской любви, о котором так нежно говорил в своей знаменитой поэме «Элоа» Альфред де Виньи. Автор этого трогательного рассказа был глубоко религиозный человек – отсюда мягкая христианская окраска его поэмы или, вернее, элегии.

Элоа – ангел, родившийся от слезы, которую проронил Спаситель, когда узнал о смерти Лазаря; существо любящее, мягкое, нежное, способное на ту же высокую степень любви и самоотвержения, какая была освящена его Божественным Родителем. Как Он был послан в мир для спасения грешных, так и для Элоа предназначена многострадальная судьба утешительницы родоначальника всего греха в мире, отверженного и падшего ангела. С этим ангелом встретилась Элоа, когда случайно залетела на землю; он, увидав ее, пленился ею, стал рисовать ей свое царство в самых заманчивых красках, поверил ей тайну своего отчужденного и разочарованного существования и тем, в свою очередь, пленил ее сердце. Ей стало жаль его, и в ней вспыхнуло желание возродить его к новой жизни. Была минута,

когда демон, говоря ей о своей любви, был готов принести покаяние и молить Бога о прощении. Наплыв воспоминаний о минувшем блаженстве размягчил его душу. Но это была только минута; злоба и ненависть воскресли в демонической душе с прежней силой, и он, увлекая Элоа с собою в преисподнюю, на вопрос: кто он? – мог ответить только, что «он увлекает свою рабыню и держит в руках свою жертву». Элоа погибает, и никто не приходит ей на помощь.

Но скоро писатели, а в особенности писательницы, обращавшиеся к той же теме женского самоотвержения, стали решать этот вопрос несколько иначе.

Безгласная и любящая женщина, погибающая от мужского эгоизма и произвола, стала мало-помалу показывать когти. Наряду с типами демонических мужчин, стали появляться и типы демонических женщин: женщина начинала во всем требовать для себя равноправия. Первая в этом духе заговорила M-me de Сталь, за ней Бенжамен Констан – оба современники Шатобриана. «Дельфина» была адвокатскою речью за независимое положение женщины в обществе. Элеонора, со своей стороны, стала предшественницей типов Жорж Санд и наглядно доказывала, что несчастье женщины кроется в тех общественных предрассудках и социальных условиях, в какие она поставлена. Первый роман Ж. Санд, «Индиана», был, таким образом, далеко не новинкой. Слова: «Одиночество приятно, и люди не стоят сожаления» – эти слова, в которых Индиана выражает конечный итог своей житейской философии, были прелюдией к настоящему возмущению. Самым законченным типом этой возмутившейся женщины была «Лелия». В ней демонический мужской характер нашел достойного соперника.

Таким образом, вся галерея демонических типов, и мужских, и женских, была не чем иным, как отражением жизненной общественной правды – преувеличенной, быть может, но в основании своем верной картиной действительности. Идеи и чувства, олицетворенные в этих демонах мужского и женского пола, были общим достоянием всей Европы, а также и нашей родины.

Оглядываясь на свою собственную жизнь, русский читатель того времени замечал, однако, что все эти типы эксцентричных и сильных женщин – явление, совершенно ей чуждое. Подмечая и в других, и в самом себе чувства, родственные тем душевным порывам, какими он восхищался в любимых мужских демонических натурах, читатель мог убедиться в том, что этих чувств среди русских женщин ему встречать не приходится. И наша литература в данном случае осталась верна

действительности. Рядом с бесчисленными мужскими типами в стиле Байрона мы в русских романах того времени не встретим соответствующих типов женских. Общественная почва была для них пока неблагоприятна: их не было в жизни, не было их и в литературе. Русская женщина того времени нашла свой прообраз в типе Татьяны, которая по своей мечтательности, по нравственной чистоте, уступчивости и склонности к чтению нравственных проповедей обнаруживает близкое родство лишь с героинями романов Руссо и Ричардсона.

Женские типы Лермонтова вышли также кроткими и любящими подругами и спутницами своих эгоистических мужей и поклонников.

Лермонтов, как видим, не заимствовал своего «Демона» у кого-либо из перечисленных нами авторов; поэма вытекла из его личной жизни как результат сочетания пережитого и перечитанного. С идеями и настроением своего века Лермонтов, мы знаем, ознакомился довольно рано, благодаря усиленному литературному чтению, – и следствием совпадения этих идей с его личным характером, его думами, тревогами его сердца, некоторыми событиями его юности и его литературными вкусами был поэтический образ Демона, настолько же сильный и туманный, насколько сильны и неопределенны были порывы души самого поэта.

Сама жизнь, однако, должна была скоро научить Лермонтова обуздывать свою мечту и теснее и теснее связывать поэзию с действительностью. Ближайшими попытками такого сближения были его юношеские драмы «Странный человек» и «Люди и страсти», его историческая повесть «Вадим» и поэма «Измаил-Бей».

Юношеские драмы. «Вадим». «Измаил-Бей»

I

В продолжение всей своей жизни Лермонтов работал над обрисовкой в сущности одного-единственного типа. Характерной особенностью в приеме его работы было заметное отсутствие точной и связной психологической мотивировки в характеристике героев. Несмотря на яркость, с какой очертаны их нравственные физиономии, в них все-таки остается многое недосказанным и туманным. Мы чувствуем, что все эти образы, в которых столько правдивого и человечного, как-то оторваны от земли; что нет пьедестала, опираясь на который, они могли бы стоять твердой ногой на твердой почве. Этот недостаток происходит от неведения, в каком нас оставляет автор относительно прошлого в жизни своих героев.

Прошлое Демона скрыто от нас совершенно и оговорено двумя-тремя словами, не ради объяснения типа, а скорее для контраста. В «Измаиле-Бее» даны только намеки, как и в «Маскараде». Тип Печорина выяснен несколько подробнее, благодаря отрывку «Княгиня Лиговская» и драме «Два брата», но в обрисовке и этого типа чувствуется большой пробел.

Несомненно, что самому автору были не вполне ясны эти тайные пружины в сложном психическом механизме его героев, как ему многое было неясно и в его собственном сердце. Он шел за своим веком, делил его симпатии и антипатии; сама природа делала его более восприимчивым к одним сторонам жизни и менее к другим; житейские случайности пришли на помощь этим симпатиям. Перед ним стоял ряд этических вопросов, неразрешенных и грозных, и всегда, когда он хотел осмыслить пройденный им путь и объяснить свое настоящее настроение ссылками на прошлое, он убеждался, что он не в состоянии этого сделать. Ему оставалось одно – изложить правдиво свои чувства в настоящем, а в отношении к прошедшему – ограничиться лишь сожалением и общей жалобой. Он так и делал.

Странно слышать, как пятнадцатилетний мальчик говорит о «развратных» годах прошлого, об «изменах и разочарованиях», о «страдании и отчаянии», а между тем эти выражения вполне понятны. Это были преувеличенные, подчерненные воспоминания, в которых поэт искал причину общего неопределенного и неосязаемого ощущения грусти, недовольства и озлобления, какое он замечал в себе, но не мог подробно самому себе выяснить.

Но Лермонтов понимал, что печаль его души нуждается в более полном и ясном оправдании. Нужно было позволить и

самому себе, и другим заглянуть поглубже в таинственную душу демонической натуры, а для этого нужно было сделать ее более человечной и поставить ее в более жизненные условия.

Не довольствуясь мелкими стихотворениями, в которых поэт говорил о своих туманных сердечных тревогах, он задумал воспользоваться ими как материалом для драматического действия.

Юношеские пьесы Лермонтова имеют значение для нас не только как образцы его драматического таланта или как памятники, проливающие некоторый свет на темные эпизоды его жизни, но, главным образом, как попытки поэта связать свое творчество теснее с жизнью и как эскизы, в которых туманный образ Демона начинает принимать, если не вполне, то хоть отчасти, человеческие и земные очертания.

II

Поэт очень рано стал пользоваться драматической формой в своих сочинениях. На четырнадцатом году жизни он перелагает в драму поэму Пушкина «Цыгане», задумывает невероятно кровавое представление из жизни каких-то разбойников, набрасывает сюжет трагедии из Шатобриана, мечтает даже о трагедии из римской жизни («Марий» и «Нерон»), попытавшись предварительно написать таковую же из жизни древнерусской.

Все эти попытки не удаются, и первым драматическим этюдом является трагедия из испанской жизни «Испанцы» (1830). Не забудем, что и в первом очерке «Демона» у монахини в руках была «испанская» лютня.

Эта трагедия – очень живой и драматичный рассказ о некоем еврее Фернандо, который, не зная, кто он, был воспитан в доме испанского дворянина и влюбился в его дочь Эмилию. В этой любви он столкнулся с нежданным соперником в лице старого патера Соррини, развратника, готового на насилие. Спасая Эмилию, Фернандо вынужден своей рукой заколоть ее, чтобы самому кончить жизнь на костре, по приговору инквизиции.

Сюжет навеян, очевидно, чтением – отсюда и книжный характер трагедии. За исключением главного героя, неистового Фернандо, которому Лермонтов уступил во временное пользование свои собственные думы и печали, – все эти испанские дворяне, инквизиторы, евреи – лица мертвые, копии с героев иностранных произведений: Моисей и Ноэми – страница из Вальтера Скотта или Лессинга, Эмилия – героиня в духе Шиллера, патер Соррини тоже не без сходства с злодеями Шиллера; похищение Эмилии – эпизод из «Эмилии Галотти» Лессинга; встреча Фернандо с Моисеем очень сходна со встречей Натана и храмовника. Однако, в общем, благодаря поднятому тону и запутанной драматической завязке, трагедия сценична и эффектна. Для шестнадцатилетнего драматурга опыт может быть назван удачным. Трагедия любопытна также и тем, что в ней сделана первая попытка правдоподобно объяснить наплыв неясной печали в душе героя. Жизнь Фернандо обставлена такими условиями, которые вполне и естественно оправдывают его неистовые вопли. Он – неблагородный по рождению – благороден по духу; вокруг него все знатные по рождению ведут себя как негодяи; служители церкви разбойничают и торгуют совестью, во имя Бога насилуют и жгут людей. Как не произнести проклятия над всеми этими «испанцами», у которых:

…и рай и ад, всё на весах,
И деньги сей земли владеют счастьем неба,
И люди заставляют демонов краснеть
Коварством и любовью к злу!..
У них отец торгует дочерьми,
Жена торгует мужем и собою,
Король народом, а народ свободой;
У них, чтоб угодить вельможе или
Монаху, можно человека
Невинного предать кровавой пытке!..
И сжечь за слово на костре, и под окном
Оставить с голоду погибнуть, для того,
Что нет креста на шее бедняка…

Такие тирады могут показаться очень риторичными, но для молодого Лермонтова они были полны глубокого смысла – в них как бы *историческими* ссылками подтверждалась законность негодования на людей и право презирать их.

Лермонтов заметил, однако, скоро, что такое оправдание выиграет значительно в силе, если вместо исторических призраков на сцене начнут действовать современники.

Вот почему в следующих своих трагедиях «Люди и страсти» и «Странный человек» поэт перенес место действия в русскую столицу и деревню. Художественное исполнение драм, бесспорно, выиграло от этой перемены. Поэт стал черпать материал из жизни и из личных впечатлений, и действующие лица стали говорить прозой, а не стихами; драматические эффекты уступили место ровному течению обыденной жизни; кинжалы, ночные нападения и таинственные появления совсем сошли со сцены. Но в драмах остался один крупный недостаток, в котором виноваты были, конечно, не одни лишь молодые годы автора; а именно: все второстепенные лица изображены были реально и просто, а главные герои, характеры сложные и загадочные, нарисованы красками слишком яркими и кричащими. Ровный ход драматического изложения нарушался ежеминутно субъективно-страстными лирическими монологами героев, а сами они, эти загадочные натуры, вышли неестественными именно потому, что были брошены в среду людей совсем обыкновенных.

Эта драматическая ошибка, нарушающая единство впечатления в драмах Лермонтова, была не просто технической, внешней ошибкой, но коренилась в самом замысле поэта. Он не хотел забыть о самом себе в своих трагедиях. Главному герою отводилось в них то же первенствующее место, какое поэт

отводил своему загадочному настроению в жизни. Автор хотел окружающей средой объяснить странность поведения и миросозерцания главного героя, за которым он сам скрывался. Этот главный герой один должен быть виден отовсюду, даже тогда, когда его нет на сцене; им одним должен быть занят зритель, так как он один – положительный тип среди остальных отрицательных или бесцветных личностей. Действительно, во всех драмах Лермонтова, за исключением позднейшей, «Маскарада», главный герой – честный человек и стоит совершенно одиноко. Женщина ему изменяет, друзья его обманывают, отец проклинает, а все остальные люди или безучастно, или злорадно относятся к его страданиям. Поставленный в такие условия, человек не может жить общей жизнью с другими и невольно становится вдали от всех с сознанием своего права на такое одиночество.

III

«Странный человек», и «Menschen und Leidenschaften» (как Лермонтов озаглавил «Страсти и люди»), несомненно, бытовые драмы.

Принимая во внимание тогдашнее состояние русского репертуара, где приторная сентиментальность чередовалась с пустым водевильным весельем, можно пожалеть, что эти драмы в свое время не попали на сцену. Они не совершили бы переворота, но, несомненно, могли повлиять благотворно на вкус зрителей. Драма «Menschen und Leidenschaften», несмотря на заглавие a la Коцебу, по отдельным бытовым сценам напрашивается на сравнение с театром Островского.

Что касается автобиографического материала, который мы вправе искать в этих драмах, то пользоваться им должно с большою осторожностью. Никто не решится сказать, что с Лермонтовым в жизни действительно произошло все то, что с его героями в этих драмах. Но если драматические положения и преувеличены, то истинным остается один факт – окрепшее и развившееся самосознание автора, тогда шестнадцатилетнего юноши. Как «Демон» был попыткой *облечь в символы* печаль юношеской души поэта, так эти драмы были попыткой ее *осмыслить*. То настроение, которое рисовалось в «Демоне» как конечный полный результат прожитого, разлагалось здесь на составные части путем положений и состояний, взятых из реальной жизни и подкрепленных собственным опытом.

Может ли этот опыт быть назван богатым? Едва ли; но в драмах Лермонтова намечены и затронуты многие житейские положения, в какие, действительно, мог стать шестнадцатилетний юноша.

Типы главных героев – Юрия Волина и Владимира Арбенина – представляют собою две последовательные ступени в развитии одного характера, и мы вправе объединить их, для удобства характеристики, в одном лице.

Как же сложилась нравственная физиономия этого человека?

IV

В детстве наш герой с простосердечием и доверчивостью кидался в объятия всякого; его занимала несбыточная, но прекрасная мечта земного общего братства, и сердце вздрагивало при одном имени свободы («Menschen und Leidenschaften», I, V). Он нетерпеливо старался узнавать человеческое сердце, пламенно любил природу, и творение человечества было прекрасно в его ослепленных глазах (ibid.). Но любовь его к свободе была понята неправильно, сочтена за вольнодумство, и общество от него отшатнулось. Он вернулся в семью, где застал полный семейный разлад. Бабушка, у которой он жил, была в распре с его отцом, распре, выросшей не только на нравственной почве, но и на денежной (ibid., III, 11). С его матерью отец, по-видимому, жил не в особенных ладах, мать умерла рано; отца постарались удалить от него. Он остался на руках у бабушки, и когда отец, по окончании его воспитания, приехал за ним, то наш герой очутился между двух огней, среди целого ряда семейных сцен, среди обоюдных дрязг и клеветы, которая наконец поставила его в такое положение, что отец его проклял. Это проклятие упало на его голову к тому же после сильнейшего пароксизма любовной горячки, в которой ему показалось, что любимая им девушка его обманула. Дрязги заставили его увидать много дурных сторон в любимой им бабушке, а проклятие отца показало ему всю мелочность и нелюбовь этого человека. Проклятие его убило – и он отравился. Такова трагедия Юрия Волина в драме «Страсти и люди».

Но пусть отец нашего героя будет более последователен в своих чувствах к нему и более тверд в своих своеобразных нравственных принципах, и тогда наш герой станет к нему в то положение, в каком в «Странном человеке» молодой Арбенин стоит к своему отцу. Между ним и его отцом становится больная отвергнутая мать, которая умирает на руках сына. Перед нами новая семейная драма, более жестокая, чем в трагедии «Menschen und Leidenschaften». Она кончается тем же проклятием, и Арбенин умирает, как и Волин.

Герой юношеских драм Лермонтова разуверился в дружбе так же, как и в семейных привязанностях. Друзья не оправдали его надежд, как и его родственники. С первым другом, Заруцким («Menschen und Leidenschaften»), у него вышло недоразумение; второй друг, Белинский («Странный человек»), отбил у него невесту и сознательно обманул его. Герой был слишком легковерен и слишком идеально настроен. Он мог сказать, что

никто его не понимает, никто не умеет обходиться с его сердцем, которое полно любви и принуждено расточать ее напрасно («Странный человек», I). Он не мог ужиться с той молодежью, которая его окружала. Не он виноват, что несносное полотерство, стремление к ничтожеству, пошлое самовыказывание завладело половиной русской молодежи («Странный человек», II), но он должен испытать на себе тяжкие последствия нравственного падения своих современников. Разрешим ему мечтать об Италии, так как во всей ледяной России нет сердца, которое ему бы ответило («Странный человек», IV). Но пусть мечта заменится в нем рассудочным отношением к жизни, и тогда он согласится со своим другом Белинским, что приятели в наш век – две струны, которые по воле музыканта издают согласные звуки, но содержат в себе столько же противных («Странный человек», XII).

Любовь к женщине в глазах героя – такое же ненадежное чувство, как и дружба. По природе своей герой был мечтательной натурой. Девушка, которую он встретил, показалась ему ангелом-утешителем. Этот ангел взял его за руку, утешил одним взглядом, и этим неизъяснимым взглядом обновил его для жизни («Menschen und Leidenschaften», II, IV). Разные предрассудки и недоразумения не позволили ему насладиться с ней счастьем, и он измучил и себя самого, и своего ангела несправедливыми подозрениями. Когда он во второй раз влюбился, то, по наивности своей, думал, что встретил снова ангела, предполагая его, вероятно, в каждой девушке («Странный человек», I). На этот раз женщина действительно изменила ему, и подозрения, к которым герой вообще был склонен, нашли себе оправдание. За идеализм и чистосердечие ему отплатили грубой расчетливостью и коварством. Жизнь вырвала у него, наконец, страшное признание, что он на земле «лишний человек» («Странный человек», XII).

Любовь нашего мечтателя была проклятием, как и любовь Демона, как позднее любовь Печорина.

Итак, для героя этих семейных драм не существует ни семьи, ни любви, ни дружбы. Люди, обреченные судьбой жить вне таких естественных связей, могли бы найти утешение в религии как примирительнице неудач и разладов бытия. Но наш герой неспособен возвыситься до религиозного взгляда на жизнь. В религии он сначала такой же мечтатель, как и во всем другом; он жаждет рая на земле и, обманувшись, не желает искать его в самом себе, в примирении, в смиренной вере: людские несправедливости он прямо ставит в счет Богу и говорит («Menschen und Leidenschaften», V, IV): «Зачем не удержал удары людей от моего сердца?.. зачем хотел Он моего рождения, зная

про мою гибель?.. где Его воля, когда по моему хотению я могу умереть или жить?.. О! человек, несчастное, брошенное создание… Я стою перед Творцом моим. Сердце мое не трепещет… я молился… не было спасения; я страдал… ничто не могло Его тронуть!..» При другом случае это безотрадное рассуждение приводит нашего скептика к такому выводу: «Друг мой! – говорит он своей возлюбленной, – нет другого света… есть хаос… он поглощает племена… и мы в нем исчезнем… мы никогда не увидимся… нет рая, нет ада… люди брошенные бесприютные создания» («Menschen und Leidenschaften», V, X). Не забудем, однако, что эти слова произнесены почти в бреду, за несколько минут до смерти. Но, помимо этих признаний, мы могли бы догадаться сами, что герой мало доступен религиозному утешению. Он слишком любит видимое и осязаемое, слишком привязан к земле, чтобы взглянуть на нее как на переходную стадию к иному существованию. Эта любовь к земле, к ее треволнениям – основная черта характера героя; он хочет покоя, а ищет бури; обманутый и разочарованный, он не имеет достаточно силы, чтобы совсем отвернуться от жизни и противостоять ее искушениям. Он, как ночная бабочка, лепится к ее свету.

Жажда деятельности в нем плохо прикрыта внешней разочарованностью, и бледность его лица совсем не соответствует внутреннему жару его сердца. Вся жизнь его – противоречие. Быть тем, чем он желает быть, он не может, а быть тем, чем он может быть, он не хочет. Довести же себя до безучастного отношения к жизни он не в силах, по природной своей организации деятельного, живого и всем интересующегося человека. Эта живость его натуры, восприимчивость и страстность оправдывают отчасти его пессимистические и безотрадные рассуждения о жизни. «Не оживет, если не умрет» – можно сказать про его сердце. Порыв отчаяния для него – толчок к новой жизни, если не внешней, то внутренней. С каждым новым разочарованием он делается на вид более бесстрастным и холодным, а на самом деле более чутким и страстным. Его природа подобна вулкану, который после каждого извержения застывает, и каменистая кора делается все тверже и крепче, но при новом взрыве и новая, и старая лава обращаются в одно огненное море.

Таков этот новый герой, созданный фантазией Лермонтова. Он более человечен, чем Демон, и его отчаянное миросозерцание хоть и не вполне, но достаточно оправдано обстоятельствами.

Среди этих житейских обстоятельств, при которых слагалось печальное мировоззрение Волина и Арбенина, есть некоторые, придающие драмам Лермонтова совсем особое значение.

Кругозор поэта за это время настолько расширился, что для объяснения загадочной трагедии своей мрачной души он стал привлекать не только мотивы чисто личные – любовь и дружбу, но и мотивы социальные.

В драмах Лермонтова попадаются картины ужасающего помещичьего произвола. В драме «Страсти и люди» бабушка Марфа Ивановна, негодующая на евреев за распятие Христа, готова сама распять всех своих крепостных за разбитую кружку. Ее советница, крепостная Дарья – тип озлобленной рабыни, мстящей господам за свою неволю. В драме «Странный человек» попадаются раздирающие сцены, в которых рассказывается, как помещики мужикам вывертывали руки, как выщипывали бороду волосок по волоску, как кололи их и секли. «О, мое отечество, мое отечество!» – только и может ответить герой на все жалобы угнетенных, вполне сознавая все свое бессилие[16].

«Люди для меня слишком подлы», – признается он при другом случае, и эти гордые слова звучат теперь уже не таким неосмысленным афоризмом, каким они казались нам в юношеских стихотворениях нашего поэта.

V

Нельзя, конечно, приписывать самому Лермонтову всего того, что говорят о себе его молодые герои. Одно то, что поэт принужден был покончить с ними, показывает нам, что он поставил их в условия не нормальные и с его собственным положением не сходные. Но созданы эти типы, бесспорно, для защиты того протестующего положения, какое сам Лермонтов занял в отношении к жизни и людям. О примирении и выходе из этого положения нет пока и речи. Поэт занят тем, что оправдывает себя, укоряя людей все в больших и больших преступлениях против этики общественной и личной.

Итак, если драматические опыты Лермонтова не обладают достаточными художественными красотами, которые позволили бы нам наслаждаться ими как памятниками искусства, то они ценны для нас как очень правдивый отголосок душевной борьбы, пережитой в то время самим поэтом.

Протест отчужденного и обманувшегося человека очерчен в них ярко и драматично, и притом жизненно и реально. Вместе с этим протестом ярко обозначены и его источники, и раньше плохо мотивированная печаль, и бравурное презрение к людям принимают теперь вид более или менее осмысленного негодования.

VI

Ко времени, о котором мы говорим, т. е. к 1830–1832 годам, помимо драматических опытов, относятся еще два крупных произведения Лермонтова: неоконченная историческая повесть «Вадим» и поэма «Измаил-Бей».

Драмы, историческая повесть и поэма связаны между собою единством настроения. Герои драм, герой повести Вадим и Измаил-Бей – родные братья. Обрисовке характеров этих главных действующих лиц отведено и в повести, и в поэме первое место. Остальные действующие лица только намечены. Мы узнаем манеру и творческий прием поэта: выдвигать вперед одну личность и оттенять ее другими.

Сюжет исторической повести взят из истории пугачевского бунта, и автор очень искусно воспользовался своим материалом. Повесть читается и теперь не без интереса. В ней можно найти живые народные сцены, яркую картину помещичьей жизни конца XVIII века, сцены из крепостного быта, из жизни казачества времен Пугачева, вообще многое, что напомнит и «Капитанскую дочку», и «Дубровского». Эти сцены, набросанные и колоритно, и живо, чередуются с другими эпизодами, написанными еще в старом романтически-сентиментальном стиле, как, например, весь любовный роман главного героя – Вадима.

Этот Вадим – один из тайных агентов Пугачева, продавший себя в рабство, чтобы легче поразить ненавистного ему помещика-рабовладельца, который разорил его отца. Вадим – мститель и за личное оскорбление, и за унижение народа.

Социальный мотив выдвинут в этой повести на первый план. Борьба имущих с неимущими очерчена очень резко. Картины глухого волнения крестьян, типы бродяг и нищих, описание мятежа и кровавой расправы с помещиками, буйство народа – все вырисовано с уменьем и наблюдательностью, хотя, конечно, с некоторой романтической экзальтацией. Симпатии автора, впрочем, не всецело принадлежат народу. С большой любовью останавливается он на картинах народного страдания, но вместе с тем, какое презрение к толпе проглядывает иногда в его словах! – презрение, которое ищет себе оправдания в сознании своего умственного и нравственного превосходства над дикой и необузданной массой.

Вадим, герой повести, становясь вождем народного восстания, только внешним образом соприкасается с народом, а в душе презирает его. Вадим – личность очень эксцентричная. Создавая этот тип, Лермонтов дал широкий простор своей

фантазии и намеренно попытался обставить жизнь Вадима самыми невероятными условиями, чтобы оправдать неистовство его страстей и его непомерную ненависть к людям. Вот почему, несмотря на усилия мотивировать психологически его характер (Лермонтов в этой повести щедр на анализы душевных движений), он не мог достичь желанной ясности в его характеристике. Несколько выдержек из повести дадут нам понятие об этой странной личности, которая для нас особенно интересна одной стороной своего характера – чувством возмутившегося и *мстительного* человека. Это – новое психическое состояние, которое пока еще не попадалось нам в лермонтовских типах.

«Меня взяли в монастырь – из сострадания, – рассказывает Вадим, – кормили, потому что я был не собака, и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы, в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пением людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой… что я безобразен. Они заставляли меня благодарить Бога за мое безобразие, будто бы Он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов… Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятия! – часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; – она издали была прекрасна. – Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию все сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..»

Вадим «верил в Бога – но также и в дьявола!»

«Ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни о чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. – Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее, – если это было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; – что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга». «Вадим имел несчастную душу, над которой иногда одна какая-нибудь мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться».

И этот гордый дух жил в самом уродливом теле: «он был горбат и кривоног… лицо его было длинно, смугло… широкий лоб его был желт, как лоб ученого, мрачен, как облако, покрывающее солнце в день бури, синяя жила пересекла его неправильные морщины; губы тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность…». Уродливой внешности соответствовали отчасти и уродливые чувства: он был влюблен до безумия в свою сестру. Эксцентричностью своих чувств и своей кровожадной злобой Вадим озадачил самого автора и навел его на мысль, ужасную по своему этическому нигилизму: «Люди ко всему привыкают, – пишет Лермонтов, – и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? может быть, и чувства святейшие – одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, и последнее наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой?»

Повесть осталась неоконченной, и мы не знаем, какая участь ожидала Вадима. Но и в этом виде рассказ очень характерен как плод раздумья Лермонтова все над одним и тем же этическим вопросом. Чем и как оправдать вскипающую иногда в груди человека страшную злобу против людей? В ком вина, в человеке ли, который способен ощущать такое злобное чувство, или в людях, способных ангела превратить в демона? Почти всегда Лермонтов переносит вину на ближних и говорит про всех своих героев, что они до столкновения своего с людьми были и добрыми, и любящими, и верующими.

Такая постановка вопроса однако, лишь половинное его решение, так как неизвестным остается главное: в какое же положение должен стать человек к своим ближним, столь виновным перед добром и справедливостью?

Увлекался Лермонтов *бесстрастным* Демоном, *мягкосердечными*, протестующими идеалистами типа Волина и Арбенина, людьми, которые не выдержали тяжести вопроса и с собой покончили, и вот понравился ему теперь Вадим – *мститель* и *разрушитель*. Но, очевидно, он остался и им недоволен, так как даже не окончил рассказа о его жизни.

VII

В это же время, когда Лермонтов набрасывал своего «Вадима», был им задуман и написан «Измаил-Бей». Это была его первая законченная и отделанная поэма.

Лермонтов очень любил поэму как литературную форму, и в юношеских его тетрадях сохранилось очень много опытов в этом роде.

Литературная цена этих опытов невысокая, но они все-таки представляют большой интерес по темам, которые в них затронуты, и по демоническому духу, каким они пропитаны.

Беглый обзор этих тем будет нелишним.

Есть темы заимствованные, как, например, «Кавказский пленник» (1828) – простой пересказ пушкинского сюжета с той же туманной психологией загадочного человека, который погубил «святые сердца упования»[17].

Есть темы навеянные, как, например, «Корсар» (1828) – история душевных терзаний одного искателя приключений… Он потерял любимого брата и ушел искать смерти в борьбе с турками. Везде с обманутой душой он бродил один, как сирота, не смея довериться надежде, пока наконец не записался в ряды бойцов за свободу Греции. Он хотел быть в жестоких боях и плыть в морях широких, и стал корсаром. И все он ждал чего-то страшного, грустил, томился и желал. Затем он встретил младую гречанку: что произошло между ними – неизвестно, но с тех пор он омертвел и окаменел для нежных чувств.

Есть темы восточные – отголосок того впечатления, какое произвел Кавказ на Лермонтова. Сюда относятся «Черкесы» (1828) – картинка военного быта на Востоке; «Аул Бастунджи» (1831–1832) – кровавый рассказ о молодом Селиме, который, влюбившись в жену своего брата – Зару, сначала просил брата уступить ее ему и, получив отказ, из любви ее зарезал; и «Каллы» (1831) – также очень кровавый рассказ о некоем Аджи, который по совету муллы вырезал из мести целое семейство, не пощадив даже прелестной молодой дочери своего врага, и так рассвирепел от этой крови, что, возвратясь домой, всадил свой кинжал мулле в сердце.

Некоторые темы – фантастические, как, например, «Азраил» (1829) – легенда об ангеле смерти, который, как Демон, жил «со своими чувствами в борьбе, с душой, страданиями облитой»; он искал любви, мечтал о женщине, которая бы смягчила Творца молитвой. Ему наконец показалось, что он нашел ее, но коварная дева, выслушивая терпеливо его печальную повесть, берегла свое

сердце для другого. Этот же ангел появляется и в поэме «Ангел смерти» (1831), но он уже не так легковерен. Он утешает несчастного Зораима, у которого умерла его возлюбленная Ада, и воскрешает ее, приняв ее образ. Но Зораим неблагодарен; он – вместо того, чтобы посвятить свою жизнь этому ангелу, – идет на войну и гибнет. Тогда ангел видит, что люди не стоят любви и сострадания, и из доброго ангела становится злым и за смерть Зораима пылает местью ко всему миру.

Встречаются также и сюжеты легендарные, как, например, поэма «Литвинка» (1830–1831)[18] – повесть об Арсении, который бросил жену и детей ради пленной литвинки Клары. Коварная, она убежала из его замка. Побег ее превратил Арсения в человеконенавистника, «который ненавидит мир, чтоб не любить одно создание». Пылая местью, взялся он за оружие и пошел войной на Литву, и на поле битвы встретился со своей беглянкой; она натравила на него своих поклонников, и Арсений предпочел не отражать ее удара, а встретить с покорностью смерть от руки любимой женщины.

В реальном стиле написана поэма «Джулио» (1830) – путаная история об одном итальянце, обольстившем и покинувшем несчастную Лору. Под гнетом раскаяния странствует он по Европе и в объятиях какой-то Мелины успокаивается; но в ее будуаре опять встречается не то с самой Лорой, не то с ее призраком; затем уже плачет над могилой Лоры и в конце концов спасается от людей во мраке и хладе подземной шахты на дальнем севере.

Наконец, среди этих юношеских опытов есть довольно большая поэма под заглавием «Последний сын вольности». Сюжет взят из эпохи призвания варягов. Варяг-властитель отнял у славян вольность и презрел все их законы и права. Осталась лишь маленькая кучка лиц вокруг влюбленного в Леду Вадима и старика Ингелота[19], которые не хотят подчиниться общей участи; но они обречены на погибель. Над бедной Ледой князь Рюрик совершил насилие, и она умерла. Вадим вызвал Рюрика на единоборство и погиб под его ударом. С ним погиб последний вольный славянин, и славянская страна забыла о молодом витязе[20].

Таковы юношеские мечты Лермонтова, для которых он избрал форму поэмы. Он, однако, очень скоро позабыл о всех этих опытах, запомнив лишь лучшие строфы, которые и имел обыкновение вставлять в более зрелые произведения.

VIII

С поэмой «Измаил-Бей» мы снова на Кавказе, в полусказочном, героическом мире. Кавказ для наших мечтателей 30-х годов XIX столетия был тем же, чем Испания и Италия для западных романтиков, – страной, которую воспевали все, и преимущественно те, кто не бывал в ней. Лермонтов знал Кавказ с детства.

Северная, угрюмая и меланхолическая натура Лермонтова любила яркие краски юга, богатство и красоту южной природы, огонь и зной южных страстей. Но, уносясь мечтой на Кавказ, поэт оставался все тем же северным жителем, с его мрачными страстями, с чувствами, над которыми он производил беспощадный анализ холодного мыслителя, с волей, которая была стеснена и ослаблена размышлением. Всю эту психику передал он своим героям.

Одно из основных драматических положений поэмы «Измаил-Бей» очень напоминает «Лару» Байрона – именно трагичная судьба Зары; но сказать, что «Измаил-Бей» написан под прямым влиянием Байрона, нельзя. Герой поэмы похож на байроновские типы не больше, чем все предшествующие ему лермонтовские герои, с которыми Измаил-Бей состоит в прямом родстве. Проследить это родство весьма нетрудно, и нет нужды особенно подробно его подчеркивать.

Возьмем на выбор несколько строф из «Измаил-Бея», чтобы показать, что мы имеем дело со старым знакомым. Измаил, прежде всего, исключение из общего людского правила:

Бывают люди: чувства – им страданья;
Причуда злой судьбы – их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами;
Так, древле, в море кинул царь алмаз,
Но горный камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут – и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но чаще обвиняет, потому,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;

Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

Как такое исключение из общего правила, Измаил, естественно, одарен и непобедимым умом, силой воли, самыми бурными страстями, одним словом, той демоничностью, соприкосновение с которой не проходит даром другим людям[21].

Свободный горец, дитя вольной природы, он ребенком был оторван от родины и вкусил от плодов цивилизации. На севере, в шуме света, он отдался всем порокам образованных людей, и бурная жизнь опустошила его душу:

…но в других он чувства
Судить отвык уж по своим.
Не раз, личиною искусства,
Слезой и сердцем ледяным,
Когда обманов сам чуждался.
Обманут был он; – и боялся
Он верить только потому,
Что верил некогда всему!
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь – измен взаимных вечный ряд;
Где радость и печаль – всё призрак ложный!
Где память о добре и зле – все яд!
Где льстит нам зло, но более тревожит;
Где сердце утешать добро не может…

И он вернулся на родину. Когда он ушел вновь в свои родные горы, ему показалось, что для его увядшей души еще возможно возрождение:

И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись,
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя…

Но Измаил ошибся: цивилизованному человеку возврат к прежнему бесхитростному счастию был невозможен. Измаил остался одиноким со своей злобой против русских и со своей сердечной тоской и раскаянием. А на душе Измаила лежал грех:

он погубил невинное любящее женское сердце и насмеялся над его чистой любовью.

Измаил – своего рода падший ангел; он изменил вере своих отцов и принял христианство; он порвал связь с непосредственной дикой свободой своей родины, а любить цепи он не научился. Одно осталось ему – найти такую обстановку, среди которой он мог бы забыть, что он человек…

Возродить его к жизни даже новая любовь не в силах:

Не обвиняй меня так строго!

– говорит он влюбленной в него Заре, —

Скажи, чего ты хочешь? – слез?
Я их имел когда-то много:
Их мир из зависти унес!
Но не решусь судьбы мятежной
Я разделять с душою нежной;
Свободный, раб иль властелин,
Пускай погибну я один.
Всё, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено;
Мое дыханье радость губит,
Щадить – мне власти не дано!

Горе ему!

Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос,
Зачем в страну, где всё так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..

Но Измаил не мог не вернуться на родину: им овладело непобедимое чувство, которое стало для него источником большого душевного терзания. Он был охвачен патриотической ненавистью свободного человека к тем цепям, которые на свободный народ налагает всякая цивилизация.

Первобытная свобода не могла ужиться с цивилизованным общественным строем. Этот общественный строй водворялся на Кавказе одновременно с русским завоеванием, и герой поэмы, цивилизованный человек по воспитанию и свободный дикарь по

рождению, возвратясь на родину, очутился в самом критическом положении. Весь трагизм его душевного состояния коренится в этом противоречии тяготения к свободе и сознания, что ей должен прийти конец. Он, умерший для всех наслаждений и всех чувств, живет только одним чувством патриота, защищающего свободу против утеснения. Он давно бы сам покончил с собой, если бы не эта борьба, бесплодность которой для него, однако, очевидна. Он не фанатик в своей любви к свободной родине, а цивилизованный человек XIX века, ставший лицом к лицу с одним из самых запутанных этических вопросов. Он – жрец умирающей религии, сознающий законность и необходимость этой смерти… Примирение с жизнью для него немыслимо при данных условиях, а потому исход один – бороться упорно и ждать, пока смерть снимет с него всякую ответственность. Отсюда – беспечность, неосторожность Измаила при львиной отваге и храбрости, а также и постоянный риск жизнью.

Создание такого типа, как Измаил, при всех его романтических недостатках, говорило о значительном расширении кругозора поэта.

Вспомним, как вопрос о борьбе первобытной свободы и цивилизации решен Пушкиным в его поэме «Цыгане». Цивилизованный человек брошен в среду дикого племени как кара Божия, как живой образец эгоизма и разнузданной страсти. В «Измаиле» этот же человек умирает за свободу, неоцененный и даже проклинаемый своими. Между Алеко и цыганами нет ничего общего, как между нравственной чистотой и пороком. Противоречие между цивилизацией и свободой подчеркнуто резко и не указано никакой возможности их примирения. Между Измаилом и кавказским племенем тоже существует рознь, но, что бы ни говорил автор «о разврате Европы и яде просвещения», – герой не ужился со своими не потому, что он был испорчен, а, наоборот, потому, что он стоял выше их. Первобытные дикари не ужились с человеком, который стал выше общего уровня, они отвернулись от него, когда узнали, что он изменил старине, и тем самым эта первобытная свобода доказала свою косность и законность своей гибели. Падение обветшалого бога описано Лермонтовым с редким сочувствием, с участием, которое показывает нам, что одновременно с Измаилом в душе поэта умирала дорогая ему иллюзия сердца, дорогая мечта о блаженной, ничем и никем не стесненной свободе.

Размышление над этим запутанным нравственным вопросом и побудило мечту поэта создать образ мрачного горца.

Лермонтов пытался, очевидно, дать новое решение мучившей его загадки.

Решение было, в сущности, давно известное; это была мечта о возможности возвращения к первобытным, простейшим условиям общежития. Нельзя ли от злых людей найти убежище среди людей простых и наивных? Поэт, кажется, верил в возможность такого спасенья, судя по тому, с какой любовью и вдохновением он говорил о свободно-наивном состоянии. Но эта вера была самообманом. Поэт понял, что цивилизованному человеку не ужиться среди такой первобытной культуры и что сама эта культура осуждена на исчезновение. Так разлетелась и эта мечта, и вопрос о том, в какое положение стать к людям, не стоящим любви, – остался, как и был, открытым.

Умственный кругозор поэта расширялся очень быстро. Из узкой сферы чисто личных и семейных вопросов Лермонтов стал выходить на широкую дорогу вопросов общечеловеческих и общественных. В своих юношеских драмах, в исторической повести и в поэме «Измаил-Бей» поэт, как мы видели, пытался подробно мотивировать свою печаль и свое раздражение против людей и много думал о том, какова должна быть связь между ним и ими. Его новый герой стал более опытен, имел более определенную цель жизни, чем прежде, стал более гуманен – но его последний житейский вывод остался по-прежнему безотраден и мрачен. Такой вывод не мог, конечно, удовлетворить нашего моралиста: он должен был вновь пересмотреть наскоро решенные вопросы.

Этот пересмотр был, однако, на время остановлен резкой переменой в условиях внешней жизни Лермонтова.

Лермонтов из Москвы переехал в Петербург и поступил в военное училище.

Первые годы в Петербурге

I

Мы привыкли рисовать себе внешний облик Лермонтова не иначе, как в военном мундире: между тем, военную карьеру ему пришлось избрать случайно. В Петербург он приехал с желанием продолжать свое университетское образование, но так как начальство университета не пожелало зачислить ему двух лет, проведенных в Москве, то он должен был бы снова поступить на первый курс. Лермонтов, не желая терять времени, решился сократить учебный срок ровно наполовину и поступил в училище гвардейских подпрапорщиков, где мог окончить курс через два года. Таким образом, выбор карьеры был сделан – к неудовольствию родственников и к немалому удивлению самого поэта. «До сих пор, – пишет Лермонтов в одном из своих писем 1832 года, – я жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь я – воин. Быть может, тут есть особенная воля Провидения; быть может, этот путь всего короче, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, по нему дойду до последней цели всего существующего: ведь лучше умереть с пулею в груди, чем от медленного истощения старости»…

Странное взвешивание выгод карьеры с точки зрения возможной близости конечного исхода. Эта грустно-ироническая нота звучит во всех письмах Лермонтова, где он говорит о своей военной жизни. Он решительно не имел к ней любви, и даже потом, когда стал офицером, нередко помышлял об отставке. В этом недовольстве своей судьбой были виноваты отчасти условия тогдашней военной жизни, отчасти темперамент поэта, который заставлял его жадно набрасываться на все новое и от неумеренного пользования им так же быстро разочаровываться.

Жизнь в училище гвардейских подпрапорщиков, бесспорно, не давала уму никакой пищи, а тем более такому пытливому и широкому уму, каким был наделен Лермонтов. Строгость внешней дисциплины должна была ограничивать не только телесную разнузданность, но и вольное проявление духа. И, как нередко бывает в таких случаях, дисциплина, действительно, стесняла духовное развитие, но, с другой стороны, телесной разнузданности предоставляла полную свободу.

Учебное заведение, в которое поступил Лермонтов, было одно из самых аристократических: оно собирало в своих стенах цвет тогдашней золотой молодежи. Эта молодежь, обеспеченная и стесненная дисциплиной, естественно, искала всякого рода развлечений и предавалась им довольно неумеренно. В этой

погоне за развлечениями Лермонтов был не из последних, если не из первых. Одиночество и сосредоточенность в детстве и юности вызвали теперь естественную реакцию.

Но мы будем несправедливы к поэту, если, на основании большинства написанных им в это время стихотворений, скажем, что он всецело отдался этой жизни, лишенной всякого духовного смысла. Лермонтова никогда не покидало сознание, что избранный им образ жизни его недостоин. Если в его письмах встречаются подчас цинические тирады, по которым мы могли бы заключить, что смысл жизни для него утрачен, то это лишь внешнее щегольство, бравурная поза. «Я, право, не знаю, – пишет он в одном письме того времени, – каким путем идти мне, путем ли порока или пошлости. Оно, конечно, оба эти пути приводят часто к той же цели. Знаю, что вы станете увещевать, постараетесь утешать меня – было бы напрасно! Я счастливее, чем когда-нибудь, веселее любого пьяницы, распевающего на улице». Но за такими бравурными признаниями следуют, нередко в тех же письмах, печальные размышления о своем духовном ничтожестве.

Лермонтов вообще не любил приносить в чем-либо покаяния и чистосердечно признаваться в своих ошибках; он делал это очень редко и всегда несколько прикрашивал свои самообвинения, чтобы и им придать тот оттенок демоничности, какой он придавал иногда своим ошибкам. Но если в письмах Лермонтова нет прямого раскаяния, то есть много косвенных намеков на тяготу, какую испытывал поэт в условиях новой для него жизни. Это тягостное ощущение облекается в хорошо знакомые нам тирады пессимистического и разочарованного тона. Но поэт очень осторожно высказывается в своих письмах; и, вероятно, еще осторожнее высказывался на словах. И нет ничего удивительного в том, что товарищи Лермонтова, видевшие одну лишь показную сторону его жизни, просмотрели в ней другую сторону и, участвуя вместе с ним в развлечениях и удовольствиях, увидали потом неискреннюю позу в тех стихах, в которых поэт косвенно осуждал себя самого за свое легкомысленное веселье. Весельчак-юнкер был товарищам понятен: но этот же самый весельчак, остроумный и живой, преображался, в минуту уединения, в прежнего угрюмого мечтателя, строгого к другим и к себе самому. Лермонтов в обоих случаях был искренен; по крайней мере, мы не видим, чтобы он делал какие-либо попытки изменить свою жизнь, согласно голосу трезвого сознания. «Если бы вы знали, – пишет он в 1823 году, – какую жизнь я намерен повести! О, это будет восхитительно: во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Увы! пора

моих мечтаний миновала; нет больше веры: мне нужны чувственные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его с собой в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя в покое и бездействии мою душу!..» Как ясно слышится в последних словах страх перед собственной совестью! Дурман чувств призывается на помощь как средство заглушить сомнения сердца. И поэт, действительно, уверовал на некоторое время в целебную силу этого дурмана и предался ему со всею страстностью своего характера.

Мы не будем повторять общеизвестных анекдотов о веселой юнкерской и офицерской жизни Лермонтова; они не забыты так же, как и относящиеся к этому периоду стихи легкого содержания. Если уж произносить суд над этим периодом в развитии личности Лермонтова, то не надо забывать двух строчек из одного частного письма, тогда им написанного. «Тайное сознание, – писал он, – что я кончу жизнь ничтожным человеком, – меня мучит».

Для умственного развития поэта его юнкерские годы прошли бесплодно, как можно убедиться при обзоре стихотворений, относящихся к этому периоду. Годы эти вызвали временный застой в его творчестве, хотя не повредили ни его таланту, ни его уму. Равным образом, они не были так вредны и для развития характера Лермонтова, как обыкновенно принято думать. Его природа, вообще, требовала на время безграничной свободы в проявлении всех ее сторон, хотя бы и малосерьезных. Мы знаем, как умственное напряжение и мечты подавляли в поэте все другие его силы и склонности. Теперь настала их очередь, и они вступили в свои права; новые чувства прорвались наружу с особенной страстностью, пока не выкипели, и когда наступил этот момент, то от всей разгульной и разнузданной жизни не осталось и следа, кроме вольных стихов и, может быть, неприятных воспоминаний.

Можно – как это иногда делалось – представить себе Лермонтова несчастным страдальцем, заброшенным в кружок лиц, его не понимающих. Такое представление может дать богатый материал для разных красноречивых обличений, но оно будет неверно. Страдальцем в своем юнкерском кружке Лермонтов никогда не был и отдавался его увлечениям так же охотно, как потом сам же строго критиковал его.

Ум Лермонтова, за недостатком новых серьезных притоков мысли, либо отдыхал, либо возвращался к старым думам, а чувства кипели и выкипали, сближая поэта с людьми, грязня на время его воображение и душу, но делая и его поэзию, и его

самого более способным к соглашению с жизнью. Умный и сильный человек, знакомясь с глухими и темными закоулками жизни, может воспользоваться ими в свою выгоду.

Но одно не подлежит сомнению – кружок тех блестящих молодых людей, в обществе которых Лермонтов коротал дни и ночи, отчуждал его от других кружков и людей, живших теми именно духовными интересами, на отсутствие которых подчас так жаловался Лермонтов в своих письмах.

II

Несравненно вреднее, чем время юнкерства, отразились на Лермонтове его первые офицерские годы, когда он вступил «в свет» и хотел блистать в нем.

Если какое общество больше всего поддерживало в поэте несимпатичные стороны его характера, так это было светское общество, которое могло крайне вредно влиять на человека, не выросшего в нем и, вместе с тем, одержимого страстным желанием занять в нем видное место. Для Лермонтова светское общество было приманкой, несмотря на то, что и в этом вопросе трезвая критика никогда не покидала поэта, и лучшая обвинительная речь против этого круга была им же написана. Еще в юношеских тетрадях Лермонтов писал:

Но свет чего не уничтожит?
Что благородное снесет,
Какую душу не сожмет,
Чье самолюбье не умножит?
И чьих не обольстит очей
Нарядной маскою своей?

[1830]

И часто он позволял себе такую вольную речь по адресу своего кумира:

…перед идолами света
Не гну колена я мои,
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.
Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не чту владыкой никого,
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего;
Живу без цели, беззаботно,
Для счастья глух, для горя нем.
И людям руки жму охотно,
Хоть презираю их меж тем!..[22]

[«Прелестнице», 1830]

Но что же влекло Лермонтова в эти светские круги? Прежде всего – фамильные традиции, так как род Лермонтовых был род дворянский и притом более древний, чем многие другие, а затем – родственные связи. Обаятельно действовала при этом на поэта также известная тонкость и деликатность, в сущности, неглубоких чувств, которые составляют внешнюю прикрасу всякого светского этикета и легко могут быть приняты за истинное благородство. Поэта привлекало, наконец, желание играть роль, быть на виду, а достичь этого можно было в то время, лишь вращаясь в сферах более или менее высоких. Кроме того, к этому высшему кругу принадлежали или часто появлялись в нем все тогдашние видные литераторы – Пушкин, Жуковский, Гоголь, Соллогуб, Одоевский и другие.

Таким образом, стремление Лермонтова попасть в высший круг общества вполне понятно и объяснимо. Понятно также и упорство этого гордого человека, которому был оказан не совсем радушный прием.

Такой прием озлобил поэта; и в своих письмах он нередко с раздражением говорит о своем положении: «Преглупое состояние человека то, – пишет он в 1832 году, – когда он должен занимать себя, чтобы жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутом!.. Как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей… Одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме NN, где просидев четыре часа, я не сказал ни одного путного слова; – У меня нет ключа от их умов – быть может, слава Богу!» «Видел я образчики здешнего общества, – дам очень любезных, молодых людей весьма воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и без затей, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили в нем всякое различие между деревьями»…

Таких заметок много, и все он показывают нам, что поэт вполне сознательно относился к тому миражу, который привлекал его своим внешним блеском. Лермонтов в данном случае не составлял исключения; большинство наших писателей из дворян не щадило того круга общества, в котором вращалось. Вспомним хотя бы графа Соллогуба и князя Одоевского: и они, аристократы до мозга костей, любили говорить о недостатках своего сословия, а тем более не имел причин молчать о них Лермонтов, который с этим кругом находился часто в открытой распре. Враждуя с ним, поэт был резок в своих выражениях; жаль только, что, обнажая его недостатки, он не подметил тех своих

недостатков, которые были развиты в нем замашками этого общества.

Вредное влияние светского круга сказалось прежде всего в том, что некоторые из неприятных черт в характере Лермонтова – его вызывающая гордость, надменность и порой неискренность – нашли себе удобное поприще. В особенности эти черты характера заметны в сердечных историях, которых было немало. Влюбчивость Лермонтова при его гордыне ставила его нередко в натянутое и неестественное положение в отношении к женской половине салонов и к ее поклонникам. Женщины портили Лермонтову характер. Поэт или сбрасывал с себя маску и своею резкостью напрашивался на дуэли и неприятности, или рисовался своим презрением и горделивым отношением к окружающим людям.

Светское общество держало Лермонтова постоянно настороже, тем более что он старался завоевать себе в нем видное положение, не имея на это «признанных» прав. Презрительная холодность и насмешки служили ему часто оружием в борьбе с людьми, и его без того враждебное к ним отношение обострялось.

Ни холодность, ни насмешки не могут вселить мира в человеческую душу, и тот кажущийся покой самодовольства, какой они дают иногда, проходит очень быстро и только дразнит человека. А в любви и душевном покое Лермонтов нуждался больше, чем в чем-либо. Общество, в котором теперь жил поэт, не давало взойти в его сердце семенам любви. Эти семена глохли под вредным влиянием обиженного самолюбия, постоянного дразнения нервов, желчности и того «раздражения пленной мысли», о котором поэт говорил в одном из своих стихотворений.

Мысль Лермонтова была тогда, действительно, в плену, несмотря на свою глубину и силу; и тюрьмой для нее был тот круг, в котором поэт вращался. Круг отличался своею замкнутостью; он неохотно приходил в соприкосновение с другими слоями общества, и за некоторыми исключениями это был довольно косный круг в своих духовных и общественных интересах.

И Лермонтов прошел мимо целого молодого поколения, не заметив и не разгадав его.

Мы имеем сведения, что наш поэт беседовал с Белинским, проказничал в кабинете Краевского и читал свои стихи в кругу Аксаковых. По-видимому, он был знаком с идейной молодежью своего времени, но это знакомство было самое мимолетное. Доказательством может служить знаменитая «Дума», которую Лермонтов никогда бы не написал, если бы поближе присмотрелся к своему поколению и не судил о нем по узкому

только, ему хорошо знакомому, кругу.

Поэт избежал бы многих мучений, если бы он вовремя попал в молодой кружок любителей и служителей искусства; он мог попасть в него еще в Москве, когда был в университете, но тогда, как мы знаем, он его чуждался. Затем он, вторично, мог столкнуться с этой идейной молодежью в Петербурге, и мы имеем право предположить, что именно светская жизнь помешала этому сближению.

Лермонтов, при всей жажде деятельности, при бесспорно гуманных стремлениях, оставался одиноким и не примкнул к течению молодой русской мысли, убежденно трудившейся над выработкой и осуществлением того же идеала, о котором смутно мечтал наш поэт. Он шел один по своему пути, один пытался решить трудную задачу, боролся долго и упорно, без дружеской помощи и дружеского влияния.

Литературная деятельность до 1837 года

I

В Петербурге жизнь Лермонтова текла весело и шумно. Многие из житейских вопросов, над которыми так упорно трудился его юношеский ум, теперь предстали перед ним в их реальной наготе, без романтического тумана, без преувеличения в сторону идеала, но и без пессимистического искажения. Теперь поэт имел друзей, судя по долговременной прочности их отношений; бывал часто влюблен и пользовался взаимностью и, как можно видеть по веселым и вольным стихам, вел жизнь рассеянную и много проказничал.

Лермонтов, кроме того, стал теперь более уверен в себе. Успех и признание его таланта, хотя бы со стороны пока лишь узкого кружка читателей и слушателей, подняли в нем сознание собственной силы.

Литературное развитие поэта шло, однако, за это время очень медленно. Если принять во внимание, как богаты мыслями и чувствами те законченные и недоконченные темы, над которыми работал Лермонтов в период от 1830 по 1832 год, то крупные произведения его петербургской жизни до 1837 года покажутся не особенно богатыми по содержанию. В первые четыре года его жизни в Петербурге, не считая некоторых мелких художественных стихотворений[23], Лермонтовым были написаны: поэмы «Хаджи-Абрек», «Сашка», «Боярин Орша», драмы «Маскарад» и «Два брата»; кроме того, несколько юмористических поэм («Петергофский праздник», «Уланша», «Госпиталь», «Монго» и «Казначейша»[24]) и первый набросок «Героя нашего времени» – «Княгиня Лиговская». Из всех этих произведений только в «Маскараде» и в повести «Княгиня Лиговская» заметны попытки автора подвергнуть старые больные вопросы новому и более подробному пересмотру. Что же касается других созданий, то они – повторение прежних мотивов в новой форме.

«Хаджи-Абрек» – кавказская легенда, кровавый гимн мести, блестящий стилистический опыт, но не более.

«Сашка» – поэма в легком стиле, но в стихах довольно тяжелых – произведение неоконченное и, вдобавок, растянутое, но интересное по реализму письма, по сочетанию эпоса житейской прозы с искренней личной лирикой, которая часто прорывается наружу и диктует поэту очень сердечные строфы.

Внешняя форма «Сашки» заимствована, несомненно, у «Дон Жуана» Байрона. Сатирическая поэма Байрона была житейской реальной картиной, которую поэт противопоставил своим прежним легендарным и чисто субъективным поэмам, – как

протест трезвого рассудка против поэтической экзальтации. Вот почему в «Дон Жуане» преданы осмеянию почти все те героические душевные порывы, которыми Байрон так щеголял раньше. Любовь, жажда славы, туманное стремление к великой цели, наконец, поиски приключений, которые лорд так любил, – все выворочено в «Дон Жуане» наизнанку или изображено так, как это обыкновенно случается в жизни, без романтических костюмов, без театральных румян и белил. Естественно, что в поэме отведено немало места и житейскому цинизму, который обрисован как характерная черта нашей жизни, как ядовитая насмешка, какой сама жизнь может ответить на беспредметные и слишком идеальные порывы отчаянных романтиков. Вот почему такой цинизм нас не оскорбляет. За ним остается значение не случайной прихоти автора, но осмысленного житейского вывода, сделанного очень наблюдательным человеком. Это цинизм философский, цинизм Боккаччо и Альфреда Мюссе.

Поэма «Сашка», несмотря на свое кровное родство с мотивами «Дон Жуана», сохранила с ним лишь слабое родство по духу.

Лермонтов, приступая к созданию этой поэмы, имел, кажется, в виду написать в стихах биографию Полежаева, трагическая судьба которого была тогда в памяти у весьма многих. Поэт не исполнил своего намерения, и кроме двух-трех строф, посвященных несчастному Полежаеву, – строф, полных самой задушевной лирики[25], – он в своей поэме рассказал очень реально, с большим юмором историю любовных похождений простого столичного кутилы.

«Сашка», как и вдохновивший ее «Дон Жуан», определенной фабулы не имеет. В поэме царит полный лирический беспорядок. Трудно сказать, что в ней главное, – рассказ ли о разгульной жизни самого Сашки или отступления от этого рассказа. Хотя Лермонтов и желал, как он сам признавался, от души посмеяться и столь обычный ему печальный и серьезный сюжет заменить игривым, но выдержать этот игривый тон ему не удалось. Рядом со строфами, в которых описаны очень живо всевозможные проявления любовной резвости и пылкости, стоят совсем спокойные серьезные строфы, в которых развертывается художественная картина старой дворянской жизни в усадьбе и в столице, семейные сцены, разыгравшиеся в старом дворянском доме, – сцены жестокие при всей их внешней игривости. Иногда автор упускает из виду, что он должен смеяться, и на целой странице говорит о французской революции и о Наполеоне. Иногда он забывает, что герой его поэмы – Сашка, и ему кажется, что он пишет свой собственный дневник, и тогда между

циничными строфами мы вдруг читаем такие строки:

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный
И в нем терялся мыслию послушной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы ж на нем от зноя все увянут…

Конечно, не к Сашке относились эти и подобные им слова, в которых было столько грусти.

Пусть эта вольная поэма в общем говорит о слишком разнузданной фантазии поэта – но очевидно, что его «веселье» тех годов было отнюдь не таким наивным и непринужденным, каким оно может показаться с первого взгляда.

Что касается вольных стихов, написанных Лермонтовым в юнкерской школе, то их веселье, действительно, свободно от всякой примеси грусти; оно – веселье пьяное и нескромное.

Говоря об этих вольных стихах Лермонтова – из которых только одна «Казначейша» как картинка провинциальных нравов имеет литературную ценность, – было бы несправедливо обвинять автора за то, что он отдался новым ощущениям со всею пылкостью своего темперамента. Соприкосновение поэта с этой «пьяной» стороной жизни принесло даже некоторую пользу в деле примирения его с действительностью. Грязь к Лермонтову не прилипла, а знание жизни расширилось; укрепилась также и уверенность в необходимости найти и в жизни, и в творчестве нечто среднее между прежними розовыми мечтами и грязной тиной.

Шумная юнкерская жизнь была оргией, которая нарушила на несколько мгновений обычное течение мыслей Лермонтова, взяла у него немало сил и времени, окупив эту потерю ценой сравнительно невысокой. Поэт был еще очень молод, чтобы не увлечься самому или быть в силах из пошлости и грязи вылепить художественное произведение. Он слишком субъективно отнесся к этим сторонам жизни и сам был в них скорее участником, чем наблюдателем.

II

Прежнего Лермонтова, каким мы знавали его до петербургской жизни, мы встречаем снова в поэме «Боярин Орша». Но эта поэма не дает почти ничего нового для характеристики самого поэта. Задумана она была еще в юношеские годы, как видно по отрывку «Исповедь» 1830 года, из которого много стихов было взято Лермонтовым для «Орши». Поэма была затем дополнена и отделана в стиле Байрона, по крайней мере, во внешней сценировке; наконец, более удачные места были вновь перенесены автором в позднейшую из его поэм, в «Мцыри».

Фабула «Боярина Орши», несмотря на внешний колорит русской народной жизни, не содержит в себе ничего русского. Старый боярин, его дочь, его советник, описание замка и сцены битвы – все напоминает то «Абидосскую Невесту», то «Гяура».

С героем повести, с Арсением, мы уже давно знакомы. Мы встречались с ним еще в «Исторической повести», когда он носил имя Вадима. Правда, тогда герой был безобразен, а теперь он красив; тогда он взаимностью не пользовался, а теперь он счастливый любовник; но как тогда, так и теперь – он раб, крепостной человек жестокого господина, неизвестно чей сын, с детства воспитанный в монастырской ограде.

Психология раба всегда интересовала Лермонтова, и прежде чем подробно развить ее в «Мцыри», он в «Орше» ее наметил. Вся исповедь Арсения перед судом – восторженное славословие свободы чувств, мыслей и поступков; гимн свободе, на которую имеет право человек, полный молодости и сил:

Я молод, молод – знал ли ты,
Что значит молодость, мечты?
Или не знал? Или забыл,
Как ненавидел и любил?
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж, и где порой
В глубокой трещине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?..

Поближе к природе и подальше от людей – вот девиз Арсения. Свободная любовь – его счастье. Молодая жизнь – его право. Таковы его мечты, которым в действительности соответствуют монастырская келья, несчастная неудовлетворенная любовь и даром загубленная молодость. Ряд контрастов, в которые снова облекается старый вопрос о разладе идеалов и жизни, – вопрос, не покидавший Лермонтова, как видим, даже в самые разгульные и веселые годы его молодости.

III

Эти годы (1832–1837) при всей их буйной веселости были для Лермонтова все-таки годами душевной усталости.

Усталость ума и воображения – результат недавней, слишком напряженной деятельности – заставляли поэта повторяться и не позволяли новым чувствам и мыслям овладеть им быстро и решительно. Лермонтов нуждался в новом, внешнем или внутреннем, поводе к творчеству, так как старые пружины ослабевали.

Поэт ощущал тягость этого переходного состояния; он был очень недоволен собой и в письмах часто жаловался на самого себя; но вместе с недовольством в нем просыпалось по временам сознание своей силы, и старые мечты о великом призвании начинали вновь волновать его. Разгульная и пустая жизнь становилась в резкое противоречие с минутами уединения.

IV

Это тяжелое состояние духа отразилось на стихах поэта; в них очень много минорных мотивов, и, сопоставляя эти печальные стихи с одновременными им поэмами и стихами в легком стиле, можно подумать, что поэт или взводил на себя напраслину в стихах грустных, или был неискренен в стихах веселых. Но он был искренен и в своем разгуле, и в своей меланхолии; проза и пошлость жизни перемешивались с высокими думами, как эпические строфы «Сашки» с лирическими вставками. Это был новый фазис в борьбе юношеского романтизма с действительностью, жалобный вопль обманутых, но очень неопределенных мечтаний, – и вопль от души.

Припомним несколько интимных признаний поэта за этот первый период его петербургской жизни (1832–1837). Вот, например, стихотворение, написанное в 1833 году:

Когда надежде недоступный,
Не смея плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнил страданьем искупить;
……..
Тогда молитвой безрассудной
Я долго небу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь?» – он вещал;
Ты низко пал, но я ль виновен?
Смири страстей своих порыв;
Будь как другие хладнокровен,
Будь как другие терпелив.
Твое блаженство было ложно;
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй.
Когда тебя во имя Бога
Кто пригласит на пир простой,
Страшися мирного порога
Коснуться грешною ногой,
Смотреть привыкни равнодушно…»

[1833]

Если верить этому стихотворению, то для людей особенно чутких хладнокровие и бесстрастие – единственные лекарства против сердечных мучений.

Лермонтов причислял себя именно к таким особенно восприимчивым натурам, и в поэме «Сашка», относя свои слова больше к самому себе, чем к своему герою, он писал:

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
Они летали над его главой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и страсти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
Достойной жертвы, – и в пустыне света
На дружный зов не встретил он ответа.

О, если б мог он, как бесплотный дух,
В вечерний час сливаться с облаками,
Склонять к волнам кипучим жадный слух,
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!
В глуши степей дышать со всей природой
Одним дыханьем, жить ее свободой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить свет!..

Кроме последнего, ничем не мотивированного кровожадного желания – сколько грусти в этом воззвании к природе, в этом стремлении бежать от людей в пустыню!

В той же игривой поэме «Сашка» есть несколько строф, в которых еще глубже и поэтичнее выразилось это томление поэта:

Блажен, кто верит счастью и любви,
Блажен, кто верит небу и пророкам, —
Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои

Умел смирить пред гордою толпою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студеный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремучей прыгает сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднею порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали, и мрак между ветвями
Отвсюду смотрит черными очами!

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златыя облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному Диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звонким, и вперед землею
Упругой был кидаем с быстротою.

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина…

Душевное состояние, отразившееся в этом отрывке, нам хорошо знакомо из прежних стихотворений Лермонтова. Это все то же грустное раздумье над задачей о приноровлении своих необузданных страстей и мечтаний к условиям прозаической действительности, – задачей сложной и допускающей теперь, по мнению поэта, только два решения: либо полное отчуждение,

либо месть или смех, т. е. презрительное отношение к той самой среде, которая для поэта должна быть предметом любви и самоотверженных страданий. Лермонтов говорил в своей поэме:

Бывало…
Я прежде много плакал и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как тучка над степями;
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу, вместо слез, бурь тех
Один лишь отзыв – *звучный, горький смех*…
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни – и блещут, но не живы!

…Без волнений
Я выпил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В моем лице ни страха, ни печали
И говорили хладно: он привык.
И с той поры я облил свой язык
Тем самым ядом, и по праву *мести*
Стал унижать толпу под видом лести…

Неудивительно, что, находясь под властью таких дум, сравнивая внешнюю свою жизнь с внутренним ее содержанием, Лермонтов писал («Парус»):

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

[1832]

Такое элегическое настроение проходило и сменялось более желчным, и тогда Лермонтову была особенно по душе мелодия Байрона:

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются.
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она;
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал – теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

[1836]

Но поэт и своими собственными словами мог сказать то же самое. В 1837 году он говорил:

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать, что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

[1837]

Это стихотворение, столь искренне и просто написанное, можно признать за окончательный вывод из всех

предшествующих размышлений. Вывод этот – простой вопрос измученного человека: к чему же мне дана жизнь? – и ожидание смерти как вестника избавления. Но как умереть? Умереть, как умирал сраженный гладиатор, – жалким рабом, минутной забавой бесчувственной толпы, вспоминая некогда свободную и счастливую жизнь? («Умирающий гладиатор», 1836), или как тот рыцарь на речном дне, которого не могли расшевелить страстные лобзания мечты и ласки видений («Русалка», 1836)? Поэт готов умереть: все в нем перекипело, и утомление перешло в спокойствие:

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла…

[1837]

Пора, действительно, пришла, но не в том смысле, как понимал ее поэт; не замедлил представиться и случай, который напомнил поэту вновь о его высоком призвании и вызвал в нем новый приток творческих сил, несмотря на то, что он сам, в вышеприведенном стихотворении, говорил о своей душе:

Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

Но увяла ли она? Не напоминало ли иногда вдохновение поэта ту ветку Палестины, которая вдали от всех земных страстей, заботой тайною хранима, среди мира и отрады, стояла на страже святыни? В душе Лермонтова кипели страсти, ум его был окутан тревожными думами, но бывали же и в эти годы такие минуты, когда хотелось склониться перед ветвью мира.

V

В общем, однако, настроение Лермонтова было мрачно, и, что всего хуже, душевные сумерки настраивали его апатично. Боевое отношение к людям заменялось индифферентным и усталым: работа мысли на время затихала.

Отголосок этого настроения сохранился в двух драмах, написанных Лермонтовым в эти годы.

Одна драма «Два брата» (1836) возникла на почве чисто личных сердечных волнений и в общем своем развитии – мелодраматическая любовная интрига. Психический мир центральной фигуры – некоего Александра Радина – придает, однако, этой мелодраме большое автобиографическое значение. В Радине не осталось и тени мечтательности и мягкосердечия его двух старших братьев – Волина и Арбенина. Сердечное отношение к миру заменено в нем отношением рассудочным. Радин старался подавить в своей душе всякую мечтательность и восприимчивость, выработать возможное самообладание и силу сопротивления всем житейским невзгодам, но, не переставая любить жизнь и ее волнения, не мог сделать ей необходимой уступки и предпочел отойти и стать в стороне от нее. Он, закаленный и готовый к борьбе, в самую борьбу не вмешался. Он вытравил в себе и семейные чувства, и чувство дружбы, чтобы жить одиноко, страдая от своей сердечной раны и мстя за нее людям. Он – холодный человек, безучастный ко всему, кроме своего эгоизма… – Не таким он родился, но таким сделали его люди:

«Все читали на моем лице, – говорит он, – какие-то признаки дурных свойств, которых не было… но их предполагали – и они родились. Я был скромен, меня бранили за лукавство – я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло – никто меня не ласкал – все оскорбляли – я стал злопамятен. Я был угрюм – брат весел и открытен… я чувствовал себя выше его – меня ставили ниже – я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир – меня никто не любил – и я выучился ненавидеть… Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с судьбой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину сердца… они там и умерли; я стал честолюбив, служил долго… меня обходили; я пустился в большой свет, сделался искусен в науке жизни – а видел, как другие без искусства счастливы; в груди моей возникло отчаянье, не то, которое лечат дулом пистолета, но то отчаянье, которому нет лекарства ни в здешней, ни в будущей жизни; наконец я сделал последнее усилие – я решился узнать

хоть раз, что значит быть любимым…»

Но в любви Радин был несчастлив, и эта неудача окончательно его озлобила против всех.

Мотив озлобления, положим, недостаточно глубокий, но он лишь предлог; им только прикрыта настоящая трагедия сердца Радина – то раздражение и вместе с тем та апатия, которую минутами разделял с ним и сам автор.

Эта трагедия станет нам вполне понятна, когда мы вчитаемся в драму «Маскарад» (1834–1835), написанную несколько раньше «Двух братьев».

По выполнению «Маскарад» стоит бесспорно выше всех предшествующих опытов в этом роде[26]: нет ни растянутости в ходе действия, ни того обилия риторики, которая вредила юношеским драмам Лермонтова. Все лица, и главные, и второстепенные, изображены приблизительно с одинаковой рельефностью, и тем спасена цельность впечатления, какое эта драма на нас производит. Кроме того, сама форма стиха – не без подражания Грибоедову, особенно в кратких репликах и сентенциях, – придает диалогу большую живость и избавляет действующих лиц от излишних разговоров. Все эти преимущества «Маскарада» дали драме возможность стать на подмостки (в 50-х годах), хотя особым успехом она на сцене никогда не пользовалась.

Грязный мир сплетен, прокутившихся игроков, бесчестных шулеров, интригующих женщин – вот тот мир, в котором вращаются действующие лица драмы. Главное лицо Арбенин – игрок и плут, но только образумившийся и нашедший в семейном счастье еще нетронутый уголок, где он может прожить остаток дней спокойно и внешним образом честно. Рядом с ним другое главное лицо драмы – его жена, женщина нежная, любящая и кроткая. Драматическое положение, как видим, несколько напоминает «Демона», в особенности если подслушать интимные беседы супругов:

Ты отдалася мне – и любишь, верю я,
Но безотчетно, чувствами играя,
И резвясь, как дитя.
Но я люблю иначе: я всё видел,
Всё перечувствовал, всё понял, всё узнал,
Любил я часто, чаще ненавидел,
И более всего страдал!
Сначала всё хотел, потом всё презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.

На жизни я своей узнал печать проклятья,
И холодно закрыл объятья
Для чувств и счастия земли…
Так годы многие прошли.
О днях, отравленных волненьем
Порочной юности моей,
С каким глубоким отвращеньем
Я мыслю на груди твоей!
Так, прежде я тебе цены не знал, несчастный;
Но скоро черствая кора
С моей души слетела, мир прекрасный
Моим глазам открылся не напрасно,
И я воскрес для жизни и добра.

Мрачные и грязные стороны жизни, с которыми автор недавно столкнулся, этот мир игроков и кутил, нашел себе яркое отражение в его новом произведении. «Маскарад», в обрисовке *второстепенных* героев, произведение, действительно, «реальное», без всякого преувеличения списанное с натуры. Что же касается главных лиц, то они все-таки резонеры. Желание решить известную нравственную задачу, а не желание изобразить простое житейское явление, руководило автором, когда он взялся за эту тему.

Драматическая интрига слегка напоминает завязку «Отелло». Та же печальная случайность, которая подает мужу повод подозревать жену в неверности, тогда как на самом деле никто так искренно не любит его, как эта женщина. Тот же злодей, клеветник, под личиною дружбы раздувающий в своем приятеле чувство ревности; наконец, тот же финал, с легкой вариацией. Арбенин убивает жену, не веря ее клятвам, и когда убеждается в роковой ошибке, то сходит с ума.

Прошлое Арбенина нам неизвестно, как и вообще прошлое всех его родственников. О нем можно только догадываться.

Но между Арбениным и героями прежних поэм Лермонтова есть существенная разница. Прежние герои отличались в молодости способностью увлекаться: Волин увлекался своими идеальными мечтами, Радин – любовью, Измаил – патриотизмом, Вадим – местью. У Арбенина не было никакого увлечения. Единственные чувства, о которых он вспоминает с сожалением, это – былой разгул и риск своей честью… Он в юности не имел святыни, даже не знал чистой любви, которая всегда согревала юные дни его старших братьев.

Бог справедлив! и я теперь едва ли

Не осужден нести печали
За все грехи минувших дней.
Бывало, так меня чужие жены ждали,
Теперь я жду жены своей…
В кругу обманщиц милых я напрасно
И глупо юность погубил;
Любим был часто пламенно и страстно,
И ни одну из них я не любил.
Романа не начав, я знал уже развязку,
И для других сердец твердил
Слова любви, как няня сказку.
И тяжко стало мне, и скучно жить!
И кто-то подал мне тогда совет лукавый
Жениться… чтоб иметь святое право
Уж ровно никого на свете не любить.
И я нашел жену, покорное созданье,
Она была прекрасна и нежна,
Как агнец Божий на закланье,
Мной к алтарю приведена…
И вдруг во мне забытый звук проснулся,
Я в душу мертвую свою
Взглянул… и увидал, что я ее люблю;
И стыдно молвить… ужаснулся!..
Опять мечты, опять любовь
В пустой груди бушуют на просторе;
Изломанный челнок – я снова брошен в море…

И Арбенин полюбил свою жену со страстью дикого человека. Он, действительно, дикий человек, но не природный дикарь, а дикарь цивилизованный, который способен на все гадости не по наивности, а по равнодушию или презрению ко всему, что его окружает.

Арбенин – игрок и кутила, но, конечно, не низкого пошиба. Он «зверь» и настоящий «черт», как его аттестует один из его приятелей по игре. Он изверг, расчетливый и холодный мучитель, с чем и сам Арбенин согласен:

Ни в чем и никому я не был в жизнь обязан,
И если я кому платил добром,
То всё не потому, что был к нему привязан;
А – просто – видел пользу в том.

Итак, перед нами какая-то загадочная личность, стоящая,

впрочем, не одиноко в ряду других знакомых нам типов. Тип Арбенина логически выведен из тех посылок, какие даны поэтом в его прежних поэмах, повестях и драмах. Лермонтов постепенно разочаровывал своих героев во всем: Волина – в семейных чувствах, Арбенина – в семье и дружбе, Радина – в семье, дружбе и любви; у Вадима он отнял свободу, у Измаила – родину и веру. И основной тип, с которого списаны портреты этих разочарованных и обманутых людей, должен был наконец дойти до тех степеней отрицания всех чувств в мире, до каких дошел Арбенин, герой «Маскарада». Он должен был выродиться в самого страшного и индифферентного эгоиста.

Поставленный вне всяких духовных связей с обществом, человек с бурными страстями, Арбенин все же стремился хоть к чему-нибудь приложить тот запас сил физических и духовных, какими его одарила природа.

> …я рожден
> С душой кипучею, как лава,
> Покуда не растопится, тверда
> Она, как камень… но плоха забава
> С ее потоком встретиться!..

Он искал какого-нибудь поля деятельности, и он нашел его в игре, т. е. в постоянном риске, который щекотал его нервы. Волнение ему необходимо, и ему все равно, где и при каких условиях он может найти его. Но прошло и это время:

> …те дни блаженные прошли.
> Я вижу всё насквозь… все тонкости их знаю,
> И вот зачем я нынче не играю.

Эти слова Арбенина относились не только к его игре.

Такое состояние душевного «безочарования» почти не поддается анализу – так оно туманно.

Как в «Демоне» Лермонтов создал символический тип, так и в «Маскараде» он незаметно для самого себя перешел за границы действительного мира и, вместо живого человека, дал нам снова какой-то полуфантастический образ; одел своего Демона в модный фрак и заменил сказочную обстановку игорным домом и балом.

Желания Арбенина столь же туманны, как сердечная тревога Демона. Злоба приводит его к преступлению; дружба и любовь сведены либо к расчету, либо к праздной забаве. Он испытал «все

сладости порока и злодейства», и не осталось ни одного чувства, за которое мог бы ухватиться, которое могло бы убедить его, что еще стоит жить на свете. Как видим, настроение совсем сходное с настроением Демона до его встречи с Тамарой.

У Арбенина есть своя Тамара: его, как Демона, обновила любовь, такая же страстная, хотя более глубокая; любовь эта гибельна, как и любовь отверженного духа.

В этой любви заключено все эгоистическое счастие Арбенина. С ее исчезновением исчезает и последняя нить, привязывавшая этого человека к жизни.

Да и «что такое жизнь»?

> жизнь вещь пустая.
> Покуда в сердце быстро льется кровь,
> Всё в мире нам и радость и отрада.
> Пройдут года желаний и страстей,
> И всё вокруг темней, темней!
> Что жизнь? давно известная шарада
> Для упражнения детей;
> Где первое – рожденье! где второе —
> Ужасный ряд забот и муки тайных ран,
> Где смерть – последнее, а целое – обман!

Лермонтов, отнимая у своих героев одно за другим все чувства, за которые душа цепляется в любви к жизни, отнял и у Арбенина последнюю приманку существования; он отнял у него его семейное счастье, которое погибло в страшной катастрофе.

В решении великого вопроса о примирении идеалов с жизнью поэт возвращался к тому, с чего начал. Мы видели, как он, не будучи в силах помирить свои желания и мечты с действительностью, делал часто слишком мрачный и грустный вывод из малого житейского опыта. Мы встречались уже с таким пессимистическим выводом в детских и юношеских произведениях Лермонтова. В лице Арбенина, героя «Маскарада», этот вывод является теперь перед нами как итог целого нового периода жизни поэта в Петербурге. Выслушав исповедь Арбенина, злого, отчужденного от всех и эгоистичного человека, мы можем сказать, что целые четыре года жизни (1832–1837) прошли для Лермонтова бесплодно и не дали его чувствам и мыслям никакого нового направления.

Этическая загадка жизни оставалась загадкой, и поэт опять не решил ее, а разрубил. Мучимый все теми же вопросами – после тщетной попытки заглушить их шумом молодого разгула и светской болтовни – Лермонтов уставал. Когда он пожелал

воплотить в одном типе все свои душевные тревоги, он создал Арбенина, житейская философия которого свелась к отсутствию всякого хотения. Герой был одинок, мрачен, не имел никаких привязанностей, кроме единой – своей любви к жене; он был чужд всем вопросам жизни, был совсем лишний человек без желаний в настоящем, с одной лишь памятью о греховном прошлом.

VI

Весь запас душевных движений героя был исчерпан, и нужно было заставить звучать новую струну его сердца, чтобы спасти его речи и поступки от бесплодных повторений и скучного однообразия. Лермонтов сознавал это, но вместе с тем ощущал, что в нем нет того нового чувства, которое могло бы помочь ему сказать новое слово.

Все гневные чувства были уже изведаны – и злоба, и чувство мести, и презрение, и ощущение полного одиночества.

Слова гнева и печали ожидали своей поправки в словах любви. Но чтобы возвыситься до этой любви, поэту нужно было вновь перерешить все вопросы, трудные и неотвязные, которые окутали его душу таким мраком.

И Лермонтов принялся за их пересмотр.

Неожиданная смерть прервала эту работу в самом начале.

Начался же этот пересмотр под свежим впечатлением кончины Пушкина.

Последние годы

I

Стихотворение, написанное Лермонтовым на смерть Пушкина, было такою же неожиданностью, как и несчастие, постигшее Россию 29 января 1837 года.

До сих пор во всех своих произведениях Лермонтов был почти исключительно занят самим собою, своим внутренним миром. Смерть Пушкина нарушила обычное течение его дум, и он отозвался на народное горе с такой искренностью, что даже хорошо знавшие его люди не хотели верить правдивой силе его гнева и не могли понять его раздражения. Нервное напряжение поэта было в эти печальные дни так сильно, что он слег в постель, а как сильно было его негодование, знает каждый, кто хотя один раз прочел знаменитое стихотворение. Припомним его последние строфы, в которых гнев Лермонтова достигает высшего напряжения.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд, он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

[1837][27]

Лермонтов имел немало причин так печалиться и, в особенности, так сердиться. Стихи «На смерть Пушкина», действительно, скорее песня гнева, чем печали.

Пушкин умер жертвой великосветских интриг и обиженного самолюбия, жертвой того самого «света», который так привлекал Лермонтова и вместе с тем так часто сердил его своей

холодностью. Лермонтов разделял дворянские взгляды Пушкина и не любил то новое, пришлое дворянство, которое сначала смотрело свысока на гениального «сочинителя», а затем подвело его своими сплетнями под выстрел.

В негодовании Лермонтова сказалось также и чувство патриота – в поэте всегда очень живое.

Но была и другая, более глубокая причина, побудившая Лермонтова так энергично выступить со своим словом в защиту памяти Пушкина.

Гибель Пушкина наводила поэта на один из наиболее трудных нравственных вопросов. В самом деле, подводя итог жизни и трудам Пушкина, Лермонтов в первый раз столкнулся лицом к лицу с роковым вопросом о счетах гения и толпы.

Мысль об общественном служении поэта давно его тревожила, но всегда в форме отвлеченного рассуждения. Теперь же перед его глазами был осязаемый факт – гибель поэта и непонимание этого события со стороны толпы простонародной и частью интеллигентной. Кончина Пушкина напомнила Лермонтову его ранние грезы о собственном призвании и смерти.

Дуэль получила в его глазах особую санкцию, и Лермонтов стал на нее напрашиваться.

II

В литературной критике высказывалось иногда мнение, что Лермонтов в вопросе о взаимоотношении поэта и общества пошел дальше Пушкина и понял социальную роль художника шире, чем она понималось прежде. Это, в известном смысле, верно.

Русская жизнь 30-х годов помогла в данном случае Лермонтову; она, независимо от него, выдвинула вопрос об общественном служении художника и обязала поэта с ним считаться; смерть Пушкина обострила для Лермонтова этот вопрос, и поэт стал упорно над ним думать. Его предсмертное стихотворение, «Пророк», было написано на эту же тему.

Пушкин, как известно, под конец своей жизни очень резко разграничил служение искусству от служения общественному интересу дня. Чем дальше художник уходил в своей поэзии от современности, тем ближе подходил к ней как публицист и издатель журнала. Та толпа, которую он, быть может, презирал как поэт, становилась предметом его забот как журналиста и историка. Пушкин имел право смотреть на себя как на общественного деятеля и искал этой деятельности.

Лермонтов в этом отношении стоял в условиях менее благоприятных, чем Пушкин. Он не имел ни положения, ни славы Пушкина. Служба не позволяла ему открыто и публично выступать со своим мнением. Поэт чуждался и публики, и литературных кружков: он писал для немногих и несколько побаивался гласности. Но чем ближе он становился к современности, тем настойчивее являлось желание сказать о ней свое слово. В распоряжении Лермонтова был исключительно его литературный талант, так как он не имел склонности к другим отраслям словесной деятельности. В какую сторону должно было направить этот талант теперь, когда узкие рамки личной жизни становились, по-видимому, для него тесны?

В последние годы жизни Лермонтов дал своему таланту полный ход, и среди лирических стихотворений, молитв, народных мотивов, исторических картин, патриотических од и романтических баллад стихи с ясной общественной тенденцией встречаются нередко.

Среди них самые яркие – стихотворение «На смерть Пушкина» и знаменитая «Дума».

«Дума» – поразительное произведение по силе и грусти. Припомним ее:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

[1838]

Это стихотворение как нельзя лучше отражает малую подготовленность Лермонтова к оценке современного ему общества: «Дума» – огульное и беспощадное осуждение целого поколения молодежи, которая как раз в эти годы (1830–1840) всеми своими стремлениями опровергала обличителя. Целое поколение названо не имеющим будущности, бездеятельным, равнодушным ко всему, даже к поэзии, наконец, промотавшимся. Трудно себе представить большее преувеличение или, вернее, непонимание того, что вокруг готовилось и совершалось. Все люди «сороковых годов» были беспощадно унижены и, конечно, лишь потому, что поэт не подозревал их существования.

Первый опыт общественной сатиры вышел, таким образом, неудачен – критика свелась к голословному осуждению. Психологическая причина такой ошибки понятна. Поэт знал хорошо только один уголок жизни, один круг молодежи и поспешно перенес его слабые стороны на все молодое поколение своего времени. Он принял часть за целое. Кроме того, Лермонтов сознавал, что мириться с жизнью ему хорошо известного круга он не может, а указать этим людям исход из такого жалкого положения он был не в состоянии. Оставалось осыпать добрых знакомых укорами и похоронить себя вместе с ними.

Такое несложное решение задачи не могло, конечно, удовлетворить поэта. В стихотворении «Не верь себе», написанном год спустя после «Думы», творческое вдохновение – это единственное оружие поэта в его борьбе с жизнью – признается за раздражение «пленной», т. е. в себе самой замкнутой, бессильной мысли:

В нем призрака небес напрасно не ищи:
– То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

[1839]

Труд и мелкая житейская работа должны заступить место пророческих песен и обличения. Ведь размеренный стих и ледяное слово не передадут ни силы печали, ни силы страсти

поэта. Поэт должен стыдиться выставлять напоказ свои чувства и не унижать себя перед «простодушной» чернью, но не потому, что эта чернь недостойна слушать поэта, а напротив того, потому, что она в общей своей сложности и страдает, и чувствует не менее, если не глубже, чем сам поэт —

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным…

[1839]

Толпа и поэт уравнены, таким образом, в их положениях; они – две одинаковые силы, противопоставленные друг другу. Толпа, много выстрадавшая, имеет право осмеять поэта за то, что он выставляет напоказ свои личные чувства; поэт же унижать себя своею песнью не должен и может гордо хранить про себя свое вдохновение. Вопрос, как видим, получил новое решение, но очень неясное.

Что если личные чувства поэта совпадут с чувствами толпы и его «печаль» и «страсть» примут характер общий, а не личный? Неужели и тогда толпа и поэт могут пройти друг мимо друга, не обменявшись речью? Лермонтов чувствовал возможность такого совпадения и в стихотворении «Поэт» жаловался на то, что духовная связь между поэтом и обществом порвана.

Сравнивая поэта с узорчатым кинжалом, который прорвал не одну кольчугу, а теперь, бесславный и безвредный, блещет на стене золотой игрушкой, поэт спрашивал:

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,

Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны…

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

[1839]

Как рельефно выражена в этих стихах мысль об общественной роли поэта и как высоко вознесен идеальный образ пророка-поэта!

Но отдаваться мечте о великом призвании поэта или скорбеть о его унижении не значило найти решение задачи. Когда Лермонтов начинал хладнокровно вдумываться в загадку своей миссии как художника, он вновь терялся в размышлениях.

В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840) сделан новый шаг к решению неотвязного вопроса. Писатель, отвечая на запросы журналиста и читателя, рисует им, как известно, в двух картинах два момента творчества – минуту радостного и свободного вдохновения и момент наплыва тяжелых дум и вдохновения несвободного, вызванного размышлением и навязанного извне. Плоды мгновений восторга —

Когда забот спадает бремя,
……
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой

Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова…
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.

– писатель осуждает на сожжение, как безотчетный бред, достойный смеха. Как в стихотворении «Не верь себе», так и в этих стихах личные мгновенные увлечения поэта сочтены пустяками и обесценены в глазах толпы:

Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет…

Плоды наплыва озлобленных дум и сатирического настроения также должны быть хранимы втайне и не выставляемы напоказ людям. Творчество в эти моменты несвободно —

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце – жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется – и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья…

В таком нервном состоянии художник от анализа собственных чувств переходит вольно и смело к сатире окружающего:

Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:

То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток…

Но зачем петь эти песни перед толпой, когда рискуешь остаться непонятым и даже можешь совершить преступление?

Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать…
Скажите ж мне, о чем писать?

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю…

До сих пор речь шла о том, что поэт имеет право гордо хранить про себя свои личные песни, что, тем не менее, он обязан считаться с нуждами толпы, на страже духовных интересов которой он поставлен, что, наконец, толпа также иногда имеет нравственное право сердиться на поэта за его самомнение. Теперь поднят иной вопрос: в какой степени *нравственно прав* поэт,

взявший на себя тяжкую миссию говорить обществу о его пороках? Не перевесит ли вред таких разоблачений их пользу? Не окажется ли лекарство вреднее самой болезни? – мысль туманная, которую поэт не пояснил и в растерянности, кажется, пояснить не мог.

Чем глубже Лермонтов вникал в загадку, тем с большей грустью смотрел он на свое призвание, и кончил тем, что, не уяснив себе своей общественной роли, вернулся к старым ощущениям: он стал звать поэта из «городов» в «пустыню», разрешая ему лишь торопливо пробираться среди толпы, преследующей его своим глумлением:

С тех пор, как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот, в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

[«Пророк», 1841]

Поэт и толпа вновь противопоставлены друг другу как две силы, не пришедшие ни к какому соглашению.

Мучительно тоскливо было на душе поэта, когда он думал над этим неотвязным вопросом. И он мог в эти минуты припомнить одно стихотворение, в котором он как бы предвкушал все муки такого раздумья и заранее отказывался от всякой общественной роли. В 1837 году он писал:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти. – настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений;
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец,
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! *я им не дорожил.*

[1837]

Сопоставляя все эти стихотворения, объединенные единой мыслью, можно сказать уверенно, что загадка общественной миссии поэта так и осталась для Лермонтова неразрешенной. Он не находил в своей поэзии того удовлетворения, какое находит человек в любиом «деле», его мечты о великом призвании также не находили себе оправдания в его творчестве, и в вопросе о соотношении этого творчества с жизнью поэт не пришел ни к какому примиряющему выводу.

Если бы Лермонтов мог усвоить отвлеченный философский взгляд на роль искусства в жизни, взгляд, который так умиротворял душу всех эстетиков 40-х годов, или если бы он родился несколько позднее, в то время, когда всколыхнувшаяся

общественная жизнь втягивала поэта в свой круговорот, то он, конечно, не страдал бы так от всех этих раздумий и сомнений.

III

После борьбы с трудной задачей в душе Лермонтова оставалось только одно чувство – чувство жалости и презрения к толпе, враждебной всему великому, сильному и вдохновенному, – чувство вполне законное, если на нем не успокаиваться.

Это чувство с юношеских лет в разных видах проскальзывает в стихотворениях Лермонтова. Если его мрачные герои избегают прямого столкновения с толпой, то их гордыня и их отчуждение указывают ясно на рознь, какая существует между ними и людьми, их окружающими…

Словом «толпа» обозначается иногда толпа народная, и тогда – это «камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но несмотря на то сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении…» («Вадим»). Толпа нечто смешное и вместе с тем жалкое… она кровожадна, и никакое высокое чувство ей недоступно… Толпа неблагодарна и легкомысленна; в лучшем смысле она – ребенок, с которым нужно хитрить, если желаешь им править:

Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен;
Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться или с ним равняться;
Не должно мыслей открывать своих,
Иль спрашивать у подданных совета,
И забывать, что лучше гор златых
Иному ласки и слова привета!
Старайся первым быть везде, всегда;
Не забывайся, будь в пирах умерен,
Не трогай суеверий никогда
И сам с толпой умей быть суеверен;
Страшись сначала много успевать,
Страшись народ к победам приучать,
Чтоб в слабости своей он признавался,
Чтоб каждый миг в спасителе нуждался,
Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем
И почитал нуждою – принужденья;

Умей отважно пользоваться всем,
И не проси никак вознагражденья!
Народ ребенок: он не хочет дать,
Не покушайся вырвать, – но украдь!

[«Измаил-Бей»]

Но что же герой или вождь в глазах такой толпы? Понять истинного величия героической души толпа не может; она бежит за своим кумиром, когда он льстит ее самолюбию, но она же готова предать его в минуту опасности, когда не она в нем, а он в ней будет нуждаться.

Эти мысли с большей силой и красотой развил Лермонтов в своем знаменитом стихотворении «Последнее новоселье» (1840).

Образ Наполеона давно волновал фантазию поэта, и это вполне понятно.

Певец сильных героических чувств находил в судьбе императора частичное, но историческое подтверждение своим туманным мечтам о призвании великого человека.

В одном юношеском стихотворении Лермонтова тень Наполеона в ответ на жалостную песнь поэта отвечает весьма решительно:

«Умолкни, о певец! – спеши отсюда прочь, —
С хвалой иль язвою упрека:
Мне всё равно; в могиле вечно ночь.
Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки:
Я презрю песнопенья громки; —
Я выше и похвал, и славы, и людей!..»

[1829]

И Лермонтов, по-видимому, признает правоту такого самомнения, так как он убежден, что Наполеон «в десять лет подвинул нас целым веком вперед»:

Да, тень твою никто не порицает,
Муж рока! Ты с людьми, что над тобою рок;
Кто знал тебя возвесть, лишь тот низвергнуть мог:
Великое ж ничто не изменяет.

[1830]

И этот великий человек угас, всеми покинутый, на одиноком острове! Его смерть трогала сердце Лермонтова больше, чем его

подвиги, так как обстановка этой смерти соответствовала тем мечтам об одинокой кончине, которая грезилась иногда самому поэту:

Пред ним лепечут волны и бегут
И вновь приходят и о скалы бьют;
Как легкие ветрила, облака
Над морем носятся издалека.
И вот глядит неведомая тень
На тот восток, где новый брезжит день;
Там Франция – там край ее родной
И славы след, быть может скрытый мглой:
Там, средь войны, ее неслися дни…
О! для чего так кончились они!..
Прости, о слава! обманувший друг…

[1830]

Изгнанник мрачный, жертва вероломства
И рока прихоти слепой,
Погиб, как жил – без предков и потомства —
Хоть побежденный, но герой!
Родился он игрой судьбы случайной,
И пролетел, как буря, мимо нас;
Он миру чужд был. Всё в нем было тайной,
День возвышенья – и паденья час!

[1831]

Пусть такое падение и было возмездием, но не людям судить этого человека – людям, которые привыкли измерять величие одним лишь успехом:

Поверь: великое земное
Различно с мыслями людей.
Сверши с успехом дело злое —
Велик; не удалось – злодей;
Среди дружин необозримых
Был чуть не Бог Наполеон;
Разбитый же в снегах родимых
Безумцем порицаем он;…

[1830]

Этот восторженный тон, в каком Лермонтов говорил о Наполеоне, менялся разве только под наплывом вскипевшего патриотического чувства. Император в глазах поэта был тогда дерзновенный великан, который хотел померяться силой с другим великаном. Тот улыбнулся, тряхнул главою и забросил дерзкого в дальнее море[28]. Но Наполеон искупил свои грехи, а люди своего греха перед ним не искупили. Как жалки люди, когда, унизив и предав великого человека, они после его смерти, из чванства и самолюбования, возносят его до небес, желая приписать себе частицу его славы:

Меж тем, как Франция, среди рукоплесканий
И кликов радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий
В изгнаньи мрачном и в цепях;
Меж тем как мир услужливой хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забыв, —
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие их праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Ты жалок, потому что вера, слава, гений,
Всё, всё великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности – орудье палача,
И все заветные отцовские поверья.
Ты им рубил, рубил сплеча, —
Ты погибал… и явился, с строгим взором,
Отмеченный божественным перстом,
И признан за вождя всеобщим приговором,
И ваша жизнь слилася в нем, —
И вы окрепли вновь в тени его державы,
И мир трепещущий в безмолвии взирал
На ризу чудную могущества и славы,
Которой вас он одевал.
Один, – он был везде, холодный, неизменный,
Отец седых дружин, любимый сын молвы,
В песках египетских, у стен покорной Вены,
В снегах пылающей Москвы.

А вы, что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть избранную как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!
Лишенный прав святых и места гражданина,
Разбитый свой венец он снял и бросил сам,
И вам оставил он в залог родного сына —
Вы сына выдали врагам!
Тогда, отяготив позорными цепями,
Героя увезли от плачущих дружин,
И на чужой скале, за синими морями,
Забытый, он угас один —
Один, замученный враждою неуместной,
Безмолвною и гордою тоской,
И в боевом плаще, как ратник неизвестный,
Зарыт наемною рукой…

[«Последнее новоселье», 1840]

Не лучше ли герою было спать не в Париже, а на далеком острове, вдали от людей в ожидании того воздушного корабля, который, незримо для всех, привозил его к берегам родного края («Воздушный корабль», 1840)?

Поэт был плохой историк и потому наговорил французам столько дерзостей: но ведь в данном случае, при раздумье над трагической судьбой героя, ему правда собственной души была дороже правды исторической…

IV

Личная жизнь Лермонтова текла тем временем рассеянно и бурно, попеременно в столице и на Кавказе. Военная жизнь и светские кружки – вот та арена, на которой он теперь «действует». Арена довольно скромная для того, кто мечтал о великих деяниях. Суета этой военной и светской жизни скрашивалась, впрочем, поэзией любви и ощущением боевой опасности.

Любовь в разных ее видах очень занимала Лермонтова, если судить по количеству любовных стихов, написанных им в последние годы его жизни. Он писал их искренно и в увлечении, и они выливались в удивительно художественную форму.

Вся гамма любовных чувств и настроений дана в этих стихотворениях. Иногда это грустные неясные воспоминания о какой-то сильной страсти. Поэт действительно любил глубоко одну женщину, и любил безнадежно. Сказать, что именно к ней относились все стихотворения, в которых звучит эта грустная замирающая нота, – нельзя. Воспоминания переплетались с мечтой, и разные образы могли сливаться в один.

Кто была та, перед которой он чувствовал себя столь виновным и которой писал:

Когда одни воспоминанья
О заблужденьях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей, —

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь, —

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя, —

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой

Скажи, что судит нас Иной,
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

[1841]

Как звалась та, в присутствии которой слова любви замирали на его устах? И к кому относились эти грустью насквозь пронизанные строки:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье…
Но в мире новом друг друга они не узнали.

[1841]

Была одна женщина – и до нас дошло ее имя – несменная владычица души поэта. Быть может, ее он сравнивал с пальмой:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.

И снится ей всё, что в пустыни далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

[1840]

И сравнивал с тучкой:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

[1841]

Быть может, ее образ должен был стать у его изголовья в час кончины:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

[«Сон», 1841]

Ее ли ребенку он говорил с примиренной грустью:

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю…
О, если б знало ты, как я тебя люблю!

Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! – Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? – Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит…
Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней, – скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой…
Не вспоминай его… Что имя? – звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если, как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его, – ребяческие дни
Ты вспомни и его, дитя, не прокляни!

[1840]

И наконец не к ней ли относились и эти прощальные строки, жестокие, но неизбежные в истории каждой долгосрочной любви:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

[1841]

Не должно думать, однако, что этот грустный образ мог застраховать поэта навсегда от увлечений.

Иногда достаточно было мимолетной встречи, чтобы сердцем поэта овладело «бесплотное виденье» и заставило его забиться неясным любовным трепетом:

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки,
И улыбалися лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!..

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою:
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И всё мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

[1841]

Поэт любил такую романтическую дымку над еще не распустившимся чувством. Но он любил вообще чувство любви во всех стадиях его развития.

В виде ли эстетического восторженного созерцания:

Она поет – и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит – и небеса играют

В ее божественных глазах;
Идет ли – все ее движенья,
Иль молвит слово – все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

[1837]

В виде ли неудержимого порыва нежности:

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

[1837]

Или безумства желания:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

[1840]

Иногда в этих любовных мотивах слышится более тревожная нота и нежные слова начинают отдавать блеском стали.

Любовь пока еще смиряет тревожную душу:

Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет,
Заманчиво звучит,
При звуке том душа трепещет,
И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услыхал твой голос нежный
И встретил милый взор.

[1837]

Но ведь она может и закалить ее:

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.

Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза – жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели – то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

[«Кинжал», 1837]

Может и отточить кинжал для ревности и мести:

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущельи мгла и дым.
…….
Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежею чинарою
Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?
И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои.
…….

Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор:
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковер;
Я жду с тоской бесплодною,
Мне грустно, тяжело…
…….
Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!
…….
Возьму винтовку длинную.
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится…
А! это ты, злодей!

[«Свиданье», 1841]

Муки ревности были, кажется, хорошо знакомы Лермонтову – настолько хорошо, что он даже на том свете предполагал возможность существованья таких чувств:

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

* * *

Без страха в час последней муки
Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки —
Разлуки нет!
Я видел прелесть бестелесных,
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.

* * *

Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как встарину.

* * *

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Душа моя в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут пылая,
По мне огнем.

* * *

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу, святыней слова,
Обручена.
Увы, твой страх, твои моленья,

К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне!

[«Любовь мертвеца», 1840]

И может ли вся испепеляющая сила любовной страсти быть изображена более страстными красками, чем те, которые придают стихотворению «Тамара» такой волшебный оттенок?

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя. Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

[1841]

V

Как видим, из всех этих стихотворений – которые нельзя припоминать, а надо перечитать – Лермонтов был великий мастер любовной песни во всех ее оттенках[29], – конечно потому, что умел любить… Любил он часто, и глубоко, и мимолетно, и несомненно, что этот порядок чувств был одним из тех, с которыми ужиться было ему всего легче.

Поражает только в его любовных стихотворениях обилие минорных мотивов. Житейский опыт как будто подтверждал те грустные мысли, какие поэт высказывал о любви еще ребенком.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник не́званную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

[«Как часто пестрою толпою окружен…», 1840]

Это желание Лермонтов исполнял нередко, но, кажется, без особого удовольствия. Он не принадлежал к числу тех сатириков, которые в самом обличении находят удовлетворение. Сатира его только расстраивала, и вместо того, чтобы искать битвы с людьми, он все чаще и чаще мечтал о том, как бы стать от них подальше.

Поэтический образ узника попадается нередко в стихотворениях этих годов[30]. Если предположить, что эти образы возникли в невинной обстановке той гауптвахты, где молодому офицеру приходилось иногда отсиживать, то все-таки не мелкий житейский факт, а более глубокое чувство придавало таким грезам их правду и красоту.

Нечто большее, чем простое воспоминание, звучит, например, в стихотворении «Узник»:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

* * *

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

* * *

Одинок я – нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучномерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

[1837]

Но желание поэта неожиданно исполнилось: он на самом деле очутился на добром коне в зеленом поле.

VI

Ссылка вырвала Лермонтова из светских салонов и снова перенесла на Кавказ.

Поэт, как известно, был в ссылке два раза: первый раз – за стихи «На смерть Пушкина», второй раз – за дуэль, которую он имел с Барантом по поводу какой-то ссоры в салоне графини Лаваль.

Сама судьба позаботилась о том, чтобы помочь поэту стряхнуть с себя бездеятельную, грызущую его тоску и дать ему возможность принять непосредственное активное участие в жизни. Поэт с детства бредил всевозможными героическими похождениями и любил проявлять свою удаль. Теперь перед ним была новая арена действия – война, серьезный патриотический и общественный подвиг. Из военных донесений того времени мы знаем, что Лермонтов вел себя на Кавказе очень храбро, участвовал во многих экспедициях и был представляем к награде, в которой ему, впрочем, отказали.

На Кавказ Лермонтов ехал в бодром настроении духа. «Меня утешают слова Наполеона: “Великие имена создаются на Востоке”», – говорил он.

Но военная жизнь заняла и развлекла Лермонтова лишь на очень короткое время. В стихотворении «Валерик», в этой мастерской картине военного быта, Лермонтов так говорил о своем положении:

…Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин,
За все я равно благодарен;
……
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью…
И нет работы голове…
Зато лежишь в густой траве…
И дремлешь…

[1840]

Трудно предположить, чтобы такой для всякого размышления мало подходящий образ жизни пришелся надолго по вкусу поэту. Война как новинка могла на первых порах задеть его любопытство, но в конце концов она надоела ему не меньше лагерной жизни под Петербургом; и Лермонтов, будучи одним из самых храбрых офицеров, не упускал случая брать отпуск.

В последних стихотворениях Лермонтова, действительно, очень мало военных мотивов. «Валерик» – единственная боевая жанровая картина. Очевидно, действительность не была так заманчива, как мечта, которая в юношеские годы любила дразнить поэта ореолом военной славы и подвигов.

В годы детства и юности Лермонтов был большим патриотом в военном духе. Слава родины была для него неразрывно связана со славой русского оружия. Победа над врагом, кто бы он ни был, была для него предметом большой гордости.

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад, и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час – и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час – и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!

[«Измаил-Бей»]

Военная нота слышалась ясно и в стихотворении «Опять, народные витии…»:

…вам[31] обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца Божьего не видно
За солнцем русского царя.

Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мните грязными руками
Венец блестящий запятнать.
Вам непонятно, вам несродно

Всё, что высоко, благородно;
Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

Безумцы жалкие! вы правы,
Мы чужды ложного стыда!
Так нераздельны в деле славы
Народ и царь его всегда.
Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верим нашему царю!
И будем все стоять упорно
За честь его как за свою.

[1835]

Теперь, на Кавказе, патриотическое чувство поэта стало почему-то менее вызывающе. Даже стихотворение «Бородино» (1837) – единственная патриотическая ода последних годов его творчества – по мягкому своему тону превосходит все ожидания. При всей живости военной сценировки, при крайне гиперболическом описании геройских подвигов – какая сдержанность в отношении к побежденному врагу, как мало победного грому!

Такое отсутствие военных мотивов среди постоянной военной тревоги и такая сдержанность в патриотических излияниях указывают на то, что Лермонтов далеко не вошел во вкус той жизни, на какую был осужден своим положением.

Наконец, поэт даже отрекся открыто от своих прежних военно-патриотических идеалов в стихотворении «Родина». Это признание боевого офицера очень характерно:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю – за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям;

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

[1841]

Любовь к родине вылилась в форме красивой, спокойной элегии, и патриотическое воодушевление перешло в восхищение родной природой.

Но патриотизм поэта на самом деле не был так прост и односложен, каким он обрисован в этом стихотворении.

Россия, ее мировое призвание, ее самобытность, положение, в какое она должна стать к Европе, – все эти мысли, которым суждено было после смерти Лермонтова вызвать столь оживленные споры, – несомненно тревожили ум Лермонтова.

В стихах и записных тетрадях поэта остались следы таких мыслей. По ним нельзя себе составить, конечно, никакого определенного понятия о взглядах Лермонтова на эти столь трудные исторические вопросы. Они остались, как многие другие – нерешенными, но поэт как будто тяготел к решению их в славянофильском духе. Так, по крайней мере, утверждала А. П. Елагина.

Известное стихотворение «Умирающий гладиатор» кончалось, например, словами, в которых сквозила столь нашумевшая вскоре мысль о гниении Запада:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд – игралище детей,

Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

[1836]

А в записной книжке Лермонтова (1841) находим такие строки:

«У России нет прошедшего; она вся в настоящем и будущем».

«Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжелого сна, и встал, и пошел… и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия».

VII

Лермонтов был одарен редкой чуткостью к красотам природы. Одинокий среди людей, он жил с ней в большой дружбе еще в молодые годы, а теперь эта дружба стала еще более тесной, теперь, когда военная жизнь забросила поэта в вольные горы. Кавказская жизнь дала Лермонтову много красок для палитры.

Почти нет стихотворения, где бы не было пейзажей или картинных метафор: и любовь, и дружба, и религиозное настроение неразрывно связаны с грустью или восторгом, какие пробуждает в душе поэта раскинувшаяся перед ним роскошная природа.

Стихотворения «Тучки небесные», «На севере дальнем», «Ночевала тучка золотая» – не что иное, как любовные элегии, выраженные в форме пейзажа. В них слишком много личного, субъективного настроения, и потому они не могут быть названы непосредственным отражением природы в поэзии; они – отражение души самого поэта в взятом из жизни пейзаже; но достоинство их этим не умаляется.

Элегия «На смерть князя Одоевского» (1839) оканчивается также прелестной картиной природы, которая так образно оттеняет судьбу умершего декабриста: вечный покой величественных гор и вечный шум тревожного моря – грустные символы неумолимо спокойной судьбы и тревожной жизни человека:

Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно… Дела твои, и мненья,
И думы, – всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит;

Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…

И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной…
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

И мрачных гор зубчатые хребты…
И, вкруг твоей могилы неизвестной,
Всё, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

Почти во всех картинах природы, нарисованных Лермонтовым, нас поражает контраст любящего сердца природы и жестокой души человека.

Что иное, как не рассказ о вторжении эгоистического человека в мир любви дан в стихотворении «Три пальмы» (1839)?

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром в степи их потом разнесло.

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

Та же идея, но в ином символе повторена и в стихотворении «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» (1841). Если в «Трех пальмах» человек является носителем разрушающей эгоистической силы, то здесь, наоборот, он ищет в природе успокоения и отдыха от тревожной и пустой жизни, которая его истомила. Но природа, наученная горьким опытом, принимает человека очень недружелюбно:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя,
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветки лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой,
Приюта на время он молит с тоскою глубокой
И так говорит он: я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных.

На что мне тебя? отвечает младая чинара,

Ты пылен и желт, – и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал – да к чему мне твои небылицы?
Мне слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.

Природа не может забыть, как она страдала при приближении человека. Она ему – живой укор, упрек его мятежной и злобной душе:

…жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – Зачем?

Человек хитер и упорен: для него нет преград:

«Берегись! – сказал Казбеку
Седовласый Шат, —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися!..»

[«Спор», 1841]

Природа не холодна: она любить умеет. Иногда в ее очах более страсти, чем в глазах человека, и меньше жестокости, чем в его сердце; обиженный человек в ее лоне упокоится, как та несчастная казачка, которую принял седой Каспий из объятий Терека.

…склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит;
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.
Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красотке-молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного,
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный —
И в объятия свои

Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

[«Дары Терека», 1839]

VIII

Влияние ли умиротворяющей природы или вообще поворот в настроении – но только в стихах Лермонтова в последние годы его жизни изредка попадаются хоть и грустные, но мирные и миролюбивые мотивы.

Поэт покидает Кавказ, и мысль его не о разлуке с природой, а о той встрече с людьми, которая его ожидает; он был к этим людям так равнодушен, а теперь ему так нужна их любовь и дружба:

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Привез я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы.

Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! – Душа дрожит!
Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?

Узнают ли друзья и братья
Страдальца после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

[«Казбеку», 1837]

Мир как будто вселялся в душу поэта – и ему удалось закрепить это мирное настроение в нескольких удивительных по красоте стихотворениях. Они не веселые, даже очень грустные, но они мирные: в них много покоя и нет сердитой ноты:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страданья;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнанья.

[«Тучи», 1840]

Та же нота желанного покоя звучит и в переводе знаменитого стихотворения Гёте «Из Гёте» («Горные вершины») (1840).

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины

олны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

И какой простотой и искренностью веет от интимного стихотворения, набросанного в альбом С. Н. Карамзиной:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор…

[1840]

То же мирное и грустное настроение сквозит и сквозь иронию в стихотворении «Завещание»:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,

Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали,
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит… всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!

[1840]

Лермонтов как будто чувствовал близость своей кончины и без ропота шел ей навстречу.

Жизнь теряла свой мишурный блеск… ее уста шептали непонятный упрек… и вместо соблазнительного видения вставало перед глазами поэта какое-то чудище.

Не это ли страшное создание блеснуло в загадочном стихотворении «Морская царевна»?

В море царевич купает коня;
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет и дале плывет.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелко́вой узды.

Вышла младая потом голова;
В косу вплелася морская трава.

Синие очи любовью горят;
Брызги на шее как жемчуг дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл, товарищей громко зовет:

«Эй вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя…

Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь дрожит.

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрек…

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

[1841]

IX

Поэт, мы знаем, и в прежние годы обращался иногда к религиозным темам. Но уловить какое-нибудь положительное религиозное признание в его ранних стихах было невозможно.

В последний период жизни Лермонтов к религиозным темам стал возвращаться и, как свидетельствует князь В. Ф. Одоевский, вел с ним даже частые религиозные споры.

Многое было испытано Лермонтовым и, как прежде, удовлетворения нигде не найдено. Жизнь, правда, была еще впереди; но зато вопросы, ею поставленные, стали более сложны и серьезны. Остаться при старой мирооценке было невозможно, а новый взгляд пока еще не был выработан. Способность отдаваться мечтам осталась та же и даже усилялась как следствие духовной и телесной усталости. Если в прежние годы Лермонтов был мрачен и раздражен, то теперь он становился очень грустен. Его все чаще и чаще преследовала мысль о смерти. Было ли это предчувствие близкой кончины или просто нервное расстройство – но поэт стал нередко переносить свои мечты за пределы гроба.

Последний отзвук прежнего непокорного отношения к Богу, прежних титанических порывов мы встречаем в стихотворении «Благодарность». Поэт с иронией благодарит Создателя:

За всё, за всё Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был…
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

[1840]

Но эту непокорную речь он искупил другими молитвенными речами[32].

Он научился молиться:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сияньем,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием счастья достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

[1837]

Научился ценить молитву:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
……
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

[1839]

Научился понимать людей, наивно молящихся:

Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;

Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю…
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

[«Казачья колыбельная песня», 1840]

Особенно ярко сказалось религиозное настроение последних лет жизни Лермонтова в двух знаменитых пейзажах: «Когда волнуется желтеющая нива» и «Выхожу один я на дорогу». Первое стихотворение написано в 1837 году, второе – в 1841, почти накануне смерти. Образные картины природы и искреннее религиозное настроение слились в этих стихотворениях так тесно, что отвлеченная идея о Боге получила как бы осязаемую форму. Самым простым описанием произведено самое глубокое религиозное впечатление:

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

[1837]

Но, несмотря на душевный мир, каким дышит стихотворение «Выхожу один я на дорогу», – сколько в нем грусти и сколько страха перед тем покоем, к которому, по-видимому, поэт так стремится! Он боится холодного сна могилы:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

[1841]

Как ярко просвечивает в этом стихотворении любовь поэта к земному. Мечта о загробном мире была не в силах вытеснить из его сердца жажды любить и чувствовать красоту, молитва не могла стать конечным выводом его мировоззрения; он искал в ней лишь отдыха от минувших тревог в ожидании бурь грядущих.

X

Итак, и в этот последний период жизни поэта ни один вопрос, ни житейский, ни отвлеченный, не получил определенного решения. Решения менялись сообразно настроению, и не было положения, в котором поэт чувствовал бы себя ловко. Вопрос об отношении художника к обществу оставался открытым; светская жизнь оставляла в душе поэта осадок раздражения; военная жизнь его тяготила; жизнь среди природы успокаивала, но только на короткое время, как минутами успокаивали его и приливы религиозного настроения. Любовь давала несколько светлых и радостных ощущений, но еще больше ощущений грустных…

Со всех сторон надвигались на поэта грозные нравственные вопросы, и вся сила его духа уходила на постановку их и на раздумье без исчерпывающего решения.

В жизни он еще не слышал того «волшебного слова», о котором он сказал:

Средь шума мирского
И где я ни буду,
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду;

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Надежды в них дышат
И жизнь в них играет, —
Их многие слышат.
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,

Душа их с моленьем,
Как ангела, встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

[1841]

Творчество Лермонтова оставалось верным отражением его неустойчивого душевного настроения и его неустановившейся мысли.

Взять хотя бы то противоречивое разнообразие, которое наблюдается в последние годы его жизни и в выборе тем стихотворений, и в форме их обработки. Темы фантастические чередуются с темами реальными, романтические порывы – со скептическим анализом, смех самый задорный – с печалью, молитва – с шуткой, сила – с утомлением.

Кто мог бы предположить, что один и тот же поэт способен почти в одно и то же время создать произведения, по мыслям, настроению и темпу совершенно различные? А может ли быть большее противоречие, чем то, какое существует, например, между поэмой «Беглец» (1841), этой восточной мрачной легендой о кровавой мести, и восточной же сказкой об «Ашике-Керибе» (1841), сказкой нежной, полной любви, мира и счастья?

Отметим все-таки, что мирные чувства в эти последние годы охватывали душу поэта все чаще и чаще.

Лучший пример тому его «Песня про купца Калашникова» (1837) и поэма «Мцыри» (1840).

XI

Из всех созданий Лермонтова «Песня про купца Калашникова» – произведение по своему стилю совсем исключительное.

Она написана в духе народной песни, с таким уменьем и так выдержанно, что могла бы быть принята за произведение наивной народной фантазии.

Лермонтов знал, какой богатый родник поэзии кроется в народных мотивах. Это подтверждается одной заметкой, которую еще в 1838 году поэт занес в свою тетрадку: «Наша литература, – писал он, – так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать[33]; в пятнадцать же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. – Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».

«Песня про купца Калашникова» характерна также и по религиозному настроению, каким она окрашена.

Основная ее идея – смиренье сильного своей правдой человека перед высшим судом несправедливым, но обязательным. Тип удалого купеческого сына, – заступившегося за обиженную жену, героически смывшего эту обиду кровью и, в конце концов, казненного, – напоминает трагической своей судьбой участь прежних героев Лермонтова. Но смирение, с каким Калашников переносит свою участь, христианское преклонение перед судом Божиим и царевым, – черта совершенно новая в герое. Она объяснима только как одно из тех искренних проявлений мечтательно-религиозного настроения, в какое начал впадать Лермонтов в последние годы своей жизни. Оно чередовалось в нем с прежними титаническими порывами сердца и порой над ними торжествовало.

В «Песне» смиренье, очевидно, одержало верх. Ни одного слова протеста против несправедливости, ни малейшей угрозы, – а между тем резкий, протестующий тон напрашивался сам собою, если вспомнить, что в этой песне поется о состязании обидчика-аристократа с обиженным простолюдином. Речь обиженного человека могла бы быть гораздо более сильной и резкой.

XII

Резких слов нет и в исповеди Мцыри, которому Лермонтов доверил думы и чувства последних лет своей жизни.

Герой поэмы – юноша. Вольный горец, он ребенком был взят в плен и отдан на воспитание монахам. Вдали от своих вырос он в чуждой ему обстановке, ничего не говорившей его сердцу. Отца и матери он не знал, хотя душой чувствовал святость этих имен. Единственным утешением его жизни были смутные воспоминания о прежних годах любви и свободы, которые окружали его детство среди родной ему природы. Контраст этих воспоминаний со скучной и замкнутой монастырской жизнью оставался для него неразрешимым противоречием, кругом, в котором должны были вращаться его мысли и чувства. Он был одинок и одиночество свое пытался скрашивать мечтой, неопределенной мечтой, которая влекла его куда-то вдаль, сулила ему в будущем славу подвигов, прославивших жизнь его предков, и обещала ему в награду любовь, еще неизведанную им в жизни.

Кто не узнает в этом Мцыри самого автора? За исключением монастырской жизни, которая обрисована в поэме слишком мрачными красками, не соответствовавшими той обстановке, в которой жил поэт, – все остальное взято прямо из личных воспоминаний: одинокое детство, мечтательность, жажда великих подвигов и тоска по любви и свободе.

Юноша не выдержал и убежал из монастыря на свободу, без определенной цели, руководимый одним желанием вырваться из темницы:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы;
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской…

Три дня, проведенные на свободе, были для Мцыри целой жизнью. Скитаясь среди пустынной природы как дикарь, он

упивался чувством безграничной свободы:

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

Никогда в монастыре он не был так религиозно настроен, как среди этой дикой природы.

Упоение природой переполнило его сердце, и он до самозабвения наслаждался ее величием. Природа как будто знала, что узник обречен на скорую смерть, и потому не поскупилась для него своими красотами и лаской.

Здесь, в царстве свободы, юноша встретился с молодой грузинкой, которая мелькнула перед ним, как небесное видение, как поэтичный облик желанной, но неведомой любви.

Вдруг голос – легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд,
И жадно вслушиваться стал.
И ближе, ближе всё звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он

Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

Сон освежил силы странника, и он встал, чтобы продолжать свой путь к родному краю, забыв, что теперь для этого края он стал человеком совсем чуждым.

Мцыри надеялся стойко преодолеть все препятствия, какие легли между ним и желанной родиной.

Сцена борьбы с барсом – одна из лучших сцен поэмы. Человек вступает в отчаянную борьбу с вольным сыном природы. И барс, и Мцыри – родные по крови и враги случайные. Они одной любовью любят свой край и свою свободу. Но случай столкнул их, и борьба между ними завязалась. Не такой ли случай заставил Лермонтова сражаться с сынами гор и свободы? Как поэт отдал справедливость своим врагам, так и Мцыри описывает смерть барса с чувством победителя, отдающего должное отваге своего противника.

Мцыри вернулся вновь к своей темнице, проблуждав напрасно в горах и не найдя дороги к обетованному краю:

И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И всё зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на Божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..

Все, что ему дала эта отчаянная попытка вырваться на волю, было: трехдневная жизнь с природой, сон любви и случайный геройский подвиг – убийство невинного зверя.

Не то ли же самое дала и Лермонтову его кочевая жизнь на

Кавказе?

Мы знаем, что даже предчувствие смерти, которое так поэтически описано в последнем сне Мцыри, оправдалось.

Все в этой поэме пропитано личным чувством, не исключая и мирного финала, в котором так много религиозного смирения.

Мцыри – герой очень мирно настроенный, хоть он и в родстве с демоническими натурами. Пусть он не желал людской помощи и был чужой для людей, но «людям он не делал зла» и умер «рабом и сиротой», без проклятий, и с верой в Бога:

Прощай, отец… дай руку мне;
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится он к Тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? – пускай в раю,
В святом, заоблачном краю,
Мой дух найдет себе приют…
Увы! – за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать —
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом

Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!

XIII

Подводя окончательный итог всей литературной деятельности Лермонтова за последний период его жизни, мы видим, как поэт продолжал колебаться между старыми неустойчивыми и противоречивыми взглядами на все вопросы жизни. Но этот разлад с жизнью и эти противоречия в суждениях о ней показывают нам, что энергичные попытки разрешить задачу не ослабевали в душе поэта. Несмотря на житейскую философию индифферентизма, какую он проводил в «Маскараде» и – как сейчас увидим – развивал подробно в «Герое нашего времени», Лермонтов чувствовал необходимость слияния с людьми и жизнью.

Способность поэтически отдаваться налетающим настроениям отразилась на всех стихотворениях этого последнего периода его жизни, и всякая попытка вычитать из них какое-либо связное и цельное мировоззрение была бы насилием над истиной. Истина заключалась в бессменной тревоге духа самого художника.

«Герой нашего времени»

I

Жуковский, а за ним Гоголь окрестили настроение Лермонтова словом «безочарование»; однако это настроение было скорее страстным, хоть и скоропроходящим «очарованием» всеми впечатлениями бытия. Скоропроходящим очарованием оно было потому, что все порывы чувства тотчас же охлаждались рассудком сильным и строгим, но не имевшим никаких определенных и установившихся взглядов на основные вопросы жизни, которые так волновали сердце поэта. Поэт то вырастал в своих собственных глазах до величественного образа пророка, то приравнивал себя к слабой промотавшейся толпе; молился искренно и вновь впадал в сомнение; искал покоя на лоне природы и бросался в кровопролитную битву; сочинял любовные стихи и в то же время писал эпиграммы на женщин; так поступал он, повинуясь поочередно то наплыву чувств, то неотвязным речам пытливого рассудка.

Такое нервное состояние души должно было отразиться на нервности в поступках. Поэт с Кавказа летал в Петербург, из Петербурга вновь на Кавказ; веселился в обществе и возвращался домой печальный, был печален в обществе и ехал веселиться за город, проказничал, как школьник, и вдруг становился угрюм и серьезен.

С этими капризами нервного и впечатлительного человека должны были считаться окружающие, для которых снисходительность к ним не была обязательна.

Нервность поэта, вырождавшаяся очень часто в капризное озорство, была главной причиной той несчастной дуэли, которая так неожиданно прервала жизнь Лермонтова.

Дуэль в то время была явлением очень обыкновенным не только в военных, но и в светских кругах общества; и для Лермонтова последняя дуэль была не первой. Ближайшие причины, вызвавшие ее, известны: она была следствием салонного соперничества двух молодых людей, из которых один, уступая другому в уме и таланте, кажется, побеждал его внешними преимуществами. Вражды, в точном смысле этого слова, между соперниками не было, так как ни идейная рознь, ни ревность их не разъединяли. Ценой победы был просто светский успех или, другими словами, удовлетворенное самолюбие, – кумир, которому Лермонтов приносил не первую жертву. Из показаний свидетелей ясно также, что Лермонтов всегда переводил спор на свою почву и выбирал оружие, которым его противник не владел, а именно: свое остроумие, желчное и

беспощадное. Примирить противников могла только уступка со стороны Лермонтова, на которую он не соглашался, несмотря на многократные предостережения, или борьба на равных условиях и оружием, одинаково доступным обоим противникам.

Это состязание кончилось для Лермонтова плачевно и лишило Россию многих литературных сокровищ.

II

С юношеских лет Лермонтов стремился подыскивать для выражения своих поэтических настроений более широкие рамки, чем короткая лирическая песня. Он с особой любовью, как мы знаем, разрабатывал форму поэмы и драмы. Пробовал он в юности написать и повесть, но не хватило терпения ее окончить.

В последние годы своей жизни Лермонтов к этой попытке вернулся, очевидно, потому, что психический мир его излюбленного героя настолько расширился и углубился, что потребовал более детальной и свободной обработки, которую всего легче было осуществить в форме повести или романа.

Четыре попытки в этом роде были прерваны опять в самом начале. Неоконченной осталась какая-то фантастическая повесть («Лугин», 1841), напоминающая слегка «Портрет» Гоголя, – очень занятный рассказ, но ничего не дающий для определения нравственной физиономии главного героя.

Неоконченной осталась и другая повесть (1837–1838), в которой должна была быть рассказана история жизни некоего Саши Арбенина. Едва ли это тот Арбенин, который так трагично кончил свою жизнь[34].

Не окончил Лермонтов и романа «Княгиня Лиговская» (1836), в котором он собирался рассказать историю юношеских лет будущего «героя нашего времени» – Печорина.

В виде отрывка осталась, наконец, и повесть в стихах, известная под названием «Сказка для детей» (1839). Трудно отгадать ее смысл, так как повесть обрывается на первой же главе. Это – художественная картина барского светского воспитания; злая довольно сатира, и опять с демоническими мотивами. Для характеристики миросозерцания поэта она не дает почти ничего нового.

Все эти темы занимали Лермонтова в то самое время, когда он работал над «Героем нашего времени» (1839–1841), и, быть может, этим и объясняется, почему поэт бросал многие начатые работы. Все, что он хотел сказать в своих неоконченных повестях, он выразил полнее и более связно в той серии рассказов, которые он объединил под общим заглавием «Героя нашего времени».

Личность Печорина неразрывно связалась в нашем представлении с личностью самого поэта; и на сам роман мы привыкли смотреть как на литературное завещание, как на «последнюю исповедь».

Это была исповедь, но не последняя. Со времени создания облика Печорина до смерти Лермонтова протекло около двух лет;

и Лермонтов в своем развитии успел оставить позади себя своего героя, успел даже разлюбить его, судя по тому, что он говорил о нем в предисловии ко второму изданию своего романа (1841). Он писал:

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте однако после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!»

Автор, как видим, ясно подчеркивает свое намерение изобразить «порочного» человека и предать его суду общества. Самый роман, однако, – скорее простой дневник, чем преднамеренная сатира. Лермонтов первоначально, когда обдумывал свой роман, и не стремился вовсе выставлять напоказ чьи-либо «пороки», а просто закрепил в реальном образе Печорина один из моментов своего собственного душевного настроения, как он это делал раньше, когда писал «Странного человека», «Двух братьев» и «Маскарад».

Этот момент, отраженный в Печорине, был уже пережит автором в 1841 году. В этом мы можем убедиться, сравнив настроение Лермонтова в последние два года его жизни с настроением Печорина.

В 1840–1841 годах поэт вновь переживал мучительную эпоху переработки и пересмотра всех коренных вопросов жизни, и один уже этот процесс неустанной критической переработки показывает нам, что Лермонтов отошел на довольно далекое расстояние от того эгоистического «безочарования», в каком погряз Печорин. Лермонтов потому и не был в состоянии продолжить свой роман, что его субъективное настроение духа перестало совпадать с душевным настроением главного героя.

Печорин для Лермонтова стал прошедшим, хотя для многих современников поэта оставался настоящим. Он одно время был любимцем читающей публики именно потому, что давал одностороннее, но очень ясное решение жизненной загадки, и притом такое решение, которое для усвоения не требовало ни энергии, ни глубокого ума. Сам Лермонтов обладал этими качествами, и они не позволили ему облюбовать житейскую философию Печорина.

На миросозерцание Печорина нельзя ни в каком случае смотреть как на окончательный вывод, к которому пришел поэт в своих размышлениях о жизни, ее ценности и назначении.

III

Как человек умный и сильный, стоящий над общим уровнем, Печорин принадлежит к той же семье исключительных натур, с которыми мы постоянно встречались в произведениях Лермонтова. Он родственник Демона, Арбенина, Радина, Арсения и Измаила.

Печорин как тип, впрочем, более естественен и правдоподобен, чем все только что поименованные лица.

Но и его характеристика не может быть названа образцом реального письма, как мы теперь такое письмо понимаем. Душа Печорина для нас достаточно темна и загадочна. Его внутренний мир обрисован не в одной общей и связной картине, а в отрывках, которые позволяют нам лишь украдкой заглянуть ему в душу. Его прошлое нам почти неизвестно; на будущее не дано никакого намека, перед нами один момент душевного состояния, довольно подробно описанный и взятый как бы на выдержку из целой человеческой жизни.

Мы имеем сведение, что Лермонтов хотел написать большой роман, который должен был охватить русскую жизнь за целую четверть столетия; быть может, записки Печорина – глава из этого романа.

«Герой нашего времени», как известно, вызвал сильное разногласие в критике. Одни видели в Печорине тип умного передового человека, но загубленного обстоятельствами жизни; другие – тип светского денди, достаточно пошлого и совсем бесцельно влачащего жизнь. Источник этого разногласия заключается в туманности самого образа – в том, что образ, взятый из современной жизни и поставленный в такую реальную обстановку, тем не менее, образ слишком общий и условный.

Лермонтов сам сознается в предисловии ко второму изданию своего романа, что Печорин – портрет не одного какого-нибудь человека; что это портрет, составленный из пороков всего тогдашнего поколения, в полном их развитии. Так как все эти пороки совместить в одном типе без нарушенья жизненной правды было невозможно, то противоречия становились неизбежны.

Взять хотя бы смешение глубокой и искренней любви с кокетством и издевательством Печорина над женщиной или неподдельную меланхолию с постоянной жаждой выставлять себя напоказ и рисоваться. Как объяснить эту способность чувствовать все прекрасное и вместе с тем это, по-видимому, полное разочарование? Откуда этот безграничный эгоизм при далеко не

жестком сердце?

Печорин прав, говоря про себя, что в нем живут две души: они жили и в самом авторе, когда он писал свой роман. Как Лермонтов не имел установившихся взглядов на жизнь, так нет их и в Печорине, несмотря на то, что он стремится всегда быть последовательным и логичным в своих поступках.

Но Печорина отличает от самого Лермонтова одна очень яркая черта его характера, а именно – его *духовное безделье* и *полное отсутствие думы о будущем*. Поэт постоянно имел в виду свое будущее и ради него пытался распутать сложные вопросы жизни. Печорин порешил с этими вопросами сразу, подавив в себе всякую попытку разрешить их. Он помирился с жизнью чисто пассивно, тогда как, по природе своей, был предрасположен к активной роли. В противоречии *принятого* решения с *природными* свойствами человека и дан ключ к пониманию этого туманного характера, в котором, бесспорно, много жизненной правды, но много и поэтического вымысла.

В 1839 году, когда Лермонтов писал «Героя нашего времени», житейская философия Печорина была вполне по душе автору. В этом году поэт, возвратясь в первый раз из ссылки, вел рассеянную жизнь в Петербурге. Его душевное настроение было очень тревожно, несмотря на светские забавы. В этот год им написаны стихотворения «Не верь себе» и «Поэт» – произведения, в которых наиболее ярко выразились его сомнения в своем собственном призвании. Лермонтов, с детских лет страдавший под тяжестью этих постоянных сомнений и уже раз попытавшийся потопить их в вине и разгуле, легко мог прийти, наконец, к выводу, что наилучшее средство против этой изнурительной болезни – полное примирение с жизнью на почве пассивного прозябания и отказ от всяких тревожных мыслей. Этот печальный вывод он и воплотил в образе Печорина. Понятно, что поэт должен был очень скоро расстаться со своим героем, так как сама жизнь заставила его вновь приняться за пересмотр так быстро и произвольно решенных вопросов и так как в нем самом хорошие стороны Печорина скоро осилили печоринские пороки.

IV

Печорин – вариация одного общего типа, который постоянно занимал фантазию поэта. Наибольшее сходство имеет он с Александром Радиным, героем драмы «Два брата», характер которого, по всем вероятиям, служил Лермонтову точкой отправления в его новой работе – по крайней мере некоторые слова Радина целиком вложены в уста Печорина.

Сравнивая эти два типа, мы замечаем в них, при всем отличии одного от другого, две сходные характерные черты: холодную сдержанность, следствие горького житейского опыта, и эгоизм как единственное верное оружие самозащиты в жизни. Остальные яркие черты характера Печорина: его чуткость ко всему поэтичному и его страстность – роднят его с другими любимцами Лермонтова – с теми молодыми мечтателями и обманувшимися идеалистами, с которыми мы встречались в юношеских драмах нашего поэта. Таким образом, тип Печорина соединил в себе два противоположных состояния в психике самого автора – приливы отзывчивого увлечения и холодного недоверия.

«У меня врожденная страсть противоречить, – говорит про себя Печорин, – целая моя жизнь была только цепь грустных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя». Это признание чрезвычайно важно. Печорин, очевидно, характер совершенно неустойчивый; он – неустановившийся человек в *покое*, человек порывистый, которого обстоятельства жизни и среда, даже простая случайность, могут натолкнуть совершенно неожиданно на самые противоречивые поступки и решения.

С самим Печориным, в котором автор сумел так искусственно уравновесить обе половины своей бурной души – ее энтузиазм и ее разочарование, – мы встречаемся в первый раз в 1836 году, в повести «Княгиня Лиговская». Эта повесть, как и юношеские драмы, носит, бесспорно, автобиографический характер, в чем можно убедиться, сравнив рассказ (хотя бы и очень подкрашенный) о воспитании Печорина, героя «Княгини Лиговской», и о его офицерской жизни, с теми сведениями, какие сохранились о юности и молодости самого автора[35].

Повесть не окончена, но один из основных мотивов «Героя нашего времени» сохранен в этом рассказе.

Молодой светский офицер, Григорий Александрович Печорин («Княгиня Лиговская»), когда-то был женихом одной особы,

вышедшей не по любви замуж за князя Лиговского.

Несмотря на свою молодость, Печорин – человек с богатым, по-видимому, прошлым, как все герои Лермонтова. Гордый, он любил играть роль; но эта роль давалась ему с трудом. Он «искал пьедестала, встав на который он мог бы заставить толпу взглянуть на себя», «он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить о себе легко; но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом». «У него прежде было занятие – сатира».

Эта сатира была не простой насмешкой, но отзывалась злостью и презрением, которые родились в гордой душе Печорина, вскормленные его замкнутой жизнью и недоверием к людям. Он чувствовал в себе избыток сил и считал себя вправе требовать, чтобы и другие оказывали этим скрытым силам должное почтение. Хотя на его лице были «глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущего», и «толпа говорила, что в его блестящих глазах есть что-то», – тем не менее, в обществе он не был замечен. Общество, свет и, главным образом, женские сердца – вот пока предмет его любви и вожделений. «Увлекаясь сам наружной красотою и обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, преувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин расчетом или случайностью. В том, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, он пренебрежительно видел приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения… но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем».

Рассказ «Княгиня Лиговская» должен был нас познакомить с этими победами; но он не окончен, и все, что мы знаем о Печорине с этой стороны, сводится к одному эпизоду – к интриге с замужней женщиной, которая была прежде его невестой, к глубокой затаенной любви героя и к его мести за оскорбленное самолюбие. Печорин, обманутый одной женщиной, вымещает свою злобу на другой, и вымещает очень некрасивым способом, более жестоким, чем его позднейший поступок с княжной Мери.

Для характеристики Печорина рассказ «Княгиня Лиговская» дает немного. Личность Печорина обрисована бледно, несмотря

на биографические данные, какими автор обставил его характеристику. Он – тип человека пока еще с неустановившимся характером, человека, в котором развивающийся эгоизм и пессимизм одерживают последние победы над умирающим прежним идеализмом.

V

Но годы взяли свое – и Печорин как «герой нашего времени» успел выработать несколько иную житейскую философию – хладнокровную и спокойную, к которой он не был склонен в Петербурге, в гостиной княгини Лиговской. Многое в жизни утратило для него прелесть и новизну; и он стал чувствовать необходимость покоя, который и нашел в пассивном примирении с жизнью. Печорин-романтик превратился в холодного и рассудочного человека.

Еще Белинский сказал про Печорина, что этот человек сам себя не понимает и нередко на самого себя клевещет. Этими словами критик хотел как будто загладить то неприятное впечатление, какое производит личность Печорина при первом знакомстве с нею. Действительно, читатель, расставаясь с книгой, выносит о герое очень нелестное мнение, как о холодном эгоисте, подчас жестоком и грубом. Все тонкие штрихи, какими автор оттеняет хорошие и мягкие стороны характера героя, как-то пропадают.

Говоря о Печорине, надо помнить, что мы имеем дело с человеком очень нервным и капризным, и поэтому мы заранее должны отказаться от мысли найти строгую последовательность в его речах и поступках. Человеку простому, каков, например, Максим Максимович, такая натура должна была показаться загадочной, а другому человеку все поведение Печорина может казаться просто фальшивой позой и умышленным кривлянием. Но если Печорин, действительно, загадочная натура, то во всяком случае позы, т. е. неискреннего проявления неиспытанного чувства, в нем нет. Он обладает только способностью совмещать в себе целый ряд противоречивых чувств, из которых каждое глубоко захватывает его душу.

Внешний вид Печорина и его поведение вполне соответствовали его странному темпераменту. «Стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными;… Его походка была небрежна и ленива, но… он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера… С первого взгляда на лицо его, – говорит автор, – я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность;… Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные… [Его

глаза] не смеялись, когда он смеялся!.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы показаться дерзким, если бы не был столь равнодушно-спокоен».

Такая внешность сама говорит за себя; она полна странных сочетаний и демонической красоты, как поступки героя полны капризов и неожиданности: «В дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха».

Нет сомнения, что личность героя была обаятельна, тем более что никто при встрече с ним не мог сказать наперед, что он услышит. Склонность к парадоксам и его сдержанность в разговорах еще более интриговали окружающих. Сам Печорин отлично понимал свое выгодное положение, и потому разговоры его были отрывочны и кратки. Если он долго и подробно беседовал с доктором Вернером, то лишь потому, что у автора не было другого средства познакомить читателя со своим героем. Со всеми другими лицами Печорин только перебрасывался словами. Скрытность осталась одной из черт его характера.

Несмотря на эту скрытность, на отрывочность парадоксов и сентенций Печорина, в романе Лермонтова много страниц, могущих служить обвинительными речами против героя.

Тот, кто пожелает видеть в Печорине холодного и жестокого эгоиста, найдет легко подтверждение своему мнению. Он укажет, прежде всего, на его цинично откровенные слова о любви и дружбе.

«Есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня

подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинить моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли эта сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности; идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

«Есть минуты, когда я понимаю вампира!.. а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия».

А что такое дружба в глазах Печорина? На этот вопрос он дает ответ вполне ясный: «Я к дружбе неспособен, – говорит он. – Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; – рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!» Едва ли найдется другое, более циничное определение дружбы!

Любовь и дружба – единственные чувства, о которых герой говорит откровенно и ясно. Остальные вопросы, какие жизнь ставит человеку, почти обойдены им молчанием. В одном месте он вскользь говорит о том, что вообще не имеет убеждений; в другом – бросает насколько скептических фраз о бессмертии души; в третьем – мимоходом упоминает о своем безотрадном будущем.

Из тех выписок, которые мы привели, можно видеть, что Печорин, если верить его словам, один из самых черствых эгоистов, для которого все чувства обязательны лишь постольку, поскольку они доставляют ему личное самоуслаждение. Нравственного закона, по-видимому, для него не существует. Но если этот нравственный закон был, действительно, для него не обязателен, то в самой его природе были нравственные черты,

которые невольным своим проявлением опровергали высказанные им сентенции. Разум диктовал ему одно, а сердце иногда подсказывало совсем иное.

Начнем хотя бы с его любовных похождений, которым отведено в романе такое видное место. Этот человек, понимающий любовь в достаточно циничном смысле, бывает в любви и нежен и искренен.

Сколько искренней непосредственности, например, в его отношениях к Бэле. Человек спокойный и хладнокровный, он теряет всякую выдержку, столкнувшись с этой женщиной. В нем говорит далеко не одно животное чувство. Максим Максимович был прав, опасаясь за его жизнь после его тщетной попытки окончательно овладеть своей пленницей. Но, конечно, дикая и нехитрая натура этой женщины не могла надолго занять ум и чувства нашего героя. Он сам в этом признавался: «Когда я увидел Бэлу в своем доме, – говорит он, – когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою… Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни;… если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с ней скучно…»

Это признание гораздо симпатичнее и честнее, чем те пышные эгоистические тирады, какими щеголял герой в своей беседе с читателем. Что он в данном случае не лгал, а говорил правду, тому служит доказательством его искренняя печаль после смерти уже нелюбимой им женщины. Предсмертные слова Бэлы «он слушал… молча, опустив голову на руки», но только во все время Максим Максимыч «не заметил ни одной слезы на ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою… но только жальче его никогда никто не был».

То же неспокойное состояние духа, при видимом спокойствии, заметно и в его отношениях к княжне Мери; его зарождавшаяся любовь к ней была, однако, несравненно слабее и рассудочнее, чем любовь к Бэле. Печорин, как и сам автор, ощущал сильную потребность в любви. Несмотря на аффектированное равнодушие к женскому полу, он сам говорит о себе по этому поводу: «Я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими, даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..»

Романтизм исчезал постепенно, и жажда спокойной, ровной

жизни сказывалась в Печорине, как и в самом авторе.

Такую ровную и глубокую привязанность Печорин нашел в Вере, но это, однако, не помешало ему чуть не влюбиться в княжну Мери. Несколько раз он спрашивает себя: не влюбился ли он в самом деле в эту княжну, которую он сначала только сердил и интриговал. «Неужто я влюблен?.. – говорил он, – Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать». «Некстати было бы мне говорить о них [женщинах] с такою злостью, мне, который, кроме их, на свете ничего не любит, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью… Женщины должны были бы пожелать, чтобы все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их в сто раз больше с тех пор, как я их не боюсь и постиг их мелкие слабости».

Печорин, действительно, способен на глубокую любовь, несмотря на все свои афоризмы и позы. Пример такой любви – его отношения к Вере[36]. В этой любви, кроме сознания нравственного долга, есть очень живое чувство. Воспоминания прошлого сохраняют обязательную силу над сердцем героя, но не они одни оттесняют на задний план все его новые увлечения. Сила этих воспоминаний и сознание своей вины перед Верой подкреплены искренней привязанностью, и перед ней умолкают и сарказм, и эгоизм Печорина. Сдержанный светский лев становится, как Демон, мягким и нежным любовником: «Сердце мое болезненно сжалось, – говорит Печорин после свидания с Верой, – как после первого расставанья. О, как я обрадовался этому чувству! Уже не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, – на память?.. А смешно подумать, – добавляет он, как бы невольно чувствуя прилив молодых сил, – что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит…»

Автор рассказал нам слишком мало об этих сердечных отношениях между Печориным и Верой, но не подлежит сомнению, что такое покорное и нежное отношение к больной и умирающей женщине говорит в пользу этого с виду жестокого и холодного человека. Вспомним, например, ту сцену, когда Печорин после прощанья с Верой плачет как ребенок, почувствовав в себе новый, неиспытанный еще прилив жалостной любви[37].

Под внешним хладнокровием и презрительным отношением ко всем и ко всему в Печорине, кроме того, кроется глубокая поэтическая натура. Автор уделил ему и в этом частичку своего собственного сердца.

Трудно найти человека, который был бы так восприимчив к красотам природы, как Печорин. Созерцание природы – для него момент духовного обновления. «Весело жить в такой земле, – говорит наш герой о Кавказе. – Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, – чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сомнения?» «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко: усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».

Человек, который способен так понимать и чувствовать природу, который способен до самозабвения погружаться в созерцание ее красоты, – не может назваться сухим и черствым.

И Печорин сохранил способность сердечного отношения к окружающему во все те моменты, когда он чем-нибудь взволнован. Волнение выводит его из того искусственного холодного равновесия духа, какое он поддерживал в себе усилием мысли и насилием над своей природой.

Действительно, его внешняя холодность является иногда прямым результатом остроты и силы его ума: «Мы знаем заране, – говорит Печорин, – что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим, мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово – для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тайную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть». При таком ясновидении вероятность увлечений и воодушевления, естественно, должна уменьшиться. Человек очень умный и проницательный нередко может показаться холодным, тогда как, в сущности, этот холод очень далек от равнодушия и еще дальше от неспособности понимать и чувствовать.

Иногда Печорин делает усилие над самим собою, чтобы сохранить или поддержать в себе рассудочно-холодное отношение к окружающему: «Я стал неспособен к благородным порывам, – говорит он, – я боюсь показаться смешным самому себе». Не этот ли страх перед смешным заставлял подчас

Печорина принимать различные разочарованные позы, как любовь к эффекту заставляла принимать те же позы Грушницкого?

И сам герой сознавал двойственность своей загадочной натуры. Он не мог отрицать в себе добрых альтруистических чувств, хотя на каждом шагу мог видеть в своем поведении проявление чувств, им прямо противоположных. Смутное ощущение, что он, в сущности, вовсе не эгоист и способен на «благородные порывы», никогда его не покидало; и, как нередко делал сам Лермонтов, Печорин отнес расцвет всех этих чувств к годам детства и обвинил окружающих людей в том, что они загубили добрые семена в его сердце. Этот способ оправдания самый легкий, но он показывает тем не менее, что потребность в таком самооправдании жила в душе Печорина. Приведем одну из таких оправдательных речей Печорина, которую он частями заимствовал у своего родственника Александра Радина:

«Да! – говорит Печорин. – Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали – и они родились… Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли; я стал злопамятен; я был угрюм – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное, отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины…»

Быть может, в этой исповеди много правды, но она все-таки не оправдывает героя; и сам Печорин сознавал слабость такой аргументации, когда за несколько часов до дуэли, готовясь к смерти, писал следующие строки: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться… Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче… но только проснулся, мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства; ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!»

В этом признании готовящегося к смерти человека больше искренности, чем в предыдущем. Здесь сам Печорин, не взваливая вины на других, принимает всю ответственность на себя и, не отрицая в себе присутствия благородных стремлений и чувств, подчеркивает их бесполезность и бессилие. Загадочный характер такого «сильного бессилия» и такой «инертной энергии» Печорин объясняет пустотой своих стремлений и страстностью своих чувств, направленных в дурную сторону.

Но, указывая верно причину и источники своей болезни, герой не задает себе однако вопроса: излечима ли эта болезнь или нет? Он как будто помирился с мыслью, что путь его жизни вполне определен, что от будущего ему ждать больше нечего, что духовные силы в нем навсегда подавлены и больше не проснутся. Эта уверенность должна нам показаться странной, тем более, что некоторые эпизоды из жизни Печорина должны были убедить его самого в обратном. Сила любви, гордость и ум, которые он мог сам в себе подметить и которые, действительно, отмечал в своем дневнике, должны были показать ему, что в нем самом кроется возможность перестроить свою жизнь на иной лад и духовно возродиться. Как он, умный человек с твердой волей, не увидал этой возможности перерождения – этого единственного исхода из

тяготившего его положения?

VI

Виноват в данном случае Лермонтов, а не Печорин. Поэт дал в Печорине не цельный тип, не живой организм, носящий в своем настоящем зародыши своего будущего, а очень реально обставленное отражение одного лишь момента в своем собственном духовном развитии. Утомленный бесплодной борьбой с одними и теми же вопросами, Лермонтов в период создания «Героя нашего времени» пришел к безотрадному решению – отбросить все эти вопросы в сторону, не обуздывать себя ни в дурных, ни в хороших стремлениях и дать полную волю всем гнездившимся в нем противоречиям. Таким образом, из судьи он стал на время бесстрастным созерцателем этого странного поединка одной половины своей души с другой.

Как плод этого наблюдения и родился тип или, вернее, образ Печорина. Противоречия, свойственные энергичному человеку, явились соединенными в одном узле, в одном лице, правдиво схваченном в частностях, но в целом произвольно скомпонованном. Такие противоречия, с какими мы сталкиваемся в личности Печорина, могли быть уравновешены и скреплены между собою лишь при одном условии – при полном отсутствии в герое каких бы то ни было сильных волнений, требующих внимательного нравственного надзора над самим собою, т. е. при отсутствии всех тех вопросов, над которыми Лермонтов трудился всю жизнь до изнеможения. Новое столкновение с этими вопросами должно было неизбежно поднять в душе Печорина целую бурю, резко столкнуть все противоречия его природы и не позволить им существовать совместно в одном и том же человеке. Перед ним должен был тогда стать вопрос об излечимости его болезни; и на этот вопрос, если судить по намекам, рассеянным в романе, герой дал бы скорее утвердительный, чем отрицательный ответ.

В самом деле, что поддерживало и питало в Печорине его безотрадное состояние духа?

Разочарование и тоска Печорина далеко не так сильны, чтобы сделать его совершенно безучастным ко всему окружающему; гордость и самомнение не настолько овладели им, чтобы поставить его вне всяких сношений с ближними. Его ум и сердце не настолько сосредоточены на нем самом, чтобы убить в нем способность интересоваться людьми и их поступками. Печорин обладает всеми данными, чтобы попытаться стать к окружающей жизни в нормальное положение, нет только одного – нет *желания* сделать этой попытки, которая может потребовать от него

усиленной умственной и нравственной работы. Для Печорина никаких вопросов жизни не существует: он *самовольно* отбросил их, не овладев ими сразу. Упорный труд над их разрешением, труд теоретический и практический, утомил его, и он покончил с задачей, перестав о ней думать. Он последовал за течением жизни, не делая попытки направить ее в ту или другую сторону; и по мере того, как сама жизнь наталкивала его на те или другие чувства и мысли, он отдавался им, и потому всегда сам себе противоречил.

В сущности, для Печорина не существует никаких вопросов жизни, ни отвлеченных, ни религиозных, ни национальных, ни общественных, ни нравственных. От вопросов философских и религиозных, когда они набегают, Печорин отделывается двумя-тремя словами самого общего характера; он бросает какую-нибудь мысль и не дает себе труда о ней подумать. Осмыслить жизнь на почве веры или умозрения он не пытается. Вопрос национальный и общественный сводится для него к формализму службы. Он носит мундир и исполняет что ему приказано, чем и исчерпываются его обязанности относительно родины. У него нет и других каких-либо понятий об общественных обязанностях умного и интеллигентного человека; на почве сознательного труда он не может достигнуть соглашения с жизнью и потому пассивно мирится со своим положением. На нравственных вопросах наш герой также останавливается лишь при случае; и мы видели, что его афоризмы о любви, дружбе и эгоизме не вполне оправдываются его поведением. В общем у Печорина нет определенной нравственной программы. Все его речи и поступки – дело минуты; и он сам сознавал это, когда говорил, что «присутствие энтузиаста обдает его крещенским холодом, а частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из него страстного мечтателя».

Такая бесцельная и беспринципная жизнь для умного человека на долгий срок немыслима, и сам Лермонтов доказал это, принявшись, тотчас же после создания «Героя нашего времени», за пересмотр всех тех вопросов, которые отстранил от себя в лице Печорина.

Мы знакомы уже с последними стихотворениями поэта; и теперь, сравнивая их с афоризмами Печорина, мы должны снова подчеркнуть их резкое противоречие. Насколько тревожны и сильны по мысли эти стихи последних двух лет, настолько парадоксальны, бесплодны и пассивны мысли и чувства «героя нашего времени». Автор, всегда субъективный в своем творчестве, мог остановиться на таких чувствах и мыслях, конечно, лишь мимоходом. Его энергичная природа через год после выхода

книги в свет признала Печорина «порочным» и заслуживающим сожаления. Лермонтов так быстро сошел с той позиции, на которой стоял его герой, что возврат к ней стал немыслим, и роман остался неоконченным. Автор должен был коренным образом видоизменить психический мир своего героя, чтобы сделать этого человека способным к какой-нибудь дальнейшей сознательной деятельности, точно так же, как он должен был сам побороть в себе печоринское пассивно-беспринципное настроение, чтобы написать произведения последних двух лет своей жизни.

А этим печоринским настроением, действительно, был охвачен сам автор, как видно из следующего искреннего признания Печорина – признания, в котором каждый прочтет личную исповедь поэта.

«У меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто… Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно… Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанью и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду… во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави Боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию – авось где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог».

Тип Печорина был, как видим, реально обрисованным

олицетворением одного переходного момента в жизни самого автора, именно того момента, когда борьба враждебных начал в его характере, борьба идеалов и сомнений была им насильственно подавлена полным равнодушием ко всем вопросам высшего порядка.

VII

Несмотря на то что этот тип был скорее типом единичным, чем собирательным, он пришелся по вкусу тогдашнему обществу и очень ему понравился. Печорин не стал «героем» своего времени в тесном смысле этого слова; но люди того времени могли иногда принимать его за своего героя, и по весьма понятным причинам. Тип был обрисован очень заманчиво; ум и благородство Печорина производили впечатление; его печаль и раздумье трогали читателей, а внутренняя пустота и растерянность героя перед трудными вопросами жизни были искусно прикрыты эффектной внешностью. Те из читателей, которые были неравнодушны к одной лишь красивой позе, легко могли перенести свои симпатии с туманных героев Байрона на Печорина, заменив истрепанный и обветшавший костюм новым.

Люди более серьезные, со своей стороны, также нашли в Печорине нечто родственное их сердцу.

Русская жизнь 30-х годов XIX века поставила многих умных людей в одинаковое с Лермонтовым положение. Для них была одинаково трудна задача примирения идеалов с жизнью, при все возраставшем общественном сознании. Многие, как Лермонтов, могли утомиться в этой трудной погоне за идеалами, к достижению которых путь был совершенно не расчищен. Отчего не предположить, что им могла, хотя на короткий срок, быть по сердцу пассивная и безотрадная житейская философия Печорина? Чем богаче запас духовных сил умного человека, тем безотраднее момент его душевной усталости, когда он в этих силах начинает сомневаться. В 30-х годах такие моменты усталости у людей умных и даже более развитых, чем Лермонтов, были не редкостью. Жизнь стала требовать сознательного и строгого к себе отношения; ее разрозненные явления нуждались в обобщении; она налагала на умного человека нравственные обязательства, понять которые и точно разграничить было делом очень трудным. Эпоха была в полном смысле слова переходная: мысли и деяния враждовали друг с другом. Человек либо начинал действовать, не оправдав раньше разумом своих поступков, либо с готовым и цельным миросозерцанием сидел без дела, по причинам, от него не зависящим. Такое несогласие между умом, сердцем и жизнью могло временами приводить людей к апатии, и человек, сохраняя свою гордую и умную внешность, переставал на время принимать живое участие в жизни, предоставляя себя в полное распоряжение ее случайностей.

Печорин мог быть и понятен, и симпатичен многим

современникам; но он все-таки «героем» своего времени назваться не может. Он не был настоящим цельным и живым типом: он отражал лишь один момент в истории одного живого развивающегося характера – момент знаменательный, но недолго длящийся; он не был Онегиным своего времени.

VIII

Образ Онегина принято сближать с личностью Печорина. Такое сближение может быть допущено, если считаться лишь с внешностью этих двух лиц; по внутреннему же своему складу эти люди имеют мало общего. Онегин, прежде всего, вполне сложившееся лицо, с установившимися взглядами и вкусами, Печорин – лицо неустановившееся, с возможностью вполне изменить и образ своих мыслей, и свое поведение. Онегин – вырождающийся тип того самодовольного кружка молодежи александровской эпохи, которая долго жила в согласии со своими благодушными и сентиментальными идеалами. Жизнь Печорина – страница из жизни нового поколения, не имеющего пока никаких прочных идеалов, но лихорадочно работающего над выработкой их. Онегин – прозаик в полном смысле слова, заедаемый скукой от безделья, неизбежного и естественного в его положении; Печорин – страстная натура, осудившая себя на безделье произвольно и потому скучающая до поры до времени, но цепляющаяся за каждый случай, чтобы рассеять эту скуку. Онегин – скучный моралист, читающий проповеди и ищущий в книжках подтверждения и объяснения своим чувствам. Печорин – враг всяких наставлений и всякой книжки; он – живая натура, и он всего больше боится быть похожим на кого бы то ни было, хотя бы даже на Байрона. Онегин, при всем своем уме, покорный раб своих неглубоких страстей; Печорин, при несравненно более страстной природе, покорный слуга своего ума, который должен держать в равновесии его пылкое сердце.

Оба героя пали духом: младший, устав в борьбе, озлобленный и страстный, отдыхает на время в пассивном бездействии; старший, скучающий и разочарованный, переносит себя с одного места на другое, чтобы хотя с виду разнообразить свое бездействие, на которое он бесповоротно осужден своим миросозерцанием, износившимся и не допускающим обновления.

Онегин не мог стать Печориным, как и Печорин преобразиться в Онегина. В природе Онегина нет зародышей для будущего развития; в Печорине их временное отсутствие зависит от доброй воли самого героя. В одном дан сложившийся тип, в другом отражено переходное состояние развивающегося характера.

Личность поэта

I

С думами Лермонтова мы теперь знакомы, равно как и с мотивами его поэзии.

Кто же он как человек, как личность? Родником его печали и его душевных тревог была – мы знаем – неустанная работа над труднейшими этическими проблемами жизни. Какими же природными склонностями и дарами – кроме поэтического – располагал он для решения такой задачи?

Лермонтов был прежде всего человек с природным меланхолическим складом души. Откуда взялась эта меланхолия – вопрос неразрешимый; несомненен факт, что с детских лет и до зрелого возраста поэт предпочитал грустные мотивы веселым и с любовью останавливался на всех чувствах грустного оттенка. И когда он впервые начал приглядываться к жизни, он отнесся к этой новинке не с детской легкостью и доверчивостью, а с известным недоверием и страхом, так как в силу врожденной ему меланхолии предугадывал и предвосхищал ее печальные и безотрадные стороны. Он именно предугадывал их, так как его личный житейский опыт был весьма беден.

Из этой меланхолии вытекла и ранняя серьезность. Всякий, даже мелкий вопрос жизни принимал в глазах поэта преувеличенные размеры.

Вторым врожденным даром была сила фантазии. Эта живость мечты находилась также в прямой связи с меланхолическим темпераментом поэта и его замкнутой жизнью. Энергия, стесненная в жизни, вознаграждала себя в мечте. Жажда великих подвигов, жажда свободы и счастья кружили голову. Поэт рисовал себе все – и добро, и зло, и печали, и радости – в размерах преувеличенных. Мечта опережала жизнь, и мечта истолковывала жизнь, и трезвое взвешивание желаемого и возможного было для поэта задачей непосильной. «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей», – говорил он, забывая, что жизнь никогда не отделяет так резко торжества от гибели.

Даром природы был и острый ум, беспощадно обсуждавший и разлагавший все ощущения и чувства. В стихах Лермонтова редко можно встретить вполне свободный порыв чувства. За каждым чувством следом шла рефлексия и не давала поэту покоя до тех пор, пока обаяние чувства не уничтожалось, пока поэт не убеждался в том, что он самовольно разукрасил воспринятое впечатление, что на деле не существует ничего столь обманчивого, как те розовые и приятные краски, в каких человек рисует себе и людей, и свою собственную судьбу.

Лермонтов – мы помним – поэтически пояснил нам эту печаль своей души в стихотворении «Морская царевна». Идеал красоты в мечтах и в надежде и чудище при дневном ярком свете – разве это не поэтический символ борьбы мечты и рассудка, борьбы, в которой изнемогал поэт? И этот поэт был к тому же большой сангвиник и волю в жизни ценил весьма высоко. «Воля, – писал он, – заключает в себе всю душу; хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться – жить, одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего создает чудеса… о если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..»

Природа одарила Лермонтова, как видим, такими дарами, такими склонностями, которые заранее исключали всякое мирное соглашение с жизнью. В самом деле, меланхолия поэта делала его более восприимчивым к мрачным сторонам жизни, чем к веселым, и потому заставляла его не ценить тех, хотя бы и скоропреходящих наслаждений, какие на земле дано испытать человеку. Необузданность и сила фантазии, со своей стороны, разукрашая мечту насчет реальности, уносили поэта в заоблачный мир видений, которые должны были разлетаться, как туманы, при первом столкновении с действительностью и потому оставляли в его душе один лишь горький осадок и ненависть к мелочной и бледно-прозаической жизни. Чего не успевала отравить меланхолия и чего не успевала исказить своевольная мечта, то добивал рассудок своим беспощадным анализом – и это в человеке, одаренном сильной волей и на пассивную жизнь совсем неспособном. Вся радость жизни, вся готовность увлекаться безотчетно и находить в этом увлечении силу для работы пропадали и погибали среди постоянной борьбы, какую вели в душе поэта его меланхолия, мечта и рассудок.

Казалось бы, что человеку с такой психической организацией изыскивать соглашение с жизнью и с людьми было бесполезно. Всякий другой человек с менее развитым нравственным чувством при таких природных задатках или совсем отвернулся бы от жизни или стал бы к ней в явно враждебное положение. Лермонтов не сделал ни того, ни другого. Он не замкнулся в узком круге мечтаний, не улетел от земли в область чистых видений или логических выкладок, он не навязывал себе насильно какого-нибудь успокаивающего миросозерцания, ни эстетического, ни религиозного, но он также не отвертывался от жизни со злобой, не враждовал с ней как таковой, т. е. не стал мизантропом и пессимистом в строгом смысле этого слова.

Вражда Лермонтова с жизнью была враждой не принципиальной, а только временным раздражением вследствие неудачных и неудовлетворявших его счетов с нею. Он изо всех сил боролся, выясняя себе этический смысл жизни, желая проникнуть в ее глубину и найти в ней оправдание своему высокому пониманию ее цели и назначения. Несмотря на то, что природные его склонности постоянно ссорили его с людьми, Лермонтов тем не менее не переставал по-своему любить людей, и за все короткое время своей жизни пытался стать к ним в такое отношение, какое могло бы быть оправдано его нравственным чувством.

И в какие только положения не становился к людям этот искатель нравственной истины!

II

Когда в ранней юности поэт грустил и мечтал, проклинал изменившую ему любовь и дружбу, думал о том, что он призван свершить что-то великое, что он не простой человек, а избранный, что люди его не понимают и печаль его для всех загадка, – он отчужденное одиночество считал самым законным положением в кругу ближних. В таком отчужденном отношении к жизни и к людям стоит его Демон. Этот первый итог житейской мудрости был, конечно, односторонен и слишком поспешно выведен.

Прошли года, и житейский опыт Лермонтова увеличился; меланхолия его обострилась, фантазия по-прежнему напряженно работала; но ум стал глубже вникать в окружающее, а также и в душу поэта. Жизнь текла по-прежнему однообразно, и у юноши было много времени и случаев упорно думать над задачами жизни, которая теперь начинала пред ним развертываться. Он стал мотивировать свою печаль и подыскивать ей объяснение. Он коснулся семейного вопроса в своих юношеских драмах, вопроса национального в «Измаил-Бее» и социального в «Исторической повести». Он думал над всевозможными этическими вопросами – и, где только мог, выискивал против людей разные обвинительные документы – и в семье, и в обществе, и на страницах истории. Приглядевшись пристальнее к людям, он пришел к выводу, что человек должен прежде всего позаботиться о себе самом и оградить себя от всех волнений и страданий, чтобы иметь известный запас сил для борьбы и быть счастливым. Подводя второй раз итог пережитому и перечувствованному, Лермонтов признал *эгоистическое* отношение к жизни за самое разумное.

Такой печальный вывод также не мог удовлетворить Лермонтова, тем более что, покинув Москву и переехав в Петербург, он попал в новую обстановку, веселую и жизнерадостную. Поэт на первое время отдался всей душой этим новым впечатлениям. Но увлечение продолжалось недолго. Тип Арбенина в «Маскараде» показывает, что в вопросе о соглашении с жизнью поэт за это время был еще большим пессимистом, чем раньше. И Лермонтов стал к жизни в положение не только эгоистическое, но и *враждебное*. Его герой не удовлетворился невниманием и презрением к людям, он мстил им, открыто с ними враждовал и губил их. Очевидно, поэт, увлекшись на короткий срок новизной своего положения, испытав вновь целый ряд разочарований и убедясь еще раз в полной дисгармонии своих идеалов с действительностью, хотел мстить и жизни, и

людям, признав враждебное к ним отношение за желаемое и необходимое.

Но и с миросозерцанием Арбенина Лермонтов не мог примириться. Он счел нужным видоизменить поспешно сделанный вывод и в типе Печорина существенно видоизменил его. От враждебного отношения к людям он перешел к отношению вполне *индифферентному*.

Поэт очень скоро сошел и с этой позиции. Его энергичная натура не могла поладить с типом, в котором воплощались равнодушие и насильственное подавление в себе всякого симпатичного отношения к человеку.

В последние годы своей жизни Лермонтов принялся вновь за пересмотр всех тех вопросов, которые он отстранил от себя в лице Печорина. Во многих из его последних стихотворений начало проглядывать новое отношение, в какое поэт попытался стать к жизни. Этот новый взгляд на мир можно назвать взглядом *грустно-смиренным*, отчасти *религиозным*. Очевидно, душевные бури истомили Лермонтова, и потребность примирения начинала пересиливать в нем все титанические порывы его сердца. Смерть поспешила развязкой, и Лермонтов не успел закрепить в художественном образе того нового вывода, который стал ему казаться разумным. Можно, однако, с уверенностью сказать, что на религиозном примирении с жизнью поэт вряд ли бы остановился: для такого религиозного мира в его натуре было слишком мало задатков, и религия во всю его жизнь была для него скорее поэтическим настроением, чем настоящей верой.

Итак, вся жизнь Лермонтова, начиная с детского возраста, была постоянной тревожной борьбой ума и сердца, идеалов и действительности, поэзии души и прозы обстановки. Природные склонности его характера делали все попытки примирения мучительными и напрасными. Разочарованный, озлобленный и грустный, Лермонтов торопился со своими приговорами; он говорил об отчужденности, эгоизме, вражде и индифферентизме как о самом верном щите, которым человек может оградиться в борьбе с ближними. Но сам поэт признал все эти образцы житейской философии негодными, так как ни на одном из них долго не останавливался и от каждого поспешно отвернулся. Не должно отожествлять поэта с кем-либо из созданных им героев. Они – продукт его нервной фантазии и его поспешных обобщений. Их житейская мудрость относится к мировоззрению самого автора, как наскоро данный парадоксальный ответ к долгому, пытливому обдумыванию предмета, которым человек еще не овладел и с которым не свыкся.

III

Поэт, всею жизнью которого управляли меланхолия, экзальтированная фантазия и беспощадный ум, не мог не устать и не озлобиться. Нервность Лермонтова должна была временами искажать в нем правильный и хладнокровный взгляд на вещи, должна была побуждать его торопиться со своими выводами, так как всякий раз, когда поэту удавалось бросить такой поспешный вывод на бумагу, в лице того или другого героя, ему самому становилось легче, и он на некоторое время успокаивался.

Если несимпатичность многих героев Лермонтова находит себе объяснение и оправдание в природной организации самого поэта, то такое же объяснение найдут себе и несимпатичные стороны его собственного характера. Мы должны снисходительно взглянуть на некоторые некрасивые внешние проявления этого сильного духа. Природа, наделяя человека особенно чуткой нервной восприимчивостью и слишком острым умом, отнимает у него иногда, за счет этих даров, некоторые мягкие стороны характера, как бы боясь, чтобы эта мягкость не парализовала главной духовной силы такого человека – его строгости к себе и к другим, его вечной неудовлетворенности, его неустанного стремления.

Лермонтов не был мягкой натурой – он, как Байрон, принадлежал к числу натур строгих, иногда суровых, и с виду даже жестких.

Он, говорят нам, иногда бывал не в меру самолюбив, любил играть роль, был скрытен, злостен и резок в обращении с людьми, насмешлив, падок на интриги, а главное, не любил людей. Отвечая на эти обвинения, не забудем, прежде всего, что сведения о характере Лермонтова и о его личности очень скудны и отрывочны; они не определяют нам, в какой степени характер поэта был испорчен всеми этими недостатками, и делают поэтому рассуждения на такую тему очень шаткими. Если предположить даже, что за исключением последнего недостатка, а именно нелюбви поэта к людям, все остальные недостатки, действительно, ярко проступали в характере и в поведении Лермонтова, то мы все-таки должны оправдать их. Они частые спутники многих резко выдающихся личностей, личностей властных, сознающих свое преимущество над другими и – главное – поставленных среди массы, которая этого преимущества ни понять, ни признать не хочет.

Что же касается нелюбви поэта к людям, то это взводимое на него обвинение противоречит всей его жизни как поэта и

мыслителя.

Лермонтов никогда не был проповедником какой-либо положительной истины, глашатаем каких-либо ясных и установившихся убеждений, так как сам не имел их. Естественно, что у него не было и того восторженного и уверенного тона, каким всегда отличается речь убежденного человека. Он не распинался перед людьми за свои мысли, не вербовал никого в пользу какого-нибудь учения, даже не говорил с людьми доверчиво, от чистого сердца, так как не было еще истины, за которую он мог бы пожертвовать жизнью, не было предмета, о котором он мог бы доверчиво и открыто беседовать. Единственным предметом его бесед с другими был его собственный душевный разлад, и надобно было иметь много откровенного доверия к людям, чтобы на их глазах так беспощадно казнить собственное сердце, как это делал Лермонтов. Субъективизм Лермонтова в его поэзии, постоянный возврат к своему собственному «я» признается иногда за красноречивое доказательство его гордости и эгоизма. Но не есть ли эта строгая и правдивая исповедь поэта прямое доказательство обратного – его симпатии к людям? И не потому ли мы так любим Лермонтова, что видим в нем человека, который в себе самом казнил наши грехи и недостатки и призвал нас всех быть свидетелями этой казни?

Источником всех душевных терзаний поэта было чувство, от всякого эгоизма и самолюбования весьма далекое.

IV

В самом деле, как бы строго мы ни отнеслись к Лермонтову как к человеку, но мы должны признать за его словами одну неизменную стоимость. Эти слова были всегда плодом *неустанного раздумья человека над своим чувством к ближнему.*

Нет сомнения в том, что стихи Лермонтова – правдивый отголосок истинных и глубоких душевных страданий. Везде: и в поэмах, и в романах, и в стихах – слышится нота грусти и отчаяния, покрываемая иногда лишь песнью гнева. Ни радости, ни восторга не встретим мы в поэзии Лермонтова – и это исключительное господство печальных мотивов объясняется, помимо врожденной склонности поэта к ним, также и той тяжелой душевной тревогой, какую он испытывал всю жизнь при неспокойной своей совести. Лермонтов никогда собой доволен не был, ему всегда казалось, что вся его жизнь – неосмысленное и бесцельное явление, стоящее в прямом противоречии с тем высоким представлением о ней, которое очень рано сложилось в его уме и сердце; и на свою литературную деятельность Лермонтов смотрел также очень недоверчиво и грустно.

Поэт страдал оттого, что не мог найти цели и назначения ни своей жизни, ни своему творчеству. Но в чем же первопричина такого мучительного, неудовлетворенного состояния духа, причина, не позволившая Лермонтову остановиться ни на одном каком-нибудь произвольном решении тревоживших его вопросов и заставлявшая его постоянно думать над задачей своей жизни, над своим великим призванием, над необходимостью найти себе в окружающей среде и место, и дело? Этот первоисточник душевных страданий поэта – чувство ответственности перед жизнью и сознание своей неразрывной связи с теми, чьи печали и радости эту жизнь наполняют. А что такое это чувство ответственности, как не чувство любви, в глубоком, тайном смысле этого слова?

V

Люди, говорившие о роднике загадочного настроения Лермонтова, его злобных выходок, его пессимизма и разочарования, нередко расходились в своих суждениях.

По мнению одних, Лермонтов ссорился с людьми потому, что его симпатии влекли его к небу, «к звездам». Он был недоволен и печален, потому что желал обменять, как можно скорее, земное существование на небесную жизнь. Его прельщала гармония небес, их мир и спокойствие, их совершенство, и он отворачивался с негодованием от земли, где все было так противоречиво, несовершенно, тревожно и низменно.

По мнению других, Лермонтов был печален и недоволен именно вследствие своей чрезмерной любви ко всему земному и малой симпатии к духовному. Он был самолюбив и горд, его тщеславие и самолюбие требовали себе поклонения и жертв, его гордость – постоянного успеха, а энергия и живость характера – постоянных новых впечатлений. Однообразие жизни, среди которой жил поэт, некрасивая его внешность и неприветливый прием, встреченный им в светском обществе, рассердили его и озлобили против людей и самого себя. Он искал в жизни наслаждений и был обманут, а примириться с этим обманом и покориться необходимости он был не в состоянии, так как духовного элемента в его природе было слишком мало; и он не мог стать выше треволнений жизни.

И тот и другой взгляд на Лермонтова едва ли справедливы, так как они не находят себе подтверждения ни в его жизни, ни в его стихах.

Если признать противоречие между мечтой о небе и ощущением житейской прозы за родник поэзии Лермонтова, то конечное разрешение душевных волнений поэта должно было лежать в успокоении его мятежной души в религиозном или эстетическом созерцании. Только в этом смысле можно понимать это мнимое тяготение Лермонтова к «небу». Отвертываясь от земли как от преходящего, противоречивого, несовершенного и тревожного, т. е. считая земную жизнь за отрицательный полюс человеческого существования, поэт естественно должен был противоположный ей полюс принять за положительный, совершенный и гармоничный. Одно только погружение человека в религиозное или эстетическое созерцание жизни могло удовлетворить такому понятию о желаемом существовании, одно только оно могло дать настоящее успокоение такому сердцу, которое заранее делило существование человека на две жизни –

на не стоящую любви жизнь земную и жизнь небесную, где все – покой и блаженство. Мы знаем, однако, как слабо и неустойчиво сказалось такое религиозное и эстетическое настроение в стихах Лермонтова. Религия в поэзии Лермонтова не только не является решением каких бы то ни было вопросов жизни, она сама составляет для нашего поэта вопрос, к которому он всегда подходит со страхом и на который не дает никакого положительного ответа. А созерцание красоты для него – лишь короткий момент отдыха между сменяющимися нравственными тревогами.

Несправедлив и противоположный взгляд, который готов видеть в Лермонтове почти исключительно земную, чувственную натуру, с малыми духовными запросами. Понимать разлад Лермонтова с жизнью как следствие неудовлетворенного самолюбия и жажды осязаемого счастья или неудавшейся погони за наслаждениями – значит слишком просто истолковать и человека, и его творчество. Если Лермонтов и бывал недоволен своей светской жизнью и вообще своей внешней ролью в обществе, то только потому, что все эти внешние блага жизни совсем не удовлетворяли его «духовной» природы и не соответствовали тому представлению о деятельной жизни, какое сложилось в его уме с детства, когда его тревожил вопрос о его призвании и когда он дал обещание «любить земные страдания и не оставлять их» ни ради мечтаний о небе, ни ради земных удовольствий и благ.

Сопоставляя далеко не печальную жизнь поэта с печальными мотивами его поэзии, мы должны признать, что это противоречие получилось как следствие принципиальной розни, существовавшей между внешним обликом его жизни и его думами. Если бы беспечная и веселая жизнь, какую Лермонтов вел в Петербурге и на Кавказе, приближала его к тому эпикурейскому идеалу счастливого и ни в чем не стесненного существования, какой иногда хотят навязать ему, то пессимизм и недовольство должны были бы уменьшаться в поэте как раз в той степени, в какой возрастала для него возможность и веселиться, и пользоваться успехом. Мы видим, однако, совсем обратное – чем веселее была жизнь поэта, чем виднее становилось его положение в обществе, тем печальнее и безотраднее было его миросозерцание. Очевидно, что источник душевных страданий Лермонтова заключался далеко не в ненасыщенном самолюбии или неудавшейся погоне за счастьем.

И потому мы будем ближе к истине, если предположим, что родником страданий Лермонтова была его недремлющая совесть, твердившая ему неустанно, что его жизнь не соответствует его

идеалам, его творчество – высокому понятию о поэзии, его отношение к людям – тому нравственному чувству, какое поэт ощущал в себе, но никак не мог оформить и философски обосновать.

Еще на восемнадцатом году жизни Лермонтов писал:

Видали ль вы, как хищные и злые,
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные,
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце – и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Лишь дунет вихрь – и сломится лилея;
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он:
Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!

С пыткой Прометея имеет известное сходство и творчество Лермонтова. Не для себя одного хотел он украсть огонь с неба, и великий урок могли вычитать люди из его страданий.

И в этом смысле Лермонтов был истинный сын того XIX века, который поставил этическую проблему жизни в центр всего мироздания и так интенсивно трудился над ее решением. Работа Лермонтова над самим собой была частичным проявлением одной общей работы, занимавшей умы и сердца всего культурного мира.

Сила идей не знает преград, и никто не может определить или предусмотреть, как та или другая идея овладевает человеком: она пускает ростки иногда там, где мы менее всего могли бы ожидать этого. Кто мог предположить, что в 30-х годах на русском горизонте появятся вдруг лица, в которых гуманная идея найдет проповедников не менее, если не более ревностных, чем те, которым западный культурный мир в своей среде удивлялся? Кто мог ожидать, что в человеке избалованном, огражденном, одиноко и замкнуто проведшем свое детство и юность, жившем всю жизнь в обществе, которое совсем не задавалось глубокими вопросами, обществе рассеянном и жизнерадостном, сознание своей ответственности перед людьми и самим собою станет источником глубоких душевных страданий?

Воспитать в себе широкое гуманное отношение к людям, а

главное, не столько воспитать его, сколько построить на нем целое мировоззрение и провести его в программу жизни – дело очень трудное, требующее большой энергии, силы воли, большой убежденности, а также и удобного исторического момента. Жизнь с каждым днем становится сложнее как в своих повседневных явлениях, так и в общих вопросах, какие эти явления ставят человеку, – и при всех ее сплетениях неизменным остается сознание, что без широко понятой симпатии к людям, без солидарности с ними жизнь немыслима. Прежде, когда веками установившиеся и на веру приятые общие – религиозные, национальные или сословные – этические формулы давали направление жизни, дышалось, конечно, легче; и тяжело стало новому человеку, когда он, предоставленный всецело силе свободного ума и свободных чувств, сознал всю трудность своего ответственного положения перед нравственной задачей жизни. Немудрено, что, решая ее, он так часто падал духом.

Лермонтов принадлежал к числу таких искателей нравственной истины, в душевной тревоге которых мы имеем наглядный пример того, как мучительно, но плодотворно для себя и для других отзывается на человеке присутствие в нем требовательной и чуткой совести.

Нужно было по-своему любить людей, чтобы постоянно думать над вопросом – какое отношение к ним будет самое справедливое.

VI

И люди откликнулись на слова поэта, слова иногда черствые, насмешливые и злые.

Но к этому отклику любви всегда примешивалось чувство сожаления.

Жаль поэта, который был унесен смертью в такие молодые годы; жаль его в особенности потому, что он не успел достигнуть цели, которую себе поставил, и не испытал в жизни самого полного удовлетворения – не высказал убежденно тех нравственных истин, в которые окончательно уверовал, чтобы заставить людей с ними считаться.

Лермонтов не завещал людям ничего, кроме тревожных, вечно красивых образов, в которых воплотилось неустанное стремление и борение человеческого духа. Изнурительная душевная борьба приводила к ряду вопросов, на которые не было устойчивого ответа… сила вся уходила на поиски…

В том виде, в каком поэзия Лермонтова перед нами, она – неразрешенный душевный диссонанс…

Лермонтов и литературное движение его эпохи

I

В предыдущих главах была сделана попытка обрисовать отдельные периоды в развитии миросозерцания Лермонтова в связи с развитием его таланта. Большую помощь оказали нам те основные типы, которые поэт с такою любовью вырисовывал в крупных своих произведениях. Эти типы, как бы замыкающие собой отдельные эпохи в жизни Лермонтова, указывали нам тот путь, по какому поэт шел к своей цели – к выработке ясных воззрений на жизнь и на свое в ней призвание.

В основании всех этих типов, в которых отражены разные решения нравственной проблемы жизни, – типов, различных лишь по образу их жизни и по костюму, – лежит одно-единственное лицо, один характер, одна психологическая задача.

Несмотря на несомненную способность художника объективно отнестись к жизни, способность, какую Лермонтов доказал созданием таких типов, как Максим Максимович и купец Калашников, наш поэт был субъективным лириком, любившим облекать преимущественно свои личные чувства в символы или реальные образы. Его поэмы и романы не что иное, как те же лирические стихотворения, вставленные в более широкую раму. Это легко можно проверить, сравнив по годам те и другие. Очевидно, что внутренняя работа над самим собою была так сильна в Лермонтове и настолько поглощала его силы, что для объективного художественного воспроизведения жизни в его душе пока не было места, несмотря на богатство и широту его таланта. Внутренний процесс самовоспитания не был окончен, идеалы не определились, и потому все стороны жизни, с какими Лермонтову приходилось сталкиваться, имели для него цену только в отношении к нему самому, насколько они помогали или мешали ему в решении занимавших его вопросов. Обозревая бегло всю литературную деятельность Лермонтова, мы вправе сказать, что он всю жизнь был певцом своих личных чувств, отражал мир в самом себе и занят был анализом этого отражения больше, чем предметами, которые такой анализ вызывали. Мы говорим это не в упрек поэту.

Каждый писатель всегда субъективен по-своему; но в крупном писателе субъективность, даже в узком смысле, не менее ценна, чем способность объективного воспроизведения действительности. Крупный человек, а тем более писатель, может быть назван фокусом, в котором собраны лучи разрозненных чувств и понятий, какими живет его эпоха. Присмотреться ближе к этому фокусу и исследовать его подробно так же интересно, как

рассмотреть порознь каждый из лучей, в нем собранных. Лермонтов облегчил нам эту работу, чистосердечно раскрыв перед нами тайники своего сердца. Если он и не разобрался в хитрых сплетениях современной ему жизни, то он, своей субъективной лирикой, дал нам понять, как задачи этой тревожной жизни отражались в сильном и умном человеке его времени. В его стихах перед нами правдивый рассказ современника о пережитых им волнениях сердца и сомнениях рассудка, о той болезни, которой страдал не он один, но и многие из его сверстников, которые поэтому и приняли так близко к сердцу его поэзию.

Если, таким образом, признания Лермонтова получают значение исторического материала, то такое же историческое значение остается и за их крупнейшим недостатком.

С этим недостатком мы хорошо знакомы: в творческой работе Лермонтова нет определенного миросозерцания, нет установившихся убеждений; мысли и чувства набегают на поэта, волнуют его до глубины души, выливаются в художественных образах, но тотчас же смываются новой волной налетевших сомнений и противоположных настроений. Прежние боги падают, из их праха восстают новые, которым также суждено стоять на пьедестале недолго.

Эту растерянность поэта перед трудными нравственными вопросами жизни в особенности важно оттенить, если начать говорить о той роли, какая выпала Лермонтову на долю как участнику в общем культурном движении русской жизни.

II

Что могла дать обществу – помимо, конечно, художественного наслаждения – поэзия Лермонтова, иногда совсем оторванная от действительности, в большинстве случаев узкосубъективная, оценивавшая явления жизни лишь в их отношении к одной данной личности и, вдобавок, неустановившаяся и противоречивая в своих конечных взглядах на мир и человека?

С первого взгляда может показаться, что в поэзии Лермонтова совсем не было того, что называется «прогрессивным» элементом. В ней не было ни постановки новых вопросов, ни оригинальной перестановки старых, не говоря уже о каком-нибудь удовлетворительном их решении. Если в некоторых вопросах, как, например, в вопросе о роли поэта в обществе, Лермонтов и пошел дальше своих предшественников, то он все-таки не пришел ни к какому окончательному выводу и выразил в стихах одну только неудовлетворенность прежними решениями.

Белинский утверждал, что поэзия Лермонтова была *умнее* поэзии Пушкина; но она была не умнее, а только *тревожнее*. Тревожное настроение, столь обычное для Лермонтова, было пережито Пушкиным значительно раньше. Это же настроение было перечувствовано и современниками Лермонтова, и у некоторых, как мы сейчас увидим, разрешилось в иные настроения, которые более, чем лермонтовское, имеют право на название прогрессивных, т. е. таких, которые двигают людей вперед.

Итак, в чем же могла заключаться культурная сила поэзии Лермонтова, если идеи, какими он жил, и его чувства не представляли, по-видимому, ничего особенно нового и не выводили читателя ни на какую дорогу?

Прогрессивная роль поэзии Лермонтова, тем не менее, не подлежит никакому сомнению. Она была угадана Белинским еще при жизни автора, хотя критик не дал ее подробного и полного определения, так как ему самому она была еще не вполне ясна. Белинский в порыве своих увлечений немецкой философией и эстетикой отнесся несимпатично к тревожному настроению Лермонтова и, таким образом, чуть-чуть не просмотрел в его творчестве самую ценную – в общественном, конечно, смысле – сторону. Критик остановился главных образом на художественной стороне произведений поэта и рассматривал его настроение преимущественно с этой точки зрения. Тем не менее, Белинский чуял, что в поэзии Лермонтова, кроме

художественной, была еще и другая сила, и на нее-то он намекал, когда говорил, что эта поэзия была «умнее» поэзии Пушкина, что Лермонтов «удовлетворял вкусам более развитого общества», что «он шел вперед в истории русского творчества».

III

Прежде всего, поэзия Лермонтова как художественное творчество имела свое облагораживающее влияние на читателей, и это влияние было особенно ценно ввиду той широкой среды, на которую оно распространялось.

Несмотря на успехи образованности, какие сделало русское общество в 30-х и 40-х годах XIX века, серая, полуобразованная и полуразвитая масса превышала громадным большинством то немногое количество лиц интеллигентных, которые являлись носителями просвещения. Для этой серой массы поэзия Лермонтова была, бесспорно, воспитательным и образовательным чтением: она знакомила ее с целым рядом нравственных вопросов и положений, которые, вероятно, на долгое время остались бы для этой массы недоступными, так как тогдашняя ходкая литература, рассчитанная на среднего читателя, не любила себя беспокоить излишней содержательностью. Блестящая форма и художественные образы служили лучшим проводником серьезных идей среди публики, которая требовала известной приманки, чтобы заставить себя интересоваться чем-либо. Пусть самые вопросы жизни, затронутые Лермонтовым, остались нерешенными и только намеченными, один тот факт, что они с невиданной для того времени настойчивостью были пущены им в оборот, сохранит навсегда за его поэзией важное историко-культурное значение.

Говоря, однако, о прогрессивном значении поэзии Лермонтова, мы не имели в виду ни такой ее общей ценности, ни этого условного значения, какое ей придал скудный умственный уровень русской читающей публики того времени. Под словом «прогрессивное значение» писателя мы разумели его роль как выяснителя, истолкователя общественных нужд его времени, как человека, в котором отразилась и осмыслилась культурная работа людей известной эпохи над теоретической и практической постановкой вопросов личной и общественной этики.

IV

Два смежных культурных поколения нередко враждуют между собой в силу быстрой смены своих настроений и мыслей. Быстрота и нервность в движении жизни мешают им отнестись друг к другу трезво и объективно. Примирение их противоречий совершается обыкновенно уже по прошествии известного времени, уже в иную эпоху и иным поколением.

В истории развития русской жизни такое несогласие поколений выступает достаточно ярко.

В 20-х годах XIX века в интеллигентном нашем обществе преобладало оптимистически-сентиментальное миросозерцание, в общем гармоничное, несмотря на примесь элегической грусти.

Затем это спокойное настроение духа было в 30-х годах нарушено романтической бурей, которая убила пассивную сентиментальность и веселье, а грусть довела или до вызывающего титанизма, или до меланхолии, принимавшей иногда болезненную окраску.

Когда же к началу 40-х годов романтическая буря стала утихать, когда критическое отношение к жизни успело в обществе окрепнуть, умы и сердца пришли вновь в известное уравновешенное спокойное состояние. Оптимизм 20-х годов возродился в виде оптимизма философского. Но он опять скоро рассорился с действительностью. Философское спокойствие духа к концу 40-х годов исчезает, сменившись новой душевной тревогой и новым наплывом сомнений, которые были вызваны в людях их страстным желанием осуществить на деле и провести в жизнь хоть частичку тех заманчивых идеалов, которые получались как результат их философского отношения к жизни. Все десятилетие, от половины 40-х до половины 50-х годов, было потрачено обществом на подготовление такого согласования идеалов и жизни; и, наконец, попытки этого согласования стали в 60-х годах господствующим явлением. В сердцах и умах людей, при всей буре страстей и волнений, установилась известная гармония, созданная стойкостью в убеждениях и цельностью миросозерцания.

Присматриваясь к этой смене настроений и мыслей в разные периоды жизни нашего культурного общества, мы можем заметить, что в основании всех таких колебаний лежит чередование собственно двух основных душевных состояний: тревожной растерянности духа ввиду отсутствия идеалов или неимения пути к их осуществлению и временного успокоения человека в круге воззрений и чувств, признанных

удовлетворяющими требованиям ума и сердца.

20-е, 40-е и 60-е годы в России были периодами, когда настроение умов было наиболее цельно и до известной степени согласовано с действительностью, сначала на почве сентиментально-оптимистических воззрений, затем на почве общих философских и эстетических положений и, наконец, на почве активной борьбы, активного проведения в жизнь известных установленных убеждений. Несмотря на поражающую разницу настроений, убеждений и практических программ, какая существует между 20-ми, 40-ми и 60-ми годами, разницу, которая на первый раз представляется полным противоречием, все-таки между поколениями этих периодов нашей культурной жизни есть коренное психологическое родство. Люди этих поколений имели установившиеся идеалы, стремились найти им оправдание в окружающей их действительности и пытались обновить ими устаревшие формы жизни. В этих людях душа не двоилась, в них не было сомнений, парализующих энергию и силу воли, не было той растерянности перед житейскими задачами, которая могла озлобить их против ближних и самих себя, заставить их глубоко и долго страдать и умереть, не испытав душевного удовлетворения.

Лермонтов воплотил в себе как раз диаметрально противоположный момент в развитии нашего культурного общества – момент душевного разлада, лихорадочной погони за идеалами, неудовлетворенности и отчаяния перед трудной этической проблемой жизни. Он – неутомимый искатель обетованной земли, которому судьбой суждено было умереть, не переступив за ее порог.

Лермонтов – типичный представитель целого поколения, несмотря на исключительность и единичность своего положения в литературе и в обществе. Его душевное настроение переживалось многими из его современников; но современники – как сейчас увидим – отделались от этого настроения и разрешили его диссонансы, тогда как Лермонтов не успел побороть в себе своего «демона».

30-е годы XIX века в истории нашей жизни – годы большой душевной и умственной тревоги. Старый сентиментально-благодушный взгляд на жизнь, который в 20-х годах был так силен, переставал уже удовлетворять общественному сознанию, окрепшему и потому более требовательному. Культурный человек ощущал потребность понять жизнь в более широком смысле, расширить свой умственный кругозор и углубить свои нравственные понятия.

«Романтизм» европейского образца продолжал поддерживать энергичные, хотя и неясные порывы к чему-то лучшему и

высшему и держал сердца в повышенном настроении, окутывая их подчас большой скорбью.

Одновременно шла работа ума над усвоением самых широких философских систем, выработанных на Западе. Эти системы обещали разрешить все противоречия жизни в стройной гармонии всеобъемлющего умозрения.

Рядом с отживающими сентиментальными взглядами и с туманными и неустановившимися идеалами романтическими, рядом с глубокими философскими обобщениями в те же 30-е годы стала пробиваться еще новая струя мысли – мысли строго критической, мысли трезвого наблюдателя и аналитика.

Все эти различные точки зрения на мир и человека нашли себе в 30-х годах ясное отражение в литературе.

1. Взгляд на жизнь сентиментальный и оптимистический держался в кружке старшего поколения александровской эпохи.

2. Направление «романтическое», тревожное, возвышенное, неясное, имело многих сторонников среди молодежи и было ярче всего представлено в творчестве Полевого, Марлинского и их школы.

3. Трезвый критический взгляд на жизнь, полный беспощадного анализа, стал пробиваться в творчестве Гоголя.

4. Различные попытки чисто философского миропонимания, которыми увлекалась преимущественно университетская молодежь, нашли себе выражение в тогдашней критике и публицистике.

Чтобы определить, в чем заключалась прогрессивная роль поэзии Лермонтова, необходимо выяснить то отношение, в каком она стояла ко всем этим современным ей литературным направлениям, отражавшим помыслы и чувства всего образованного круга.

V

Для писателей пушкинской эпохи, к которым надо причислить и Жуковского, соглашение с жизнью сводилось к известному отдалению от действительности, к спокойному настроению сердца, согретого идеалом религиозным, нравственным и эстетическим. Старшее поколение было счастливо, имея твердую веру в существование таких идеалов, где разрешались диссонансы жизни. И такая вера далась легко и Жуковскому, и Пушкину, и людям их поколения. Эпоха, когда сложились их взгляды на мир, была эпохой сентиментальных и оптимистических верований; и склонности сердца и цельные убеждения ограждали их от всяких тревожных сомнений.

Жуковский как-то совсем не изменился за долгие годы своей жизни. Шестидесятилетний старец, он не отступил от идеалов своей молодости и остался таким же религиозным и сентиментальным идеалистом, каким был в начале царствования Александра I. Молодость его души уберегла его в новой обстановке от тех душевных тревог, которые в его положении могли бы угрожать ему.

В 30-х годах патриарх русской поэзии, устранившись от всякого вмешательства в жизнь общественную, замкнулся в тесном круге личной жизни. Впрочем, Жуковский и прежде, в юности и в зрелом возрасте, редко задавался вопросами современности.

В силу нравственных правил, которые он усвоил чуть ли не с детства, он ревниво сторонился от всякого зла, где только мог заподозрить его присутствие. Сентиментально-пиэтистическое учение моралистов XVIII века под «злом» вообще разумело всякое душевное волнение, всякую тревогу, мешавшую людям отдаваться спокойно нравственному совершенствованию. Естественно, что все тревоги обыденной жизни, все вопросы дня, поднятые законным эгоизмом человека, теряли для такого философа всякую цену. Он стремился стать выше этих мелочей и жил надеждами на мир более совершенный. В Жуковском, кроме того, от природы всегда было больше чувства, чем наблюдательности и связанной с нею способности к строгому мышлению. Явления обыденной жизни ускользали от него и заменялись видениями.

Жуковский жил в мире призраков. Из мира действительного он взял все нежные чувства, все чувства высшего порядка и из этого материала построил свой воздушный замок. Любовь, дружба, культ добродетели, преклонение перед искусством и вера, теплая христианская вера, нашли в нем ревностного жреца

и искреннего, вдохновенного поэта. Он всю жизнь служил одному божеству и даже не пытался присматриваться к идолам своих современников, но не из боязни соблазна, а, скорее, из чувства особой, произвольно строгой душевной чистоты. Вдохновение поэта, в его глазах, было откровением, поэзия – высочайшим призванием человека, поэт – символом и сосудом непорочности, красота – прямой эманацией Бога, художник – своего рода апостолом, авторство – чистой и непорочной службой обществу. Поэзия, понятая в таком смысле, естественно, должна была сторониться от всего несовершенного, нечистого, плотского, соблазнительного и тревожного, т. е. от всей обыденной жизни и витать в области идеального и желаемого. Поэзия Жуковского, действительно, витала в этих двух сферах, если не считать стихотворений, написанных им на торжественные случаи. Поэт жил или в просветленном мире, где лица, взятые из действительности, превращались в сказочные образы, или жил в мире желаемом – в мире загробном, который он населял образами, взятыми из собственных воспоминаний.

Поэт не мог, конечно, остаться вполне чуждым современности и совсем не думать о ней, хотя бы ввиду своего общественного положения и в силу своего патриотизма. Он вращался в высших кругах общества, и судьбы его народа вершались у него перед глазами. Он был живым свидетелем многих крупных событий в истории родины и не мог пройти мимо, не осмыслив их и не приведя их в связь со своим основным миросозерцанием.

Но свои общественные взгляды Жуковский вывел из того же оптимизма, который лежал в основании всей его житейской философии. Он был одним из первых наших славянофилов, был твердо убежден в законности самобытной русской цивилизации, мечтал о великой миссии России, проповедовал даже крестовый поход против турок и всю свою веру в лучшее будущее возложил на православие и самодержавие, которым служил искренно, от всего сердца.

Из этого оптимизма вытекло и основное, историко-философское, правило, которое избавляло Жуковского от тревожных раздумий над своим призванием. Это правило – идти вровень со своим веком, но отнюдь не обгонять его – пленило Жуковского своей ясностью и краткостью; оно совпадало и с его глубокой верой в Провидение.

Таким образом, в 30-х годах, уже в преклонном возрасте, Жуковский стоял одиноко среди новых поколений. Из его товарищей и сверстников почти никого в живых не осталось; его ученики, с Пушкиным во главе, отошли также от некоторых

взглядов, в которых утвердился учитель. Положение Жуковского в литературе было почетное, но он перестал быть в ней живой силой и живым двигателем. Оптимизм и тихое мечтательное настроение, примирявшее поэта с действительностью, не могли наполнить всей жизни молодого поколения, как они наполняли жизнь самого Жуковского. Многие вопросы, от которых Жуковский сторонился как от зла, стали настойчиво требовать решения и не могли быть устранены так просто, как устранялись в период сентиментального оптимизма, и не могли быть обойдены в искусстве. Поэзию Байрона и Лермонтова Жуковский имел право недолюбливать и называть «оргией самолюбия» и «духовным пьянством», но права была и молодежь, которая, охваченная иным настроением, не так часто брала в руки сочинения Жуковского.

Для Пушкина поэтическое творчество было также своеобразным миром, куда он уходил от разных тревоживших его вопросов жизни. Житейский диссонанс, становясь песнью, терял для него свой острый характер.

Но к концу жизни Пушкин стал ощущать какое-то беспокойство. Подросло новое поколение, новые вкусы стали сказываться в литературе и преимущественно в критике. Парнасский бог стал чувствовать свое одиночество; по мере того, как он в своем художественном творчестве становился все совершеннее – его переставали понимать молодые современники. В своих нападках, иногда очень задорных, они были, конечно, неправы, так как не умели отрешиться от своего собственного «я», от своих личных вкусов, но молодость извиняла эту нетерпимость, и она являлась необходимым следствием развивавшегося общественного сознания. Пушкина эти нападки очень сердили; он вспоминал свою молодость, время, когда он увлекался Байроном, и ему казалось теперь, что молодежь начинает повторять зады и кланяется кумирам, которые для него давно потеряли свое значение. Пушкин со своей стороны был неправ, увидав в тогдашних тревожных порывах и увлечениях молодежи одно лишь падение литературных вкусов. Он не хотел признать того факта, что с новым временем народились и новые потребности, которые не нашли еще для себя ясной формулы и вызывали в людях неопределенное, экзальтированное и недовольное настроение.

Достаточно пылкий и тревожный публицист и критик, Пушкин, как художник, сохранял полное самообладание. Стихи его оставались невозмутимы по своему спокойствию, и объективно-возвышенная художественная нота стала звучать в них еще сильнее, чем прежде. Высокая идея о своем призвании,

которая попадается в самых ранних стихотворениях поэта, выступила вперед с особой силой под конец его жизни. Поэт искал и находил в ней успокоение и утешение во многих огорчениях. Старая фраза о презрении к черни, которую Пушкин вычитал еще в молодые годы у Горация, попадается снова в его последних стихотворениях и теперь, в его глазах, получает еще большее значение, чем она имела прежде, так как, по его мнению, художественное чутье у публики совершенно исказилось и притупилось и прежний бог незаслуженно отвергнут. Пушкин под конец жизни начинает усиленно молиться красоте, любви, дружбе, которым он был так предан в свои молодые годы; он реже говорит о событиях дня, и его поэзия как будто совсем порывает связь с современностью. Как Жуковский примирился с жизнью на почве религиозных и нравственных идеалов, так Пушкин, по-видимому, готов был мириться с ней на почве идеалов чисто эстетических.

Однако если в своих стихотворениях за последний период жизни Пушкин все больше и больше сторонился от современности, то он стремился следить за ней и даже управлять ею как публицист и издатель журнала. В 30-х годах он задумал издание политической газеты, но это издание не состоялось. Со стороны Пушкина такая попытка была очень знаменательным явлением. Живая натура человека не могла помириться с жизнью на почве исключительно эстетического творчества, не могла и не хотела ограничиться ролью простого художественного «отражения» или «преображения» действительности и требовала активного вмешательства в вопросы дня.

Эстетический квиетизм, очевидно, переставал удовлетворять умного человека; кругозор поэта расширялся, старый «демон», от которого поэт, по-видимому, давно отделался, стал вновь его тревожить, но теперь для Пушкина этот демон не был простою тенью Байрона, которая смущала его воображение в юношеские годы, а был неотвязным призраком, который заставлял его от публицистической статьи бросаться к стихам и среди стихотворной деятельности сочинять передовые статьи и политические памфлеты. Но стихи поэта были невозмутимо спокойны по своему настроению и по своей художественной пластике, и лишь душевное настроение публициста было очень тревожно.

Сопоставляя поэзию старшего поколения с поэзией Лермонтова, мы можем с достаточной ясностью определить прогрессивное значение этой новой литературной силы в отношении к современным ей силам старым. Пусть многое в поэзии Лермонтова повторяло или развивало то, что уже давно

было сказано Пушкиным в период его увлечения Байроном; пусть эта поэзия была менее пластична и менее объективно-спокойна, чем поэзия Пушкина, менее нравственно чиста и воздушна, чем поэзия Жуковского; пусть она была туманна по настроению, неустойчива в окончательных своих выводах, иногда без причины задорна – все-таки поэзия Лермонтова для молодого поколения того времени носила в себе гораздо больше элементов жизни, больше побуждений к деятельности, к движению вперед, чем поэзия поколения старшего.

В ней прежде всего был юношеский пыл, живая, вперед стремящаяся сила, которой у стариков не было. Романтическое недовольство современностью, поиски идеалов, уверенность в высоком призвании, жажда великого дела, тяжелая внутренняя борьба ввиду надвинувшихся грозных вопросов, нравственных, религиозных и политических, – все эти тревоги и надежды молодого сердца были в творчестве Лермонтова живой действительностью, а в стихах старшего поколения лишь воспоминанием. Нетерпеливая, а потому противоречивая и тревожная разносторонность поэзии Лермонтова служила хорошим противовесом поэтическому квиетизму старой школы и носила в себе зерно будущего развития русской мысли. Чтобы привести поэзию в более тесную связь с новой действительностью, необходимо было нарушить ее спокойствие, воскресить в ней прежнюю лихорадочную нервность и даже на время избавить ее от строгого надзора слишком требовательной художественности.

VI

Итак, со старшим поколением Лермонтов расходился довольно резко в своем настроении. Сверстники были ему, конечно, ближе и среди них в особенности те, которые так или иначе были неравнодушны к «романтическим» веяниям. Такие русские романтики существовали у нас и в начале 20-х годов, но они быстро угомонились. Теперь их стало значительно больше, и их неопределенно-тревожное настроение было в литературе представлено достаточно полно, в особенности в повестях и на сцене.

Наиболее видными и признанными выразителями этого настроения в литературе были в 30-х годах Марлинский и Полевой.

Настроение и миропонимание, которые развернулись в повестях и в драмах этих двух наиболее талантливых наших «романтиков», не поддаются точному определению. Любовь ко всему эксцентричному, необыкновенному, величественному и фантастическому руководила авторами в выборе сюжетов. Неспокойное настроение, героический подъем духа, безграничная свобода чувства и протест против всех внешних стеснительных условий прозаической и в предрассудках погрязшей действительной жизни были отличительными чертами их излюбленных героев; печаль и меланхолия – любимым фоном их картин.

Между этими «романтиками» и между Лермонтовым была несомненная связь по настроению. Они сходились в общей им симпатии к необузданному стремлению куда-то вперед, к туманно понятой свободе и в симпатии к напряженному, нервному состоянию духа, которое, по их мнению, было источником всех великих мыслей и дел.

Но умственный кругозор Лермонтова был значительно шире кругозора всех других наших романтиков, и к тому же Лермонтов был больший художник. Все, что в стремлениях романтиков типа Марлинского было лучшего, мы находим у Лермонтова в более чистом и продуманном виде, в более сжатой и яркой форме. Лермонтов свободен от вычурности, за которую Белинский так негодовал на Марлинского и Полевого, и потому его «романтизм», воспитывая умы и действуя на сердце, в то же время не портил у публики вкуса, не приучал ее любить внешние эффекты и признавать их за истинную художественность.

А любовь к внешним эффектам и к цветистой речи была всегда одним из грехов нашего доморощенного «романтизма».

VII

Вместе с Лермонтовым в 30-х годах выступил и Гоголь.

С идеалами пушкинского кружка, в котором Гоголь возмужал и с которым всю жизнь был дружен, он сжился очень быстро, но он все-таки не мог успокоиться на эстетическом созерцании и стал искать примирения с жизнью на почве нравственного воздействия на ближнего. Гоголь всегда хотел быть художником-проповедником, и борьба за этот проповеднический идеал, как известно, свела его в могилу. С кружком «романтиков», вначале также ему родственных по духу, Гоголь враждовал во имя своих эстетических и нравственных убеждений. С философами-теоретиками, которые его так любили, он не сходился ввиду своего малого интереса к чисто отвлеченным вопросам и также ввиду своей художественной натуры, для которой будничная конкретная жизнь со всеми ее мелочами была главным источником вдохновения. Гоголь был живописец с натуры, гениальный художник, в котором действительность, реальная повседневная жизнь и критическое к ней отношение нашли себе в те годы наиболее яркое отражение. Он был первый писатель, который заставил публику оценить поэзию этой будничной жизни и понять, сколько истинной художественности кроется в мелочах обыденной обстановки, в какой живут обыденные люди. И он вместе с тем учил нас трезвому отношению к этой обыденности, с виду столь невзрачной, а по сущности своей столь значительной.

Это новое реальное, или натуральное, направление в литературе было настоящим откровением для русского читателя, который до Гоголя не встречал ни у одного писателя столь широкого, правдивого и художественного отражения текущей жизни в искусстве. В этом отношении роль Гоголя в истории нашей культурности, несомненно, важнее и плодотворнее роли Лермонтова. На жанровых картинах Гоголя русское общество училось трезвой самооценке.

Несмотря, однако, на всю видимую объективность и спокойствие, какие Гоголь обнаруживал в своем творчестве, он сам был совершенно неустановившейся и по существу «романтической» натурой. У него – как и у Лермонтова к концу 30-х годов – еще не было установившихся взглядов на жизнь, не было цельного мировоззрения. Как художник, он творил почти бессознательно; между тем желание отдать себе отчет в собственной деятельности, осмыслить свое собственное существование и найти ясный нравственный идеал в жизни было в нем не менее сильно, чем в Лермонтове. Гоголь в тиши, тайком

от друзей, принялся за свое духовное перевоспитание, и многие годы прошли для него в этой скрытой от всех, изнурительной и трудной работе. К такому умственному труду скоро присоединилась физическая немощь и угрызения слишком чуткой и болезненной совести. Плодом всех этих душевных и физических немощей писателя была знаменитая «Переписка с друзьями» (1847), в которой Гоголь поделился, наконец, с обществом своим законченным миросозерцанием. От него он ожидал спасения не только самому себе, но и России. Но это мировоззрение заключало в себе мало нового и было лишь своеобразным видоизменением общественных, религиозных и нравственных взглядов Жуковского и Пушкина.

Понимая жизнь как разлад мечты и действительности, Гоголь видел в искусстве убежище для человеческого духа от мучительного разъединения с самим собой. Служение искусству он понимал, однако, несколько иначе, чем Пушкин, который также искал в искусстве спасения от житейских волнений. Если у Пушкина взгляд на искусство был чисто эстетический, то у Гоголя он был нравственно-религиозный. Человек, думал Гоголь, от пошлой современности должен «уходить внутрь себя», должен «познать весь мир внутри себя», «сказнить мировой грех в собственном сердце» – и тогда войти в мир как художник. Христианское смирение являлось, таким образом, подготовительной стадией к художественному творчеству, и Гоголь вполне соглашался с Жуковским в том, что поэзия должна воспитываться на христианстве; но если у Жуковского это убеждение было простым требованием нравственной чистоты от поэта, то у Гоголя к нему присоединился новый мистический оттенок. Гоголь был убежден, что путем такого смирения можно дойти до ясновидения, до пророческой прозорливости. Таким образом, думая быть смиренным христианином, он на деле стал гордым мечтателем, и искусство вместо того, чтобы примирять его с жизнью, его на каждом шагу с ней ссорило.

Из мистически понятого религиозного смирения вытекали как следствия все взгляды Гоголя на мир, самого себя и родину. В этом мистическом чувстве коренились его ненависть ко всякому быстрому активному вмешательству в вопросы жизни; его патриотизм, в котором смирение перед Богом и Провидением вылилось в гордые и пока не мотивированные пророчества о будущем величии России, внешнем и внутреннем; его оценка крепостничества, вытекшая из неправильного понятия о власти, данной людям от Бога; наконец, отрицание всей своей прежней литературной деятельности как сатирика.

Сравнивая Лермонтова с Гоголем как два характера, как две

сильные натуры, стремящиеся к одной цели – к выработке определенного мировоззрения, надо признать, что неустановившаяся и противоречивая житейская философия Лермонтова заключала в себе все-таки более задатков жизни и дальнейшего движения вперед, чем связное мистически-нравственное миропонимание, в котором религиозно-патриотическая утопия каким-то странным образом сочеталась с отжившими предрассудками и устаревшим общественным злом. Тревога духа Лермонтова была движением; философия Гоголя – застоем.

VIII

30-е годы были тревожным периодом долгих душевных волнений и для той части молодого поколения, которое отдавало свои силы на выработку высших философских положений. На отвлеченных началах молодые люди надеялись построить цельное и связное мировоззрение. Нам нет нужды говорить, как искренно и бескорыстно трудилась университетская молодежь над этой задачей.

На первый взгляд, успех трудноусвояемых философских систем у нас, в России, представляется малопонятным явлением. Русский ум до того времени не проявлял особой склонности к чисто философскому мышлению, хотя на кафедрах, академических и университетских, философская наука имела своих представителей. Но в 20-х годах философия стала проникать в литературу, а в следующее десятилетие критика находилась уже всецело под ее влиянием.

Такое быстрое и упорное увлечение чисто отвлеченными системами становится понятно, если принять во внимание, что как на Западе, так и у нас эти системы одни могли успокоить романтически настроенное сердце человека и дать полное самоудовлетворение человеческому уму, который пытливо старался проникнуть во все вопросы жизни и не удовлетворялся каким-нибудь частичным их решением. Широкие, всеобъемлющие философские системы отвечали, кроме того, и другой – еще более настоятельной – потребности века, а именно – его гуманному чувству.

Человек в этих идеалистических учениях рассматривался во всех проявлениях его духа как существо мыслящее, чувствующее, верующее, нравственно свободное, гражданское, как социальная единица и как единица в природе. При таком широком кругозоре прежние решения мирового вопроса с какой-нибудь исключительной, одной точки зрения стали немыслимы. Гуманный идеал, который лег в основание этих систем, требовал, чтобы человек был свободен в удовлетворении всех своих духовных потребностей, чтобы он не казнил в себе одной стороны своего духа ради мнимого совершенствования другой, а жил и действовал всеми своими способностями и склонностями, направляя их к двум высшим целям – к познанию истины и к общему счастью и благу.

Этот гуманный вывод, который мог сделать каждый человек из общей сущности философских систем, преимущественно немецких, объясняет тот повсеместный успех, какой они имели и

в Европе, и у нас. Когда люди стали лицом к лицу с великой задачей – сделать все человечество участником и двигателем гуманного прогресса, когда от чисто рационалистических построений общественного идеала и от поспешного осуществления всех своих утопий они в XIX веке пожелали перейти к частичному их осуществлению на практике, – они необходимо должны были объединить отдельные свои программы в одном общем мировоззрении, найти в природе цель своего собственного существования, а в прошлом своей жизни – подтверждение и оправдание своим убеждениям, на которые они, конечно, смотрели не как на минутный каприз своего сердца, а как на постулат своего разума. Философские системы Германии были образцами такого связного единого миросозерцания. Философия Канта поставила ясные границы познавательной способности человека и тем самым освободила людей от прежних догматико-метафизических точек зрения, которые искажали в людях правильность взглядов на мир и человека и заставляли их забывать «человека» за массой отвлеченностей мнимого «высшего» порядка. Философия Фихте была самым резким провозглашением человеческого индивидуализма, апофеозом человеческой личности, ее творческой силы, ее всемогущества, ее неподчиненности кому или чему бы то ни было. Натурфилософия Шеллинга пыталась связать человека самым тесным образом с природой, а философия Гегеля – наиболее популярная в 30-х годах – давала человеку ответы на все вопросы и прошедшего, и настоящего, и даже будущего. Она в одной общей системе объединяла все явления жизни, все отрасли наук и искусств, и тот, кто с ней освоился, кто овладел ею, мог отдать себе отчет в любом из моментов жизни как всего человечества, так и своей собственной.

Обладать этой истиной, открывающей человеку глаза на его прошлое и настоящее, приобрести эту уверенность в силе своей личности и в непогрешимости своего разума значило доработаться до той степени душевного покоя, какой был необходим людям того тревожного времени, чтобы, не боясь разочарований и сомнений, приняться за великое дело обновления жизни во имя твердых гуманных идеалов.

В этом философском обосновании жизни не обошлось, конечно, без крайностей. На людей духовно слабых, в которых мечта или сердечное настроение преобладали над рассудком, которые не располагали достаточной силой характера, чтобы подвергнуть строгому анализу свои собственные личные симпатии и антипатии, на таких лиц широкие философские системы имели влияние совсем особое. Они не только не сделали

этих людей участниками нового зарождавшегося общественного движения, а напротив того, заставили их отвернуться от событий кипевшей вокруг них жизни.

Нам нет необходимости излагать миросозерцание каждого отдельного члена многочисленной русской философской семьи 30-х годов. Большинство наших философов не высказывалось в печати громко и ясно; люди работали в тиши кабинета над своим мировоззрением, и русскому читателю с этой домашней работой считаться почти что не приходилось. Герцен в 30-х годах писал отрывочно и мало, так же как и его «философский друг», как и Аксаков, и Станкевич, и Бакунин. Киреевский после своей статьи «О девятнадцатом веке» замолчал надолго. Из всех «философов» один Белинский в полном смысле слова «боролся» за свои философские схемы.

Он один был в то время настоящим представителем философских кружков, писателем, который имел на общество прямое влияние и входил в русскую жизнь действительно «активной» силой.

IX

Литературная критика Белинского была новой эрой в истории русской мысли. Можно сказать, что Белинский первый помирил поэзию с жизнью, т. е. указал литературе ее место среди других факторов прогресса. К этому широкому взгляду на художественное творчество, взгляду, в котором чисто эстетические принципы согласовались с принципами нравственными и чувство художественности – с чувством общественности, Белинский пришел не сразу. И ему пришлось пережить период «романтизма», мучительный период неустановившихся взглядов на мир, человека и искусство. По темпераменту своему Белинский был наиболее страстной натурой из всей тогдашней философствующей молодежи. Стоит прочитать его письма, чтобы увидеть, как этот человек был чуток ко всему окружающему, как каждая новая мысль его волновала, как малейшее сомнение в правоте своих взглядов и поступков тревожило и разъедало его душу.

В чуткости и восприимчивости Белинский мог поспорить с Лермонтовым. А между тем, какая разная судьба была предназначена этим двум людям! И в Белинском, и в Лермонтове жажда деятельности, желание вставить свое слово в споры о людях и о вселенной было главным стимулом жизни; и тот и другой хотели «наставлять» людей в благородном смысле слова, свершить что-то «великое», вовсе не из тщеславия, а из глубокой потребности применить к жизни тот обильный запас энергии и сил, который они в себе ощущали. Белинскому, действительно, удалось наложить свою печать на целое поколение, воспитать целый ряд писателей и помочь массе читателей привести в ясность свои смутные и безотчетные взгляды на художественное творчество и на многие другие коренные вопросы жизни. Лермонтов никого никуда не направил, никому не облегчил трудной задачи примирения с жизнью, так как сам ни в одном вопросе не успел разобраться. Между тем его образование и средства к приобретению знаний ставили его в положение более выгодное, чем то, в каком стоял Белинский.

Белинский был той идеалистической закваской, которая была безусловно необходима тревожному, энергичному, но неустановившемуся в своих взглядах поколению 30-х годов. Это поколение чувствовало, что новые времена наступали, понимало, что новая задача поставлена обществу и что эта общественная задача обязывает людей посвятить ей все свои мысли, если только они хотят сохранить за собой название людей культурных.

Сохранить и оправдать это имя гуманного человека можно было только при одном условии – при высоком понятии о человеке как личности нравственной, разумной, призванной в мир для достижения определенной цели; личности, живущей общественной жизнью и в силу своей природы обязанной жить такою же жизнью и впредь; личности, вечно стремящейся вперед и потому необходимо борющейся и среди обманов и разочарований не теряющей надежды на конечное торжество своих идеалов; наконец, личности свободной, т. е. не приносящей ни одной из своих духовных сторон в жертву устаревшим авторитетам и укоренившимся предрассудкам. Такое высокое понятие о личности человека имел Белинский, и он никогда не упускал случая напоминать читателю об этом идеале. Сам Белинский дошел до этого понятия, конечно, не самостоятельно; оно в нем сложилось и окрепло главным образом под давлением его философской мысли, под влиянием его знакомства как с умозрительными системами Германии, так и с общественными учениями Франции.

Таким образом, целый период европейской умственной жизни был охвачен, усвоен и истолкован в популярной форме русскому читателю. Белинский был этим истолкователем и в своих беседах, и в печати. Он – человек, располагавший небольшими средствами к образованию, поставленный в самые тяжелые житейские условия, подвел итог философско-критической мысли своих учителей, взял из их учения самое существенное, самое гуманное и воспитал на этом идеализме молодое подраставшее поколение.

Белинский имел, как видим, громадное преимущество над всеми неустановившимися натурами, и в том числе и над Лермонтовым, именно в силу своей убежденности, цельности своего миросозерцания и способности быть его глашатаем и проводником. Белинский от примирения с жизнью на почве чисто отвлеченного идеала очень скоро перешел к счетам с ней на почве активной борьбы за стойкие убеждения, и в нем мышление и деятельность гармонически сочетались. Лермонтов, самой природой предназначенный быть борцом, натура кипучая, не признававшая никакого покоя, ни пассивного, ни отвлеченного, никак не мог достигнуть той степени устойчивости во взглядах, какая необходима, чтобы деятельность человека не была ежеминутно парализована сомнением и нерешительностью.

Итак, сравнивая одиноко стоящего Лермонтова с молодой фалангой философской молодежи его времени, нельзя не пожалеть, что наш поэт так невнимательно отнесся к целому литературному кружку, с которым изредка сталкивался, но

уроками которого не воспользовался. Кто знает, какую духовную помощь могли бы ему оказать такие люди, как Белинский, которые выводили на ясную дорогу много молодых сил, запутавшихся в противоречиях жизни.

Поставленный рядом с Белинским, Лермонтов, конечно, отступает на задний план и как общественная сила, и как личность. Его роль была у́же. Но не забудем, что сам Белинский был кое-чем обязан Лермонтову.

В жизни Белинского был момент, когда его умственная деятельность, повышенная, интенсивная, грозила стать бесплодной и даже вредной для того высокого гуманного идеала, который он преследовал как конечную цель всей своей жизни. Это было в конце 30-х годов, когда Белинский, переходивший от Шеллинга и Фихте к подробному ознакомлению с Гегелем, в разгаре своего увлечения новым умственным кругозором, забыл все тревоги жизни за отвлеченностями и умственным созерцательным покоем. Он, в ущерб многим гуманным сторонам своей природы, стал недоверчиво смотреть на всякую попытку людей нарушить установленную им произвольную гармонию между его разумом и окружавшей его действительностью. Этот период философского квиетизма, грозивший обратить гуманный идеализм Белинского в неподвижное, безучастное отношение к жизни, прошел очень скоро, так как Белинский по природе своей был натурой активной и мог мириться с жизнью в конце концов только на почве борьбы, а никак не на почве спокойного созерцания.

Белинский сам сознал свою ошибку, и близкие друзья помогли ему в ее исправлении. Но помимо споров с друзьями ему оказала в данном случае немалую помощь и поэзия Лермонтова.

Белинский не упускал из виду литературной деятельности Лермонтова. Она сначала тревожила его больше, чем восхищала. Он стал наслаждаться ею позднее, когда отказался от слишком строгого и произвольного преклонения перед чисто отвлеченными схемами, когда, сделав необходимую уступку современности, стал считать вмешательство в события жизни за нравственную обязанность каждого мыслящего человека. В период своего крайнего увлечения гегелианством Белинский не мог оценить поэзии Лермонтова по достоинству и должен был отвергнуть ее, как отвергал поэзию Шиллера и французских романтиков. Но Белинский, не соглашаясь с людьми, всегда относился внимательно к их взглядам. Так внимательно отнесся он и к Лермонтову в конце 30-х годов, когда осуждал его тревожное, бурное настроение. Поэзия Лермонтова оказала в свою очередь благотворное влияние на невозмутимо тогда

спокойный и оптимистический образ мыслей Белинского. В ряду других явлений русской жизни она напоминала ему своим тревожным настроением о «законности» такого настроения в жизни, о «разумности» его и тем косвенно подорвала в Белинском веру в непогрешимость его философского квиетизма.

Таким образом, уступая во многом Белинскому как общественному деятелю, Лермонтов оказал и ему известную помощь, которую Белинский, конечно, окупил бы тройной ценою, если бы Лермонтов пожелал или мог с ним сблизиться.

X

Теперь, ознакомившись с разными формами миропонимания и настроений, которые нашли себе выражение в главнейших течениях русской литературы 30-х годов, легко определить прогрессивное значение поэзии Лермонтова для современного ему общества.

Первое, что мы должны отметить, говоря о 30-х годах русской жизни, это разнообразие и противоречия во вкусах и взглядах нашего интеллигентного общества.

Перед нами отдельные, очень замкнутые кружки, иногда отдельные личности, каждая со своими собственными взглядами и вкусами, в большинстве случаев неустановившимися. Все показывает нам, что как мысли, так и чувства находятся пока еще в брожении, что старые идеалы, какими жило общество, перестали соответствовать его новым потребностям, а эти новые потребности еще недостаточно ясны, чтобы воспитать в обществе новые определенные идеалы. В настроении много «романтизма», т. е. недовольства настоящим своим состоянием, и много туманных мечтаний и предвкушений. Стремление выбраться из этого тревожного и малоотрадного настроения сказывается очень ясно во всех передовых людях. Старики-сентименталисты, чувствуя неприложимость своего прежнего мировоззрения к новому времени, либо со старческим упорством отстаивают свои старые взгляды и вкусы, либо совсем перестают думать о настоящем, готовясь к достойной жизни «там»; люди помоложе пытаются найти новую формулу житейской мудрости, которая осмыслила бы их существование и указала бы им новую дорогу, но они либо отделяют поэтическое творчество от работы житейской, как Пушкин, либо в корне подрывают свою собственную творческую силу, как Гоголь. Волнуется и суетится молодежь, не имеющая никаких предрассудков, никаких старых убеждений, но зато и не имеющая установившихся новых. Эта молодежь жадно набрасывается на все мысли, в которых подмечает для себя что-либо новое, присматривается к событиям европейским и прислушивается к иноземным речам; она пытается усвоить смысл этих речей, но в большинстве случаев ловит их на лету и не имеет ни подготовки, ни времени овладеть полностью всем их смыслом.

В жизни каждого народа были такие эпохи брожения. Они необходимы в истории человеческого прогресса, так как они отражают один из самых существенных моментов общественного движения – момент самокритики, момент недовольства

обветшавшими принципами жизни и момент энергического искания принципов новых. При каждом неминуемом столкновении старших поколений с младшими такие тревожные, полные сомнений эпохи будут всегда повторяться с легкими изменениями. Они – показатели успехов, какие в человечестве делает чувство общественности в широком смысле слова, чувство справедливости, которое жертвует своим личным покоем и счастьем ради достижения все более и более широкого идеала общего блага и общей свободы.

Наше образованное общество всегда следило очень внимательно за тем, что делалось и говорилось на Западе. В этой постоянной погоне за чужой наукой и чужой цивилизацией мы, естественно, не могли идти вровень с учителями.

Но сознание назревших новых общественных потребностей заставило многих поспешно приняться за ознакомление с последними выводами западной науки и искусства – и чуткие умы погнались за всякой зарождавшейся на Западе новой мыслью; из боязни отстать они иногда слишком торопились.

Молодое поколение опрометью пустилось на розыски новой истины и последних выводов западной науки и жизни, и так как эти выводы были полны пестроты и противоречий, то повторение их у нас естественно вышло еще более пестро и еще более противоречиво. Желание стать как можно ближе к общечеловеческой работе над мировыми вопросами побуждало нас спешить без оглядки.

Одно обстоятельство усилило и поддержало в нашем обществе этот разброд, это брожение в мыслях и чувствах.

Власть, как известно, очень ревниво следила тогда за малейшим проявлением самостоятельной мысли. В тревоге молодого ума и сердца она хотела видеть совсем не то, что было на самом деле, и преувеличенные опасения, и вызванные ими мероприятия, вместо того чтобы успокоить умы, только усилили в людях тревожное состояние духа. Общество не имело возможности подвергнуть новые вопросы открытому обсуждению, и тем самым была устранена для него возможность согласить противоречия и ускорить обмен мыслей. Люди не договаривали своих слов, маскировали их и тем затрудняли их обращение. Помимо того, что выработка мировоззрения на новых началах была сама по себе делом очень трудным, изнурительной работой для ума и сердца, она, эта выработка, очень страдала от отсутствия возможности свободного обсуждения.

Поэзия Лермонтова была самым ярким отражением этого тревожного времени в нашей жизни, и она с особенной силой выразила этот переходный момент в развитии нашего

общественного самосознания. Недовольство старым, сознание грехов современных, искреннее, но туманное стремление к лучшему будущему, растерянность перед массой противоречивых взглядов, непоколебимая уверенность в необходимости найти исход из этих противоречий, сознание своей слабости перед этой высокой задачей, часто повторяющийся упадок духа и, наконец, гнев на внешние условия, стеснявшие и без того «пленную» мысль, – вот цикл идей и чувств, какими жило молодое поколение 30-х годов и которые наглядно отразились в поэзии Лермонтова. Эта солидарность Лермонтова с современным ему поколением придала его творчеству особую прогрессивную силу.

XI

Лермонтов, стоя одиноко как личность, стоял вовсе не одиноко как выразитель известного общественного настроения.

Молодое поколение 30-х годов, идя по различным дорогам к одной цели – к выработке приложимых к жизни идеалов и к проведению их в жизнь, проходило на этом пути через одну общую всем полосу настроения, которая всего рельефнее и художественнее отразилась в поэзии Лермонтова. Конечно, эта молодежь не подражала Лермонтову и не находилась под его влиянием, а только соглашалась с ним и совпадала с ним в настроении, которое и у Лермонтова, и у его сверстников вытекало из одних и тех же условий личной и общественной жизни, из наблюдения над одними и теми же событиями дня, а также иногда из одного книжного источника.

Однако никто из писателей тех годов не останавливался так долго на этой переходной ступени развития, как Лермонтов. Большинство худо ли, хорошо ли, но отделалось от этого мучительного состояния духа; один Лермонтов продолжал пребывать в нем, и смерть невзначай оборвала его думы.

По воле случая поэзия Лермонтова осталась, таким образом, верна себе за весь недолгий срок своего развития. Поэт умер на пороге новой жизни, где, быть может, его ожидал и сердечный покой, и примиренное настроение духа, и светлое миросозерцание, но где он перестал бы быть тем, чем он навсегда для нас остался, – писателем, исключительно верно и глубоко отразившим в своей поэзии бурный и вопрошающий момент в истории нашего самосознания.

Часть той мировой мятежной, вечно голодной души, стремящейся в мечтах к великому идеалу, вечно готовой бороться за него в жизни, души очень «совестливой», хотя вместе с тем и очень гордой, которая жила в Шиллере, молодом Гёте, Байроне и французских романтиках тех годов, нашла для себя русское воплощение в сердце Лермонтова. Лермонтов был достоин вместить в себе эту беспокойную, бессмертную душу, которая в человеке – главный рычаг его деятельности, первое побуждение к движению вперед, грозный голос совести, неусыпно ему твердящий, что минута душевного покоя дана человеку лишь для того, чтобы ободрить его на дальнейшую тревогу ради личного блага и блага его ближних.

Поэзия Лермонтова, в которой все основные моменты этого борения духа нашли яркое и правдивое выражение, была, таким образом, бесспорно настоящей «прогрессивной» силой в русском

обществе. Она *отвергала всякий самодовольный покой духа, не позволяла людям засыпать в довольствие настоящим, толкала их вперед, учила строгому суду над самим собою и была в их глазах художественно воплощенным принципом неустанного «стремления»*, т. е. призывным, хоть и грозно-печальным голосом, раздававшимся тогда среди в большинстве случаев инертной и слабовольной массы.

Это отрицание душевного покоя во имя творческой тревоги и постоянного самонаблюдения и есть тот общечеловеческий элемент, который, помимо художественного, навсегда спасает поэзию Лермонтова от забвения.

Но отрицать покой не значит еще указать путь, по которому человек должен двигаться.

Настоящая роль вождя не может ограничиться одним призывом к работе: она должна наметить направление и по нему вести людей за собою. Вождем Лермонтов никогда не был; он не был проповедником установленных истин, а лишь отрицателем безверия, идеалистом разочарованным и ищущим убеждений; он был не сеятелем нового учения, а жестким орудием, подготовлявшим ниву для посева.

Современная Лермонтову лирика

I

При всем том своеобразном положении, какое занимает творчество Лермонтова в ряду современных ему литературных направлений, оно, как мы видели, по своему основному тревожному настроению не стоит одиноко. Общий смысл эпохи 30-х годов, эпохи умственных и нравственных борений и исканий, находится в полном согласии с основным фоном поэзии Лермонтова – поэзии, рассорившейся с жизнью и ищущей соглашения с ней на новых идейных и этических началах.

Многие крупные умы и сильные характеры того времени переживали ту же тревогу духа, которая так мучила Лермонтова. Люди старшего поколения чувствовали себя неловко в новых условиях, романтически настроенные души были взволнованы и мятежны и не могли разогнать тумана, который облегал их сердца; люди, способные в оценке жизни держаться трезвого, критического взгляда, реалисты по натуре, с большим трудом и при больших душевных муках вырабатывали в себе эту способность смотреть жизни прямо в глаза и рисовать ее без прикрас; наконец, люди с тяготением к философской отвлеченной мысли – и те прошли через испытание растерянной мысли и неудовлетворенных порывов сердца, прежде чем философский ключ ко всем тайнам бытия очутился в их руках – как им это показалось.

Вся эта тревога настроения и мысли нашла себе выражение во всех формах тогдашнего словесного творчества – в романе, в повести, на сцене, в статьях историков, критиков и публицистов.

И только в лирической песне эта характерная черта времени была представлена очень слабо.

Лирика Лермонтова составляла в данном случае исключение и одна говорила о том, как глубоко волнение и тревога могут захватить душу человека и с какой силой такая встревоженная душа может высказаться в песне.

Нужно заметить прежде всего, что вообще из всех форм художественного творчества наша интимная, лирическая песня всегда упорнее других противилась вторжению тревожных чувств в свою область. Даже в те годы, когда муза «мести, гнева и печали» стала громко заявлять о своих правах и, одержав с Некрасовым свою первую победу, могла надеяться на долгое торжество, – наша лирика в лице наиболее сильных поэтов оставалась спокойной в своем настроении.

С первых годов своего зарождения в начале XIX века, за сто лет жизни, русская лирическая песня всегда предпочитала

задумчивость, грусть, размышление, созерцание, восторг или спокойное наблюдение всем бурным порывам сердца. Бурные порывы чувств бывали для нее большой неожиданностью. Только в самое последнее время, на наших глазах, лирика обнаружила особую душевную тревогу и нервность. В былые годы она была тем художественнее, чем спокойнее.

С творчеством самого «беспокойного» из наших лириков мы теперь достаточно знакомы. Для Лермонтова тревожное состояние духа не было каким-нибудь преходящим фазисом его поэтического развития, оно было всю его жизнь родником его вдохновения. Правда, эта жизнь оборвалась очень рано и в дальнейшем обещала перемену в настроении, но приходится считаться с тем, что есть, а не с тем, что возможно.

Взятая в том виде, в каком нам судьба ее сохранила, поэзия Лермонтова – совсем особое, исключительное явление. В лирическом настроении старшего поколения нет почти ничего, что предвещало бы столь быстрый и пышный расцвет такой тревожной поэзии. В песнях сверстников также очень мало на нее откликов.

II

Мы знаем, как спокойна и полна самообладания была лирическая песня старшего поколения в устах Жуковского и Пушкина.

Их сверстники, эти сердечные и откровенные певцы своего веселья, своей любви и своей печали, тревожными душами также никогда не были. Чье миропонимание было попроще, как, например, житейская философия Дельвига и Языкова – те нежились в тихой грусти или упивались нехитрой радостью молодости. Другие с более глубоким умом и сложной душой, как, например, Баратынский, Веневитинов и Хомяков, – те в схватке с жизнью стремились сохранить самообладание, углубляя свой философский взгляд на жизнь или преломляя все явления жизни сквозь призму чисто эстетического созерцания. Они могли быть печальны и разочарованы, могли в своей грусти подыматься до высоких степеней пессимизма, но растеряны они никогда не были, и всякая душевная мука легко разрешалась для них либо в пафос, либо в спокойную скорбную мысль. Среди сверстников Пушкина были и такие, которые в силу своего тяготения к политике дня были осуждены, казалось, на ежедневное волнение. Но если присмотреться к стихам, в которых изливалась их бурная душа, то в этой лирике Рылеева, А. И. Одоевского и Кюхельбекера мы найдем подъем патриотического и общественного чувства, гнев и скорбь, со всеми их оттенками, но совсем не найдем раздвоенности, разочарования и той ничем не усмиряемой тревоги, которая так характерна для человека без ясного идейного или практического компаса. Кроме того, все эти сангвинические темпераменты во все минуты сомнений замыкались в сферу интимного религиозного чувства, которое было очень сильно в их сердце и только усилилось под ударами житейских невзгод.

Не все из лириков старшего поколения дожили до тех годов, когда расцвела поэзия Лермонтова и когда в обществе стала ощущаться та затаенная идейная и сердечная тревога, о которой мы говорили. Конечно, эта тревога должна была так или иначе отозваться на их творчестве.

В Баратынском меланхолия была врожденной склонностью сердца и не нашла отпора в жизни. Жизнь, напротив того, всегда питала ее, и в конце 30-х годов его лира не имела уже других песен, кроме унылых и скорбных. К концу жизни поэта к этой врожденной меланхолии присоединилось новое чувство – тягостное сознание своего одиночества среди кипевшей вокруг

него молодой жизни. Раньше, когда стихи Баратынского охотно читались и находили себе поддержку и похвалу в литературных кружках, его меланхолическая лира успокаивала его, утешала и ободряла. Теперь он сознавал ясно, что его поэзия как будто потеряла свой смысл и цену. Он нередко жаловался, что его поэтическое творчество слабеет, что поэтический жар в нем стынет, что его не понимают, и что не понимает его не «безумная толпа», а молодое подрастающее поколение. Ему было неясно, чего молодое поколение от него требовало. Но если бы он даже и понял это требование, он все-таки был бы не в силах ответить на него, так как спуститься с высоты философской мысли и обобщающего эстетического созерцания он – вполне сложившийся художник-мыслитель – не мог. Баратынский боялся всякого «отрезвления», которое могло разрушить его поэтические видения, его поэтическое мировоззрение, покоящееся на житейском опыте прошлого и уже неспособное воспринять новые элементы. Он начал неприязненно смотреть на развитие науки, которая будто бы упраздняла поэтические обманы. Молодое поколение, жившее в то время в круговороте новых вопросов, теоретических и практических, естественно, не могло любить этого поэта, в стихах которого, однако, было столько грации, гуманного чувства и ума.

Те же жалобы на одиночество, та же грусть и печаль, тот же душевный разлад сказались и в песнях Языкова, этого Вакха русской поэзии. В молодости Языков славился своей разгульной жизнью и своими удалыми стихами; и вот, к концу 30-х годов, этот весельчак, остроумец и жрец Киприды и Диониса начал превращаться в святошу и ноющего славянофила.

Для Языкова, как и для всей пушкинской плеяды, поэзия была ревнивым божеством и других богов в своем храме не терпела. Служение этому богу было высшим призванием на земле, и его жрец стоял выше всех житейских мелочей, почему и мог вести себя так вольно и разнузданно, как ни один из простых смертных. Языков превзошел всех своих современников в осуществлении этой «поэтической» свободы; он разгульничал и в жизни, и в стихах. Если часто не было никакой выдержки в его жизни, то и в стихах его иногда было трудно добраться до какой-либо мысли. Языков был воплощением лирического беспорядка.

К концу своей жизни поэт, однако, почувствовал пустоту и бесцельность такой поэзии. Его душа начинала тяготиться бездельем, и он в переписке с друзьями, в особенности с Гоголем, стал часто жаловаться на то, что никак не может найти себе подходящего «дела». В его стихах начинала громко звучать та же жалоба. Обещание остепениться, взяться за «работу», намерение

совершить какое-то великое дело – вот темы, которые часто встречаются в его последних стихотворениях. Все эти добрые намерения кончились, однако, тем, что поэт, связанный узами родства со славянофильским кружком, примкнул к его взглядам и вместо веселых песен стал петь покаянные псалмы и славословить величие и великое призвание своей родины. В покаянии и славянофильстве для Языкова открылся новый мир, в котором он мог найти для своей поэзии и место, и дело. Покаяние было для него делом личным, а патриотическое славословие – делом общественным. Удовлетворяло ли Языкова вполне такое новое направление его творчества – неизвестно: поэт ясно не высказывался; но можно с уверенностью сказать, что вкусам молодого поколения 30-х годов стихи Языкова совершенно не удовлетворяли. Языкова-Вакха иногда еще вспоминали, но Языкова – кающегося грешника не слушали. У нового поколения, действительно, грехов было еще слишком мало, чтобы начать каяться, а вопрос о патриотизме интересовал его не с лирической, а с исторической и философской стороны.

Во всех этих откликах старшего поколения на запрос новой исторической минуты никакой тревоги не ощущалось. Перед нами старики, которые грустят о том, что жизнь их оставила за флагом и что на долю их выпали похороны старых идеалов. Волнение, которое ведет к чему-нибудь новому, – в их скорбной песне незаметно. Но Баратынский и Языков все-таки чувствовали себя как-то неловко в новой обстановке.

А были среди поэтов старшего поколения и такие, которые совсем не заметили перемены в общественном настроении. Не менял своего тона, например, И. И. Козлов – поэт, в старину очень ценимый. Он принадлежал к школе Пушкина, и одно время можно было думать, что в нем наша литература приобретет хорошего байрониста: по крайней мере, из всех переводов и переложений Байрона на русский язык переводы Козлова были в те годы лучшими, как и его «Чернец» (1823) был наиболее удачной русской перелицовкой байронического мотива. Но Козлов этой роли «певца душевных бурь» не выдержал, потому что она не соответствовала ни складу его мысли, ни его темпераменту. Человек чрезвычайно нежный по своему характеру, глубокий христианин, ищущий в поэзии исцеления от душевных и физических недугов (поэт ослеп, как известно), добрый семьянин, он в своей миролюбивой душе хранил благодать покоя, смирения и веры до самой смерти (1840). Его песни, идиллии, элегии и послания оставались неизменно художественными образцами старого сентиментально-религиозного стиля. Старик любил иногда романтическую грезу,

но давно забыл о романтических тревогах своей юности, и тогда, когда Лермонтов стал напоминать о Байроне, Козлов, некогда самый убежденный байронист, давал в своих песнях пример спокойного примирения с жизнью на почве созерцания Бога и культа красоты.

В те годы, когда Лермонтов допевал свои последние песни, Ф. И. Тютчев был хоть и малоизвестным, но уже вполне сложившимся и большим художником. Пушкин первый признал его таковым, напечатав в своем журнале сразу целый сборник его стихотворений. Молодой годами, Тютчев был очень зрел духом и уравновешенно спокоен как художник и мыслитель. Он был лирик, но совсем особого типа: певец философской мысли, уходящей своими корнями в большую отвлеченную глубину, но мысли, оживленной пантеистическим чувством исключительной живости и яркости.

Певец скорее жизни космической в ее целом, чем судеб человеческих, Тютчев как художник был заранее огражден от всех тех бурь и волнений, которые берут свое начало в страстях человека. Очень религиозный в христианском смысле человек, патриот с непоколебимой верой в особую провиденциальную роль России, человек, методично свершающий свой земной путь при условиях очень благоприятных, он знал только одну бурю – бурю мыслей, которых у него было так много; но он чрезвычайно умело приводил их к конечному согласию и это согласие выражал в форме вечно красивого образа. В его поэзии были все ценные качества мудрости, вытекающей из самых широких обобщений. Тютчев как художник больше всех напоминал Пушкина зрелых лет, и этому «пушкинскому» элементу в нашей поэзии он остался навсегда верен.

Если причислить и его к старикам, – а он примыкает несомненно к ним по общему складу своего поэтического миросозерцания, – то можно с уверенностью сказать, что лирическая песня старшего поколения была в целом чужда душевной тревоге.

III

Среди молодых лириков тех годов были, конечно, такие, которые никак не могли установить в своей душе этот желанный – грустный, скорбный, благодушный или жизнерадостный – покой. Их песня была достаточно беспокойна и указывала на несомненную тревогу духа. Они близко подходили к той сфере чувств и настроений, в которой неизменно вращался Лермонтов. Но, как сейчас увидим, тревога сердца этих юных лириков была весьма не глубока и вытекала почти исключительно из условий интимной личной жизни писателей, почему и охватывала очень узкий круг вопросов. В песнях этих лириков нет того волнения высшего порядка, какое испытывает человек при встрече с основными этическими вопросами своего земного существования.

Тревожной по существу может быть названа песня А. И. Подолинского, поэта, который в начале 40-х годов был уже немолод и пользовался некоторой известностью как автор поэм («Див и Пери», «Борский», «Нищий») в хорошем байроническом стиле. Он вместе с Козловым был одним из первых и самых рьяных поклонников Байрона и сохранил это увлечение надолго. Как все наши байронисты, он, конечно, улавливал более или менее удачно внешний колорит оригинала, но в глубины миросозерцания Байрона не проникал, да и не мог проникнуть. Версификатор он был недурной, и романтические народные легенды и разные драматические эпизоды из всемирной истории получали в его переделке известную внешнюю красоту и грациозность. Как лирик и преимущественно как певец душевной тревоги и личной печали, он был, однако, крайне туманен. Когда после стихотворений восторженных и даже радостных (их очень мало, но по художественному выполнению они – лучшие) читатель встречался с длинной вереницей ноющих и печальных стихов, в которых поэт давал волю своему душевному волнению, то источник такой тревоги никак не мог быть уловлен. Поэт хотел себе выяснить соотношение между жизнью и поэзией («Поэзия и жизнь»), но он не смог объяснить, почему «коршун Прометея разрывает ему сердце». Неясно было, почему «владыке-поэту было тяжело носить алмазный обруч диадемы», почему на нем «горел незримый оку венец в лучах и терниях», почему его душа была всегда «полна вечного волнения» («Стансы»). Трудно было также поверить поэту, когда он говорил, что он «осужден жить душой между небом и землей, что земля его отторгла, а рай его чуждается» («Отчужденный»), – трудно поверить потому, что решительно ничего неизвестно о его попытках сблизиться с

землей или приблизиться к небу. Кто он, этот «не демон-соблазнитель, но человек, исчадие собственной души»? Почему «в природе всей он уединен душою и бросает холодный взгляд на небеса, волны и цветы» («Дума»)? На эти вопросы сам поэт вряд ли бы ответил. Он часто повторял, что он «пришел в тесный мир, придуманный людьми», что он «каждый день ослабевал в неволе», что он «хотел кипящей чашей поделиться с людьми и опьянел холодным тяжким хмелем сует, страстей, расчетов, предрассудков», что он «боится увлечься восторгом, чтобы после не посмеяться над собой холодным, горьким, одиноким смехом» («Переезд чрез Яйлу»). Все эти слова и позы нам хорошо знакомы, и они, на Западе и у нас, имели свой смысл, и даже глубокий, если за ними стояли титанические порывы чувства или такие же усилия мысли. Но Подолинский не грешил никаким титанизмом духа, и его поэзия передавала лишь то безотчетное ощущение внутренней тревоги, которую испытывали сентиментальные сердца и несильные умы, подпавшие под удар волны романтического настроения, шедшей с Запада. Людей с таким складом души было немало, и Подолинский был среди них искусным стихотворцем. Но такая скорее легкая зыбь, чем волнение сердца, имела очень мало общего с той глубокой тревогой всего нравственного состава человека, какой была охвачена душа Лермонтова.

Если была среди лириков того времени родственная Лермонтову душа – так это был А. И. Полежаев. Условия жизни не позволили Полежаеву проявить своего таланта во всей его силе, но он, бесспорно, певец нового поколения и нового направления. Лермонтова роднило с Полежаевым всего более тревожное раздумье над святым призванием их творческой деятельности. Оба они одинаково сознавали, что их «дар» был не напрасный и не случайный; они сознавали также, что все, что они успевали создавать, не отвечало и не соответствовало их высоким понятиям о поэте; неусыпная совесть упрекала их в напрасной трате времени и таланта. Тревожное состояние духа, не примиренного с жизнью, и отрицание всякого произвольного и одностороннего соглашения – вот что делает Полежаева похожим на Лермонтова, но на этом сходство их и кончается.

Отличительная черта лирики Полежаева – ее теснейшая зависимость от личных условий его жизни. В ранние годы, спокойные и безоблачные, поэт был чрезвычайно мирно настроен и с голоса Ламартина пел свои сентиментально-религиозные песни. Он потом увлекся Байроном, как и все его поколение, но это увлечение было скорее артистическое, чем идейное. Тревоги и разлада души Полежаев всегда боялся. Глубоко скорбел он, когда

ему вдруг показалось, что он утратил веру и стал атеистом («Ожесточенный»), и в минуту страшной печали, в своем лучшем, наиболее красивом и сильном стихотворении («Провидение»), восторженно приветствовал он возвращение веры и вместе с ней огня любви:

Я погибал…
Мой злобный гений
Торжествовал!..
……
Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна Бог
Из тьмы открытой
Меня извлек;
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил;
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Непостижимый,
Неотразимый,
Он снова влил
В грудь атеиста
И лжесофиста
Огонь любви;
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной
Гори ж, сияй,
Заря святая,
И догорай
Не померкая!

Потребность огня любви Полежаев всегда чувствовал; и в крайнем раздражении один только раз дошел он до открытой, жесткой, полной озлобления брани на человечество

(«Негодование»)[1]. Благодушен Полежаев, впрочем, не был, и в его стихах было немало сатирической злости, по тому времени даже очень смелой, но именно эта сатира лучше, чем что-либо, говорит о бодрости его души, истерзанной самыми невероятными несчастиями. И вот эти-то житейские несчастья и были источником той печали и той душевной растерянности, которой так много в стихах Полежаева. Он жил, как он сам метко выразился, «во цвете лет – без жизни, и без смерти умер в белом свете». «Он расцвел и отцвел в утре пасмурных дней» («Вечерняя заря») и как «отвратительная тень влачил без чувства жизни, без желаний цепь своих страданий» («Цепи»). Кто виноват во всем этом? – спрашивал поэт, и с редким добродушием винил самого себя за свое легкомыслие и за разгульный образ жизни своих юных лет. Ему казалось, что он сам погубил свое дарование, и иной раз все такие упреки и сознание безвыходности своего положения наводили его на мысль о самоубийстве. Он «был весь – расстройство» («К друзьям», 1830–1831). Немудрено, что в минуты такого расстройства он переносил свою печаль и раздражение с себя самого на весь мир, и тогда он писал:

Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений —
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и мильонам творений.
Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой,
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;
Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатленье,
Одно ненавистное – холод к земле
И горькое к жизни презренье.

[«Тоска», 1837]

Эти стихи выражают ту высшую степень мировой и личной скорби, до которой смог подняться этот по природе своей очень веселый и добродушный человек. Скорбь его не вытекала из какого-нибудь принципиального разлада с жизнью, не из трудности решения тех этических проблем, которые она ставит, а исключительно из приниженности духа, оскорбленного случайным незаслуженным несчастьем.

В минуту такой скорби лирика Полежаева напоминала лирику Лермонтова, но родники их песен были разные.

IV

Некоторое сходство с мотивами лирики Лермонтова можно уловить и в песнях Огарева. Талант Огарева достиг своего полного расцвета значительно позже, в 50-х годах, когда к интимным мотивам его личной песни присоединился боевой общественный мотив. Этот боевой мотив никогда особенно силен в поэзии Огарева не был, но он дал грустной и тягучей песне поэта известное оправдание, в котором она, несомненно, нуждалась.

Припоминая условия, в которых протекла первая половина жизни Огарева, до его эмиграции, удивляешься тому общему минорному тону, в каком все его стихи написаны. Условия жизни были, в сущности, очень мягкими и счастливыми. Если в раннем детстве ребенок был лишен ласки матери и если отец не сумел заменить ему этой ласки, то в юношеские годы, на свободе, в университете, среди близких товарищей, при полном достатке, при уме и таланте, Огарев не имел права говорить, что жизнь его обидела. Положим, арест причинил ему много тревоги, но эта, по тем временам грозная, неприятность прошла для него довольно благополучно: наконец, и семейное счастье в первую половину его жизни было безоблачно. Сам он в те годы был молодым энтузиастом, поклонником Шиллера, поклонником свободы во всем ее эстетическом и этическом смысле и, кроме того, слегка мистиком. Его неизменно грустная и заунывная песня стояла, таким образом, в противоречии с фактами его жизни и общим складом его миросозерцания. Позднее, когда мечты разбились о действительность, когда все благие общественные его начинания потерпели крушение, когда личное счастье погибло и началась для него безотрадная жизнь эмигранта, который сам в себя не верил, – тогда, на склоне дней, меланхолия поэта объяснения не требовала.

Если же подыскивать объяснение той необычайно искренней и глубокой грусти, которая звучит в ранних стихах Огарева, то придется признать, что она была для него фатальным даром самой природы. Настоящее было в его глазах всегда обесценено либо воспоминанием, либо мечтой, опережавшей жизнь. Даже в тот ранний период жизни, когда воспоминаний нет, и тогда уже Огареву казалось, что в прошлом лежит нечто ценное, навеки утраченное. Ничего такого ценного, конечно, в прошлом не лежало, и воспоминания поэта были такой же мечтой, как и его туманные грезы о будущем, – именно туманные, так как нигде поэт не высказывался ясно о том, чего бы он желал для себя.

Ценители его поэзии очень метко говорили, что весь смысл ее заключен в постоянной жажде полноты счастья, жажды «полного аккорда» жизни, гармоничного равновесия духа, без резкой жалобы на отсутствие всего этого в жизни и без уверенности, что такое счастье на земле мыслимо и достижимо. Огарев не принадлежал ни к тем скорбным и гневным поэтам, которые раздражены разладом мечты и жизни, ни к тем энергичным и восторженным певцам, которые верят в соглашение идеала и действительности в тех или иных сферах жизни и духа. Среди современных ему лириков Огарев, действительно, стоит совсем одиноко со своей тоской, хандрой и скукой, которая коренится исключительно в этой странности его психической организации, в этом пребывании в постоянном томлении без склонения в сторону резкого недовольства или примирения. Конечно, и Огареву случалось иногда брать полный, мужественный аккорд Прометеева гнева («Прометей», 1841), но он его брал просто как хороший техник стиха, а не как соумышленник титана. И ближайших родственников этого титана – Фауста, Манфреда и Гамлета – Огарев не хотел признать близкими себе людьми и говорил, что он в жизни никогда с ними не сблизится – конечно, потому, что тревога их духа была чужда его «женски-тихому, нежному нраву» («Le Cauchemar»).

Мучения Тантала Огарев близко принимал к сердцу, так как они напоминали ему вечную жажду его собственной души:

А я томлюся день и ночь
И мук не в силах превозмочь,
И в ваш Олимп недостижимый
Проклятье, боги, вам я шлю
За голод мой неутолимый,
За жажду вечную мою,
За то, что вы всегда в покое
И что мученье – жизнь моя,
И, наконец, проклятье вдвое
За то, что все ж бессмертен я.

[«Танталъ»]

Но ничего Огарев так не боялся, как именно смерти. Его хандра никогда не доводила его до призыва смерти как избавителя, и всегда, когда поэт в своих стихах касался тайны смерти, он откровенно признавался в том страхе, какой она на него нагоняла. Он любил жизнь и в своих многочисленных задушевных описаниях природы после прочувствованных осенних

и зимних пейзажей с особенно любовным чувством вырисовывал картины возврата и торжества весны.

В самые ранние годы в поэзии Огарева было много религиозного чувства:

О нет! я верю! верю! Нет!
Я знаю! Для меня есть свет, —
Я знаю – вечная душа,
Одною мыслию дыша,
Меняя формы, все живет,
Из века в век она идет
Все лучше, лучше, и с Тобой
В одно сольется, Боже мой!

[«Среди могил я в час ночной»]

……..
…И свет души мне указал,
Что жизнь дана не в наслажденье,
Чтоб радость твердо я изгнал
И с верой избрал путь спасенья.
Вот я зажег в груди моей
Огонь любви неугасимый
И с ним пройду среди морей
Житейских бедствий и скорбей,
Страдалец ввек непобедимый,
Как Иисус, я за людей
Хочу переносить гоненья,
Чтобы замолкнул звук цепей
И час ударил примиренья.
И пусть мой утлый челн возьмет
Тогда назло пучина злая, —
Есть лучший мир! Душа живет
В нем, никогда не умирая.
Из горних стран, где все светлей,
Быть может, полон состраданья,
Еще не раз слезой моей
Я освежу среди страстей
Скорбящий дух в земном изгнанье.

[«Христианин»]

Так, и довольно часто, молился Огарев в юности, но с годами

это молитвенное настроение в нем исчезало или по крайней мере было бессильно остановить в его душе быстрый рост хандры и грусти… «И стыдно становилось ему жаловаться, а в том, что как-то чудно жило в его душевной глубине – высказаться было трудно» («Исповедь»). Но поэт все-таки жаловался. В длинном ряду стихотворений тянулась эта жалоба, довольно однообразная и монотонная, скрашенная лишь красотой стиха, в котором она выливалась.

А я молод, жизнь моя полна,
На радость мне любовь дана от Бога,
И песнь моя на радость мне дана,
Но в этой радости как грусти много!

[«Много грусти»]

……..
Еще во мне есть жажда жить,
К блаженству жгучее стремление:
Я не отвык порок любить.
Меня томит страстей волнение, —
И очень, очень – может быть —
Далеко время примиренья,
Когда сознание с душой
Сдружит незыблемый покой.
Оно придет ли?.. Но пока…
Еще гнетет неумолимо
Меня тяжелая тоска,
Отрадный звук несется мимо.
А плач нисходит с языка…

[«Послание к друзьям из Швальбаха»]

Это «еще» длилось всю жизнь, и никогда никакой покой не мирил души поэта с его сознанием. Да и немыслимо было такое примирение при полной неясности того, чего Огарев требовал от жизни:

Душа грустит, стремяся и желая,
Трещит свеча, печально догорая…

[«Фантазия», 1841]

Свеча его жизни, действительно, печально догорала и продолжала светить ровным грустным светом, не потухая и не вспыхивая.

В известном стихотворении «Монологи», которое было написано Огаревым в минуту относительного душевного покоя, сохранено одно необычайно скорбное признание поэта; оно не говорит нам об источниках его грусти, но ясно вскрывает перед нами всю ее глубину:

Чего хочу?.. Чего?.. О! Так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой – их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвигов хочу,
Еще хочу любить с безумною тоскою,
Весь трепет жизни чувствовать хочу!
А втайне чувствую, что все желанья тщетны
И жизнь скупа, и внутренне я хил.
Мои стремления замолкнут безответны,
В попытках я запас растрачу сил.
Я сам себе кажусь, подавленный страданьем,
Каким-то жалким, маленьким глупцом,
Среди безбрежности затерянным созданьем,
Томящимся в брожении пустом…
Дух вечности обнять зараз не в нашей доле,
А чашу жизни пьем мы по глоткам,
О том, что выпито, мы не жалеем боле,
Пустое дно все больше видно нам;
И с каждым днем душе тяжеле устарелость,
Больнее помнить и страшней желать,
И кажется, что жить – отчаянная смелость;
Но биться пульс не может перестать,
И дальше я живу в стремленье безотрадном,
И жизни крест беру я на себя,
И весь душевный жар несу в движенье жадном,
За мигом миг хватая и губя.
И все хочу!.. чего? О! Так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой – их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

[«Монологи», 1844]

Вопрос, поставленный этим монологом – столь схожим с первым монологом Фауста, – неразрешим или разрешим частями: сама жизнь должна ввести в берега все эти безбрежные желания и указать человеку ряд доступных его силе подвигов, трудясь над которыми он нашел бы в работе успокоение. И были такие подвиги, на свершение которых жизнь толкала Огарева. Он отдавал им свои силы, но безбрежные желания его не покидали:

Я идеалов всех моих —
Хоть не могу отстать от них —
А стал ужасно как бояться.
Дано в числе мне Божьих кар
То, что я вместе стар и молод,
Что сохранил я юный жар,
А жизнь навеяла мне холод…
Еще довольно скорби даст
Мне сей безвыходный контраст!

[«Грановскому», 1843]

Контраст был, действительно, безвыходным, потому что в этом постоянном томлении о «полном аккорде жизни» Огарев исключительно подчинялся набегавшей волне настроения, не давая своему уму никакой власти над нею. Поэт обладал, бесспорно, умом достаточно сильным, но в стихах он оставался лириком преимущественно ощущений и настроений без попытки как-либо философски их осмыслить. Идей, в полном смысле этого слова, над которыми бы его ум работал, в его стихах мы не встречаем. Нет в них и ясной постановки этических и общественных вопросов, решение которых могло бы понудить поэта признать известную определенную программу жизни за цель своих идейных и общественных стремлений. Во вторую половину жизни как политик и публицист Огарев имел такую цель, но в своем художественном творчестве он как-то отделял человека от общественного деятеля и, оставаясь наедине с музой, был занят почти исключительно своей личностью грустного и в грусти нежащегося мечтателя.

В ранние годы Огарев из сферы этой тягучей грусти никогда не выходил. Когда в 1841 году он в поэме «Юмор» пожелал, наконец, привести несколько в порядок свое неуловимое миропонимание, то эта попытка – сквозь призму юмора взглянуть со стороны на самого себя и на жизнь – совсем не удалась. За исключением нескольких юмористических и обличительных страниц, в которых есть и сарказм и даже политическая сатира, –

все остальное в этой поэме та же лирическая песня с неизменным припевом тоски, не находящей себе определения, «недуга, порожденного духом тьмы и странной пустотой века», тоска, которая может назваться

Охотой к лету средь зимы,
Разладом с миром и собою.
Стремленьем наконец к тому,
Что не дается никому.

И – странно! Поэт отчетливо понимал, что именно теперь, в начале 40-х годов, когда «Фурье, С.-Симон и другие пророки начертили нам план иных времен», – беспричинная тоска менее всего разумна. «Над нами нависла буря; и после бури нас ждет новый светлый день», и все же грусть… и грусть…

В нас, в веке, может быть, ином
Была бы тишина святая;
Но в теле дряблом и больном
Теперь живет душа больная;

Мы суждены желать, желать
И все томиться и страдать.
авайте же страдать…
Есть, право, в грусти наслажденье,
И за бессмысленный покой
Не отдадим души мученье.
Возьмем страданье и стремленье
Себе в удел…

Странным может показаться эта решимость избирать себе в удел страданье, когда можно избрать бодрое дело. Огарев, как известно, приписался к такому бодрому делу, но он никогда не мог заглушить в себе опасения, что меланхолия навсегда разъела его сердце:

Как бы нам дойти,
Чтоб духом выше стать страданья
И ровно жизнь свою вести;
Как светлое души созданье
Встречаться с каждым на пути.
С любовью, полной упованья,
Привлечь его, не дать коснеть

И сердце сердцем отогреть!
Но мы влиянье на других
В тоске растратили невольно:
И слишком любим нас самих,
Людей же любим не довольно:
Мы нашей скорбью мучим их,
Что многим скучно, близким больно,
А жизни лучший идеал
Для нас невыполнимым стал.
Но впрочем, что же? На кого
Прикажете иметь влиянье?
Собрать людей вокруг чего?
К чему им указать призванье?
Какая мысль скорей всего
Их расшатать бы в состоянье?
Как, эгоизм изгнав из них,
Направить к высшей цели их?
Не знаю, право. Целый век
Из этого я крепко бился,
На поиск направлял свой бег,
Везде знакомился, дружился,
Но современный человек
Был глух на крик мой…

Так ли это было на самом деле? Едва ли про Огарева можно сказать, что он в первую половину своей жизни успел сделать много попыток к сближению с современным человеком. Но поэту могло это показаться, и ему нужно было оправдание своей тоски, которая неотлучно плелась за ним повсюду:

Куда ни ехать – все равно:
Везде с собою сами в споре,
Мученье мы найдем одно,
Будь то на суше, иль на море,
Как прежде, как давным-давно,
За нами вслед помчится горе.
Аккорд нам полный, господа,
Звучать не станет никогда.

От отсутствия полноты аккорда жизни страдал и Лермонтов, но он никак не мог успокоиться на одном лишь ощущении отсутствия такого аккорда. Мы знаем, как Лермонтов раздражался и как он неустанно искал выхода из тех сомнений, в

какие его повергали все данные им решения этической проблемы жизни, решения, которыми он всегда оставался недоволен. Сердце Огарева такой глубокой тревогой не было охвачено, так сильно не скорбело, не гневалось, а главное, Огарев как-то мирился со своим положением вечно томящегося и грустящего человека.

V

Полежаев и Огарев были единственными лириками 30-х годов, про которых Лермонтов мог с некоторыми оговорками сказать, что они ему сродни по духу. Но мы убедились, что это родство было все-таки отдаленное.

Для остальных лириков тех годов Лермонтов был совсем чужой.

Их было немало тогда – этих певцов интимных чувств и настроений, и среди них были несомненно даровитые люди.

Довольно большие надежды возбудили в читателях лирические стихотворения трех молодых авторов, за которыми в середине 30-х годов стала устанавливаться слава как за поэтами с тяготением к «философии». Это были И. П. Клюшников, писавший под псевдонимом – ф —, В. И. Красов и Э. И. Губер.

В «философских» молодых кружках 30-х годов стихи Клюшникова и Красова пользовались несомненным успехом, что, однако, не доказывает еще присутствия в этих стихах настоящей, ясной философской мысли. Репутация «философов» установилась за Красовым и Клюшниковым, вероятно, потому, что в их стихах царило необычайное спокойствие духа. Все трудные вопросы жизни были обойдены в их песнях грустным молчанием, и могло казаться, что известный покой мудреца-философа лежит в основе миросозерцания поэтов. Но было ли у них цельное и связное мировоззрение – это вопрос, который их лирическими песнями не разрешается.

Клюшников писал очень мало и в начале 40-х годов совсем замолчал. Писал он все больше любовные стихи, гладкие и нежные, но весьма ординарные по своим темам; часто плавал он в меланхолии и очень любил грусть воспоминания и просил иногда для себя кончины; случалось, что с чужого голоса он хотел быть дерзким, и тогда он робко брал романтически-тревожную ноту – но в конце концов вся грусть и тревога разрешались в смирении перед волей Божией, смирении, которое можно было понять и как ощущенье благодати Господней, и как признанье закономерной необходимости, и как погружение в пантеистическое созерцание всего мироздания:

Дар мгновенный, дар прекрасный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Ум молчит, а сердцу ясно:
Жизнь для жизни мне дана.
Все прекрасно в Божьем мире!

Сотворивший мир в нем скрыт;
Но Он в чувстве, но Он в лире,
Но Он в разуме открыт.
Познавать Его в творенье,
Видеть духом, сердцем чтить —
Вот в чем жизни назначенье.
Вот что значит в Боге жить.

Такая жизнь в Боге не исключала, конечно, минутной печали и грусти, но очевидно было, что самому поэту этот порядок грустных и тревожных чувств не доставлял никакой радости:

Душа искала просветленья —
И он настал, священный миг!
Я сердцем благость Провиденья
И тайну бытия постиг.
Я в пристани. Былое горе,
Былая радость бурных дней,
Простите! Но зачем же море
Так памятно душе моей?
Зачем в мир новый и прекрасный
Занес я старую печаль?..

Поклонники стихов Клюшникова думали, что этот «новый и прекрасный мир» был завоеван поэтом с помощью глубокого раздумья над тайной бытия, которая ему наконец открылась; но они ошибались. Поэт просто прошел мимо всех тайн, чтоб оградить спокойствие своего ума и сердца от всякой тревожной думы.

Сохранение такого спокойствия духа было первой заботой и другого поэта-философа, В. И. Красова, стихи которого также в свое время стояли очень в цене.

Философской мысли в стихах Красова было мало, но настроения и чувства много. Красов был особенно нежен в своих любовных элегиях, грустных, теплых и очень музыкальных. Никакой аккорд страсти, а тем более тревоги не нарушал мирной гармонии этого любовного шепота. По мнению Красова, в любви жила вся красота жизни, как весь ее смысл был в молитве и в нравственном подвиге.

В своих молитвах Красов был очень искренен, и видно было, что все труднейшие вопросы жизни разрешались для него в этой сфере религиозного чувства.

Спаситель! Мне тяжко, мне грустно, Спаситель!
Душа утомилась в оковах земных,
О, дай мне, Отец мой, покоя обитель
В свободном пространстве небес голубых!
Житейского моря мятежные волны
Давно сокрушили мне юную грудь,
На путь мой, страстей возмутительных полный,
Мне страшно, мне страшно, Спаситель, взглянуть!
Лишь тихая лампа да крест Твой священный
Полночные зрели страданья мои!
Когда же, Отец мой, душой обновленной
Когда ж полечу я в объятья Твои?..
……..
Я плачу: слезы эти святы,
То дань Творцу от сердца моего
За радости мои, за горе и утраты,
По гласу вечному закона твоего.
Как я любил в твоем прекрасном мире…
Какие чувства испытал!
Я ликовал на светлом жизни пире,
Тебя, незримого, в творенье созерцал;
И падал я, знал слезы и сомненья…
Плоть бренна, но душою я парю!
К Тебе любовь моя, к Тебе мои волненья.
Благодарю, Творец, за все благодарю.

Как непохожа эта благодарность на ту, о которой говорил Лермонтов в своем знаменитом стихотворении «Благодарность»!

Молитва, несомненно, облегчала Красову его расчеты с жизнью, но она не ограждала его от грусти воспоминаний и никаких надежд на будущее в нем не будила.

Красов был трогателен в своих воспоминаниях, которые все относились к тому счастливому времени, когда он сидел на студенческой скамье вместе со Станкевичем:

Возьмите все, святые неба силы,
Но дайте мне прошедшее назад!
О! день один за цену всех наград,
Хоть час один из жизни давней, милой!
Не боле – час! я только час прошу.
Потом тяжелую веригу наложу,
И сам свою я вырою могилу
И лягу в гроб – за час, за час один…
О, внемлите ли вы, святые неба силы?..

Поэту казалось, что все, что может дать жизнь, она ему уже дала однажды в кружке тех товарищей, с которыми он вступал в жизнь, и он говорил, обращаясь к тени Станкевича:

Мы сожгли без сожаленья
Юность гордую дотла;
А надежды и волненья
Буря жизни унесла.
Прихоть, бешеные страсти,
Злость людей, мечты, обман —
Не имеют больше власти
Нанести нам новых ран.
И звучит еще отрадой
Только прошлое одно…
Счастья нового не надо!
Жизнь изведана давно.

И чего ждать от грядущего, когда все мое счастье в прошлом? «Я скучен для людей, мне скучно между ними!»

…Теперь люблю
Обитель тихую, безмолвную мою.
Там зреют в тишине властительные думы,
Кипят желания, волнуются мечты,
И мир души моей то светлый, то угрюмый,
Не возмущается дыханьем клеветы.
Когда же по душе пройдет страстей гроза,
Настанет тягостная битва,
Есть на устах Тебе горящая молитва,
А на глазах дрожащая слеза.
Тогда бегу людей, боясь их приближенья,
И силюсь затаить и слезы, и волненья…
И грустно расстаюсь я с думами моими;
Я скучен для людей, мне скучно между ними!

Но эта скука не индифферентная и не озлобленно-враждебная, какой она становилась в сердце демонических натур, рассорившихся с действительностью и ничего не ожидавших от грядущего. Как «философ» Красов пытался общаться с людьми и жизнью в сферах эстетического созерцания и в великом акте преклонения перед идеей добра:

Мечтой и сердцем охладелый,
Расставшись с бурями страстей,
Для мук любви окаменелый,
Живу я тихо меж людей.
Мои заветные желанья
Уж в непробудном сне молчат.
Мои сердечные преданья
Мне чудной сказкой уж звучат.
Но я живу еще: порою
Могу я чувствовать, страдать,
Над одинокой головою,
Хоть редко, веет благодать
Созданья гения – поныне
И добродетели простой
Высокий подвиг, как святыня,
Моею властвует душой…

Так религиозно-смиренна, безмятежно-спокойна и не требовательна была лирика этого – столь ценимого в философских кружках – поэта.

И еще один молодой поэт тех годов думал в философии найти свое призвание. Это был Э. И. Губер, ныне почти совсем забытый. Губер любил, когда его называли «философом»; действительно, книжки немецких мудрецов в его руках побывали; по крайней мере, он сам говорил, что целых три года убил на изучение философии во всех ее направлениях. «Хотя, – добавлял он, – в результате этого изучения и получилось горькое сознание человеческой немощи». Такой печальный вывод не помешал, однако, Губеру приняться за составление критической истории философии и помещать, – правда, весьма нехитрые – статейки философского содержания в «Отечественных записках» конца 30-х годов.

«С тех пор как я себя знаю, – писал Губер в одном частном письме, – я чувствую в себе непреодолимую привязанность к философским занятиям, к философии в полном смысле этого слова, во всех ее направлениях и применениях к жизни, к философии как науке и по отношению ее к искусствам».

Если бы мы пожелали, однако, в стихотворениях Губера найти подтверждение этим философским вкусам, то поиски наши едва ли бы увенчались успехом. В стихах Губера заметна легкая примесь мистики, к которой он был предрасположен от природы и вкус к которой был в нем, кажется, поддержан и воспитан одним из известнейших мистиков и масонов – Фесслером, с

которым Губер на самой заре своей юности свел знакомство. Но эта мистика, равно как и тяготение к философии вообще, не принимали никакой осязательной формы в его поэзии. Единственно, на чем они сказались, это – на любви поэта к идейным сюжетам. Мы обязаны Губеру первым полным и хорошим переводом «Фауста» Гёте – переводом, который очень одобрял Пушкин, знавший Губера лично. О попытках самого поэта создать нечто цельное, строгое и философски продуманное нельзя высказать окончательного суждения, так как первый опыт в этом роде (поэма «Антоний») вышел туманным и невыдержанным в композиции и развитии, а последний опыт, зрелый и много обещавший (поэма «Вечный Жид»), был прерван смертью в самом начале (Губер умер в 1847 году)[2].

Лирические стихотворения Губера, которые в свое время завоевали поэту симпатии читателей, сохраняют в настоящее время за собой лишь исторический интерес, и любопытны они как новый пример того спокойствия, какой умела хранить наша лирическая песня даже в устах человека, способного на большое душевное волнение. А Губер умел волноваться. «Пламенные мысли Шиллера волновали его грудь и стремили ее к высокому и неприступному», и очевидно, что жар его речей был достаточно силен, потому что нашлись люди, которые его уверяли, что его мыслями мог бы гордиться сам Шиллер. Лирические стихотворения Губера этого жара, однако, не сохранили; наиболее ценное в них – был самый стих, напоминавший хорошую пушкинскую чеканку. В общем стихотворения были унылые и томные, во вкусе тогдашнего сентиментализма, и почти совсем без романтической тревоги. Губер был прав, когда называл Жуковского учителем своей юности. Правда, он говорил, что и Гёте одновременно был его учитель, – и это верно лишь в том смысле, что Губер учился у Гёте эстетическому самообладанию.

В стихах Губера было немало нежных и даже достаточно страстных любовных признаний; иногда горячее заступничество за свободу вдохновения, за право петь как птица; были и прогулки по кладбищу, и мысли о воскресении за гробом, и полет в небеса, и утешение в слезах, и частая жалоба на усталость, и разукрашенные мечты о счастливом прошлом… Все эти мотивы ни новизной, ни отделкой не блистали, но один из них будил в поэте большую силу искренности. Это был мотив религиозный:

Высокомерия лукавая мечта
В груди задерживает битвы,
И страсть безмолвствует, и грешные уста
Лепечут детские молитвы.

[«Благовест», 1839]

И не одну только детскую молитву лепетали уста поэта, но и молитву бойца, про которую Губер говорил так просто и ясно:

Как устанешь в битве
Полон вечной муки,
Подними к молитве
Связанные руки.
Не порвутся цепи
От мольбы любимой
За родные степи
Да за край родимый.
Но отрадно в битве
Помолиться Богу:
Легче гнуть к молитве
Скованную ногу.

[«Молитва», 184?]

Иногда, впрочем, поэт не выдерживал такого спокойного тона и впадал в настоящий «романтизм» в шилллеровом духе:

Душа в огне, уста дрожат,
Мечты слились в живые звуки,
То грозные, как громовой раскат,
То нежные, как лепет страстной муки:
«Восстань от сна, сорвись с цепей!
Он твой, весь этот мир! Переступи за грани,
Зови врага на грудь и ненависть людей
Испепели огнем лобзаний,
Пожаром бешеных страстей!
Весь мир на грудь мою! От пламенных объятий
Судьба бессильная меня не оторвет,
И на любовь мою, как на любовь дитяти,
Вражда коварная отравой не дохнет.
За мной, под небеса родные!
На горы темные, на родину громов!
Туда, где бури вековые
Свивают тучи громовые
Из влажной ткани облаков!
Вперед, вперед!..

[«Три сновиденья», 1835]

Но такие строфы в стихотворениях Губера – лишь дальние зарницы душевной бури, которые никакой грозы не предвещали. Да Губер и не желал грозы и очень ее боялся.

Страх поэта перед сомнением, тревогой и всяким разладом души и ума очень ясно сказался в его философской поэме «Антоний». Поэма не окончена, растянута и туманна, в ней нет ясного плана, но ценна она как признание молодого сердца, которое ничего так не боится, как волнения, и ничего так не жаждет, как покоя в обладании истиной и философски обоснованным миропониманием.

Есть в жизни странные мгновенья.
Мы ждем чего-то: смутных дум,
Тоски, надежд и вдохновенья,
И слез, и страха полон ум.

В одну из таких минут, когда сердце «жаждет бурных перемен», когда его «теснит старый плен» и оно «в вечном споре с самим собою», старик Сильвио стал искушать Антония своей холодной мудростью.

Любви и ненависти чуждый,
Без чувств, без веры, без страстей.
Он слышал плач, он видел нужды
Без жалости к судьбе людей.
На их страдания земные
Он [Сильвио] с равнодушием смотрел,
Но все их страсти роковые
Бесстрастный ум уразумел.
Быть может, страшных преступлений
Была сосудом грудь его;
Быть может, слезы поколений
Доносят Богу на него!..

И этот Сильвио, как Мефистофель при Фаусте, стал спутником Антония, – одновременно пробуждая в нем тревожные думы и чувства и доказывая ему, сколь беспомощен бывает человек под тяжестью такой тревоги. Сильвио все отнял у Антония: он разбил все его сентиментальные идеалы, сорвал

поэтический покров с любви, с семейных уз и, отняв все, ничем не заменил тот мир, который он уничтожил. К чему все эти трезвые, бессердечные удары по беззащитному сердцу, которое молит лишь о том, чтобы страсти его миновали? И Антоний говорил своему искусителю:

…Вся жизнь моя,
Благодаря твоим стараньям,
Осуждена на вечный бой,
Обречена одним страданьям;
Не вижу цели пред собой;
Моим страстям до пресыщенья,
Порою, угождаешь ты;
Порою, страстные мечты
Среди бесплодного томленья
Житейской прозою мертвишь
Или насмешкою холодной
Святой порыв души свободной
В свирепой радости чернишь.
Но в сердце глубоко, незримо
Желанье тайное живет;
На дне души неодолимо
Оно невидимо растет.
Все только страсти, всюду страсти —
Но эти страсти мне враги,
Я жить хочу!..

Но что значить жить? В какой мере страсти должны двигать жизнью и не прав ли Сильвио, когда говорит:

Пойми же наконец,
Что в жизни нет и не было покоя,
Что вся она, как тлеющий мертвец,
Сама сгниет от праздного застоя.
Движенье нужно ей и вам.
Борьба и страсти – ваша пища,
И только жителям кладбища
Покойно спится по гробам.

Насколько можно проникнуть в смысл этой туманной поэмы Губера, она – бесхитростное и искреннее отражение той несомненной растерянности духа, которая мучила этого «философа» и путала его размышления о жизни. Он инстинктивно

боялся волнения и тревоги и вместе с тем понимал, что в них вся соль бытия. Философ был он слабый и «осмыслить» страсть, т. е. лишить ее острого жала, он не мог. Но не чувствовать этих страстей он также не мог, так как душа у него была чуткая и он по мере сил старался идти вровень со своим веком. Уже один неотразимый страх перед волнением и тревогой, который так ясно проступает в поэтической исповеди Губера, показывает нам, что художник не нашел в излюбленной философии той панацеи, которую искал. Но этот страх указывает также на то, как туго и неохотно откликалась душа поэта на всякие титанические порывы, как она избегала бури страстей – столь заманчивой для всех романтических сердец.

Поставленная рядом с песнью Лермонтова лирика Губера могла казаться ей родственной, но при более тщательном анализе основных ее мотивов она обнаруживала свое резкое несогласие с лермонтовским настроением. Как бы Лермонтов ни тяготился душевной тревогой – она бодрила его и окрыляла как поэта; Губера эта тревога страшила и истомляла, и лучшие его стихи те, в которых этой тревоги совсем незаметно.

VI

Гораздо большей известностью, чем все только что поименованные лирики, пользовался в 30-х годах Бенедиктов. Он имел широкий круг почитателей, которые ставили его выше Лермонтова и удивлялись в его стихах обилию «мыслей». Но мыслью лирика Бенедиктова блистала менее, чем какими-либо другими своими качествами. Бенедиктов был искусный стихотворец-пиротехник, который ценил в стихе более всего внешний блеск рифм и размера. В погоне за этим блеском Бенедиктов на свой страх создавал новые слова и новые обороты речи, и часто та искра поэзии, которая в его душе горела, гасла под риторикой вычурных сравнений и слов.

Не должно, впрочем, к этому недостатку в стихотворениях Бенедиктова относиться так строго, как к нему отнесся в свое время Белинский, который в увлечении читателя Бенедиктовым видел прямое доказательство мало развитого эстетического вкуса. Как-никак Бенедиктов из всех наших лириков тех годов был самым красивым и сильным выразителем патетического подъема души. Он хотел настроить читателя возвышенно и пробудить в его душе величавое чувство почтения к святому таинству вдохновения. Приблизить читателя к этой тайне поэт пытался, однако, не размышлением, глубоким и строгим, не пробуждением истинного чувства, а способом более внешним: он словами и образами хотел наглядно изобразить красоту, разлитую в природе и в жизни человека. По его мнению, достойное описание этой красоты должно было заменить ее истолкование, и человек в простом созерцании красоты мог уловить ее сущность. Идя этой дорогой, Бенедиктов избегал несложных интимных тем и подстерегал и наблюдал человека всегда в те минуты, когда он чем-нибудь восхищался.

Предметом его собственного восхищения в большинстве случаев была природа с ее неисчислимыми величественными красотами и тайнами. Бенедиктов любил описывать небеса, горы и моря, причем всеми этими разнообразными картинами он иллюстрировал, в сущности, очень однообразное личное настроение восторга. Чтобы передать это настроение читателю, поэт нагромождал сравнения на сравнения, придумывал эпитеты громкие и цветистые и стремился придать своему стиху особенную плавность и звонкость. Что в погоне за такими эффектами он впадал часто в вычурность и риторику, это – верно, но нередко картина получалась очень колоритная и эпитет был нов и образен. Читателю передавалась та восторженность,

которая ни на мгновение не изменяла поэту. Такая восторженность исключала даже попытку пытливой мысли проникнуть в тайну величественного явления:

Повсюду прелести, повсюду блещут краски!
Для всех природы длань исполнена даров.
Зачем же к красоте бесчувственно-суров
Ты жаждешь тайн ее неистовой огласки?
Смотри на дивную, пей девственные ласки:
Но целомудренно храни ее покров!
Насильственно не рви божественных узлов,
Не мысли отпахнуть застенчивой повязки!
Доступен ли тебе ее гиероглиф?
Небесные лучи волшебно преломив,
Раскрыла ли его обманчивая призма?
Есть сердце у тебя: пади, благоговей!
И бойся исказить догадкою твоей
Запретные красы святого мистицизма!

[«Природа»]

Наряду с природой предметом благоговейного поклонения поэта была и женщина, воспетая им в стихах, которые современникам казались слишком страстными. Но именно страсти в этих любовных стихах Бенедиктова не было, а было лишь любование эффектами красивой женской внешности. Интимного, глубокого чувства поэт не умел выразить, но пленить картиной красивой женской позы, красивого женского тела он умел. И он опять восторгался и придумывал эпитеты и сравнения. И такой восторг был, кажется, ему дороже самой любви, так как любовь, как он выражался, была лишь «капля яду на остром жале красоты» («К М-ру»).

Глубоких, запутанных и тревожных, этических или философских тем Бенедиктов касался редко и никакого своеобразного освещения им не дал. Патриотические, религиозные и исторические темы мелькают на страницах его лирических стихотворений, но опять лишь в форме красивых сравнений и картинок – патетичных, но без всякой тревоги.

Между певцом и миром нет тесной связи: певец так высоко поставлен над всем твореньем, что только с самим собою во всем мире он может и должен считаться:

Бездомный скиталец – пустынный певец —
Один, с непогодою в споре,

Он реет над бездной, певучий пловец
Безъякорный в жизненном море;
Все вдаль его манит неведомый свет;
Он к берегу рвется, а берега нет,
Он странен; исполнен несбыточных дум,
Бывает он весел – ошибкой;
Он к людям на праздник приходит – угрюм.
К гробам их подходит – с улыбкой;
Всеобщий кумир их ему не кумир —
Недаром безумцем зовет его мир!
Он ищет печалей – и всюду найдет;
Он вызовет, вымыслит муки,
Взлелеет их в сердце, а там перельет
В волшебные, стройные звуки,
И сам же, обманутый ложью своей,
Безумно ей верит и плачет над ней.
Мир черный бранит он и громы со струн
Срывает карающей дланью:
Мир ловит безвредно сей пышный перун,
Доволен прекрасною бранью;
Ему для забавы кидает певец
Потешные планы на мрамор сердец!..
Врагов он находит, – но это рабы,
Завистников рой беспокойных;
Для жарких объятий кровавой борьбы
Врагов ему нету достойных:
Один, разрушитель всех собственных благ,
Он сам себе в мире достойнейший враг!

[«Певец»]

Такая высота исключает, конечно, всякую глубокую сердечную тревогу. Тревога вызывается близостью к жизни, а где близость заменяется созерцанием на расстоянии, там дана уже полная возможность успокоения:

Так смертный надменный, земным недовольный
Из темного мира, из сени юдольной
Стремится всей бурей ума своего
Допрашивать небо о тайнах его;
Но, в полете измучив мятежные крылья,
Упадает воитель во прах от бессилья.
Стихло дум его волненье.
Впало сердце в умиленье —

И его смиренный путь
Светом райским золотится,
Небо сходит и ложится
В успокоенную грудь.

[«Буря и тишь»]

Бенедиктов был, несомненно, такой «умиленный» пред красотой и «успокоенный» поэт, который только во внешнюю отделку своего стиха, в его ритм и метафоры вносил большую смелость и новизну.

Отделкой стиха блистала и довольно популярная тогда графиня Ростопчина – друг юности Лермонтова. Ее стихи были благосклонно встречены даже строгой критикой, и они заслуживали этого признания своей простотой и искренностью. Позднее, к концу 40-х годов и в начале 50-х, поэтесса увлеклась политикой, в которой, конечно, не могла разобраться, и песня ее утратила тот наивный характер, который составлял главную ее ценность.

Наивна была лирика Ростопчиной в том смысле, что она без претензий, откровенно отражала мечты и грезы идеалистически настроенной женский души.

Это был не первый пример, когда русская женщина выступала в литературе, но среди редких образцов женского поэтического творчества это был образец самый удачный. Поэтесса была очень образованной женщиной, прошла хорошую литературную школу и, несомненно, владела стихом. Недостатком могла показаться лишь известная узость ее поэтического кругозора, но именно эта узость и сохраняла за песнью Ростопчиной ее оригинальность и ее несложную искренность.

В ранней молодости, как видно из признаний в «Дневнике девушки» – в этом очень удачном образце русского психологического романа старого типа, – Ростопчина, конечно, не избегла романтических искушений: она увлекалась Байроном, певцами мировой скорби, но их искушению не поддалась настолько, чтобы начать подражать им: скорбь и тревога этих мрачных душ была ей чужда, и она очень определенно высказала свое осуждение поколению Вертеров и Чайльд-Гарольдов. Она писала:

Мне жалко вас, скучающих и бледных,
Земли непрошенных, взыскательных гостей,
Богатых опытом, а радостями бедных,
Живущих наобум, без жизни, без страстей…

Вы смотрите надменно, без участья,
На братьев, свыкшихся с их долею земной;
Вы наслажденьями пресытились – а счастья,
Слепцы! не поняли холодною душой!
Вам в тягость жизнь… вы небом недовольны
На вас сам Бог не угодил!
Бессильные! в других вам видеть больно
Богатство воли, чувств и сил!

[«Болезни века», 1848]

Быть может, это стихотворение и было продиктовано раздражением на события знаменательного 1848 года, но и раньше в сердце Ростопчиной для всякого недовольства жизнью было мало места – уже в силу религиозного склада ее души. Эта религиозность подсказала ей много искренних песен, и в числе их несколько красивых гимнов в честь Святой Девы Марии. Конечно, про Ростопчину нельзя было сказать, как она говорила про одну свою знакомую:

Ты Серафим святого рая,
Под ликом дольного жильца!

Графиня была во многих смыслах истинно «дольним жильцом» со всеми великосветскими привычками, симпатиями, взглядами и страстями, но надо признать, что особого ущерба эти классовые тенденции ее вдохновению не принесли. Часто и красиво она описывала балы, за излишнее пристрастие к которым ее упрекал еще Белинский; любила она комфорт и в поэзии. Но помыслы ее летели все-таки за пределы светского круга и витали над этой дольней сферой. Она нередко жаловалась на свое одиночество среди светской толпы, и кажется, судя по некоторым ее стихам, что одной из причин такого одиночества было ее выступление в роли «сочинительницы», как тогда говорили.

Надо отдать графине Ростопчиной справедливость: она не была слепо влюблена в свое сочинительство, и нанизывая с большой охотой рифмованные строки, она, радуясь похвале, все-таки боялась ответственности. «Я нахожу», – писала она, —

Вы превозносите во мне то дарованье,
Которого печать случайно я ношу.
Нет! Не горит во мне святое вдохновенье,
Ни гений, ни талант в удел мне не даны,

Не избрало меня в поэты Провиденье
И лавры вечные не мне обречены:
Нет, сильно чувствуя, я просто выражаю
То думы, то мечты, то горести свои;
Я в искренних словах пыл сердца изливаю,
Бумаге предаю всю исповедь души.
Нет! Песней выспренных вы от меня не ждите,
Луча поэзии во мне вы не ищите,
Я женщина… и женскою душой
Могу возвыситься любовию одной…
Я славы не ищу – и даже не желаю,
Пишу не для нее…

[«Дневник девушки», XII, IV, 1842–1850]

Хоть с большим преувеличением, но Ростопчина в этих стихах сказала правду: она была больше женщиной, чем поэтессой, в том смысле, что поэтическое воссоздание чисто женской психики было ей дороже, чем всякие иные поэтические горизонты. Ее лучшие песни были все-таки песни любовные со всеми оттенками девической и женской грусти вообще, с большой примесью мечтательности, томности, скорби о пережитых сердечных бурях и грозах, о «бесчарной» молодости и с нескрываемым интересом и любовью к единоборству с искусителем и соблазнителем, поджидающим свою жертву на балу или в гостиной.

Раба ты, женщина, когда сама полюбишь,
И царствуешь, когда любима ты! —

говорила графиня, и в большинстве ее любовных стихов очень грациозно развивался этот красивый афоризм (как, например, в знаменитом романсе «Когда б он знал, что пламенной душою»). Иногда поэтессе казалось, что она простилась с своими мечтаниями, что она примирилась с неизбежным разладом мечты и действительности, что для нее прошла пора побед и тщеславия и одна только мысль, спокойная и грустная, осталась ей в утешение. Но ни на какой мысли эта мечтательница не могла успокоиться; ее всегда привлекало томительно сладкое, неопределенное и грустное, что составляет прелесть воспоминания и надежды.

Графине Ростопчиной пришлось однажды заговорить о том, «как должны писать женщины», и в той характеристике женского

творчества, которую она дала, кроется, несомненно, личное признание и оценка собственного вдохновения. «Я люблю», – писала Ростопчина, —

чтоб лучших снов своих
Певица робкая вполне не выдавала,
Чтоб имя призрака ее невольных грез,
Чтоб повесть милую любви и сладких слез
Она, стыдливая, таила и скрывала;
Чтоб только изредка и в проблесках она
Умела намекать о чувствах слишком нежных…
Чтобы туманная догадок пелена
Всегда над ропотом сомнений безнадежных,
Всегда над песнею надежды золотой
Вилась таинственно; чтоб эхо страсти томной
Звучало трепетно под ризой мысли скромной,
Чтоб сердца жар и блеск подернут был золой,
Как лавою вулкан, чтоб глубью необъятной
Ее заветная казалась нам мечта,
И как для ней самой, для нас была свята;
Чтоб речь не полная улыбкою понятной
Слезою теплою дополнена была;
Чтоб внутренний порыв был скован выраженьем,
Чтобы приличие боролось с увлеченьем,
И слово каждое чтоб мудрость стерегла.
Да! женская душа должна в тени светиться,
Как в урне мраморной лампадки скрытой луч,
Как в сумерки луна сквозь оболочку туч,
И, согревая жизнь, незримая, теплиться.

[«Как должны писать женщины», 1840]

Если таков был взгляд поэтессы на свое творчество (а стихи Ростопчиной написаны почти все по этому рецепту, за исключением тех, к которым примешана политика), то ожидать, что в этом творчестве прорвется сильная страсть или буря чувств и мысли – напрасно.

Стихи Ростопчиной были вполне беззлобной и безмятежной лирикой, и даже в друге своей юности, в Лермонтове, она любила, кажется, больше интимного, спокойного и веселого собеседника, чем смелого и мрачного поэта:

«Но лишь меж нас», – говорила она, —

лишь в тесном круге нашем

Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был.
Лишь нам одним он речью, чувства полной,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений
Бывалых дней и зреющие думы…
Лишь меж нас, —
На ужинах заветных, при заре,
Он отдыхал в беседе непритворной,
Он находил свободу и простор,
И кров как будто свой, и быт семейный…[3]

VII

Последние стихотворения Лермонтова совпали по времени с первыми стихотворениями трех молодых поэтов, которым суждено было занять очень видное место в истории русской лирики. Имена Полонского, Фета и Майкова могли бы, впрочем, совсем отсутствовать в обзоре лирики, современной Лермонтову, так как талант этих художников развернулся во всей своей силе гораздо позже, в конце 50-х и 60-х годов, когда нераздельный их триумвират стал под знамя «чистого» искусства и, сам того не замечая, обратился в поборника очень определенной «тенденции» в литературе. Но и в начале 40-х годов, в дни своего зарождения, лирика Майкова, Полонского и Фета имела известную эстетическую стоимость, мимо которой нельзя пройти ввиду особенностей того настроения, которое в этой лирике выражалось. Это настроение еще раз подчеркивает одиночество лермонтовских мотивов в современной ему песне.

Трудно найти более безобидное, спокойное и миролюбивое настроение, чем то, которое развертывается в песнях Полонского, Фета и Майкова, этих трех юных восторженных созерцателей красоты – будущих «бойцов» за идеал незлобивого искусства. Ноты резкие, полемические ворвались в их песню позже, и тогда только настоящая тревога оскорбленного жреца искусства овладела их сердцем. В 40-х годах они только радовались, глядя на мир Божий и на красоту, которая в нем разлита. И странно! Только что умолкшая речь Лермонтова не будила в них никакой тревожной мысли и не манила их сердца. Они остались равнодушны к этой поэзии диссонансов, и одна лишь мелодия бытия долетала до их слуха.

Если рассматривать лирику Полонского, Майкова и Фета в ее целом, то легко у каждого из этих художников отметить особую чеканку стиха и особое пристрастие к тем или другим поэтическим обобщениям житейских явлений. Одного больше интересует философский смысл житейских мелочей, другого больше прельщают пластические очертания жизни, третий – импрессионист, который ничего сам не ищет и ждет, пока набежит впечатление, настроение или образ. Эти характерные черты в лирике Фета, Майкова и Полонского можно при тщательном анализе подметить и в их ранних стихах, но первые стихотворения наших эстетов в общем очень друг на друга похожи: во всех песнях видна юная радость и юный восторг, сознание художника, что он поэт Божию милостью и, как осененный благодатью, имеет право весело и уверенно смотреть в

лицо жизни. Грустные ноты есть, так как в жизни грусть неизбежна, есть даже довольно повышенная скорбь о разных нравственных неустройствах бытия, но такая отзывчивость поэта не двоит ни его мысли, ни его чувства: он уверен в себе и в людях.

Полонский в ранних стихах (1840–1845), как и в позднейших, обнаружил большое любопытство художника, и все серьезное в жизни, и всякая мелочь в ней приобретала в его поэтической отделке особую прелесть интимной сердечности, с какой поэт привык относиться ко всему, в чем он чувствовал правду сердца и ума. Любящая и беззлобная муза диктовала ему этот поэтический дневник, куда он, как юный странник в первые дни своего странствования, заносил все без разбора: песню русского ямщика, встречу с погибшим, но милым созданием, портрет обольстительной Диамеи, беседу с ангелом-хранителем, рисунки цветов; ночной дозор золотого месяца, проповедь Бэды, монологи Магомета, стихи из Корана, народные преданья, лепестки сказок, обломки Эллады, рассказы волн, ночные голоса в горах Шотландии.

Жизни лучшие мгновенья,
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно…

Во всем этом калейдоскопе явлений, видений, ощущений и настроений художник угадывал поэтический смысл, и о нем думал он, когда говорил так красиво:

Для созерцающих очей
И для внимающего слуха
Доступен тайный образ духа
И внятен смысл его речей.

Конечно, и «демон сомненья» был одним из первых, кого поэт встретил на заре своей юности. С обычной ему искренностью Полонский рассказал нам, как без боренья и тревоги, как просто он избежал его искушений:

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия

Встречаем демоном сомненья;
И я, страдая, проклинал
И, отрицая Провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья…
Когда молитвенный мой храм
Лукавый демон опрокинул,
На жертву пагубным мечтам
Он одного меня покинул…
И вот среди мятежных дум,
Среди мучительных сомнений
Установился шаткий ум
И жаждет новых откровений…
Весь мир открыт моим очам.
Я снова горд, могуч, спокоен —
Пускай разрушен прежний храм,
О чем жалеть, когда построен
Другой?..
И как велик мой новый храм,
Не рукотворен купол вечный…
Все гении земного мира,
И все, кому послушна лира,
Мой храм наполнили толпой,
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голос вековой.
Теперь попробуй, демон мой,
Нарушить этот гимн святой,
Наполнить смрадом это зданье!..

Фет, который к 1840 году успел издать целый сборник стихотворений («Лирический пантеон» Москва), тот мог про себя сказать, что он, и в эти опасные юные годы, ни с каким демоном не встречался. Во всю свою долгую жизнь этот большой художник оставался неизменно певцом своих личных эстетических эмоций, без всякой попытки ввести в сферу своего поэтического созерцания какой-либо, даже самый несложный, этический вопрос. Никакая тревога не могла прорваться в стихах поэта, потому что ее не было в его душе в минуту творчества. И не только тревоги избежал этот утонченный эстетик – он сторонился и от всего эффектного, грандиозного, сильного, словно опасаясь, что эти стороны жизни заставят его сердце биться не так ровно и спокойно, как оно привыкло. Правда, в самые ранние годы творчества в его стихах попадались изредка отзвуки ходких тогда

«романтических» мотивов и пересказы романтических баллад, но это увлечение прошло очень скоро, и наивное, какое-то младенческое, настроение возобладало в его поэзии и не покинуло его до самой смерти. Даже в описаниях природы, которую Фет так любил воспевать, он не дал ни единого резко колоритного, мрачного или грозного пейзажа – точно так же, как и в любовных песнях, которые он не уставал писать во всех ключах, он не дал ни одного образца истинно страстной и кипучей песни. Все подернуто какой-то дымкой, и все мотивы пьесы сыграны как будто с неизменно нажатой левой педалью. Отовсюду на поэта веет весельем, и сам он не знает, что будет петь, но только чувствует, «что песня зреет». «Ухо его, как будто не слушая, слышит», и умеет он «пробегать в уме все невозможно-возможное, странно-бывалое». Необычны ассоциации его идей и совсем неожиданны его образы:

Как мошки зарею
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.
Но память былого
Все крадется в сердце тревожно.
О! если б без слова
Сказаться душой было можно!

Большинство стихотворений Фета надо ценить именно как смелую попытку сказать словами то, что хотелось бы сказать без слов, одной душою. И все многочисленные противники Фета были несправедливы к нему, когда искали в его стихах чего-нибудь ясно определенного и ясно выраженного. Взятая в целом, его поэзия, несомненно, проникнута определенной пантеистической мыслью, и в его стихах можно при желании вычитать даже целый философский трактат – как это неоднократно и пытались сделать его восторженные поклонники; но взятые порознь, эти стихи должны были производить впечатление чего-то совсем от общей жизни оторванного, чего-то исключительно личного. В конце 50-х и в 60-х годах поэзия Фета, как известно, стала мишенью нападок и насмешек, и поэт спустился со своих поэтических высот и ввязался в спор на самую едкую общественную тему. В 40-х годах стихи Фета опальными не были, и критикой они были встречены

благосклонно, как хорошее обещание. За этими стихами признали и музыкальность, и искренность, и наивность. Многих могла поразить и еще одна особенность этой молодой лирики, а именно: полное отсутствие в ней юмора, сарказма, какого-либо смеха и какой-либо тревоги. Для современника Лермонтова и его эпохи отсутствие этих черт в психике поэта было очень знаменательно.

Всех этих ценных граней человеческого духа мог читатель не досчитаться и в том довольно объемистом сборнике стихов, с которого в 1842 году Аполлон Майков начал свою литературную деятельность. На первых же страницах поэт признавал себя сыном своего времени и говорил, что он не желал бы жизни без волнения:

Мне тягостно ее размерное теченье.
Я втайне бы страдал и жаждал бы порой
И бури, и тревог, и вольности святой,
Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежном,
И, крылья распустив, орлом широкобежным,
При общем ужасе, над льдами гор витать,
На бездну упадать и в небе утопать.

Это юношеское желание поэта, однако, не исполнилось. Мятежное борение осталось Майкову чуждо, если не считать тех стихов, в которых поэт сердился. Но и сердиться Майков стал значительно позже, в годы иконоборческой ереси шестидесятников.

Художник с большим дарованием и мастер стиха, Майков был одарен удивительным чутьем ко всему пластичному и умел придавать своим стихам такую образную форму, которая производила на читателя впечатление почти что зрительное. В глубины человеческой души поэт спускаться не умел или не хотел, тайники своей собственной души также берег от чужого глаза и особенно глубокими философскими мыслями не задавался. Из всех идей общего порядка Майков с юных лет облюбовал всего больше идею патриотическую и общехристианскую. Уже в первом сборнике стихотворений он начал вырисовывать красивую картину кончины языческого мира и его борьбы с христианством («Олинф и Эсфирь») – ту самую, которая потом в «Трех смертях» и в «Двух мирах» стала истинной жемчужиной русской поэзии. И уже по первому наброску этой величественной картины было ясно, что художник пластик и язычник возьмет верх над художником христианином, моралистом и сентименталистом. Как в былое время Шатобриан,

так и Майков, воспевая христианство, оставался в душе жрецом античной красоты, истинное чутье к которой он один получил в наследство от Пушкина. Действительно, в первом сборнике своих стихов молодой поэт являлся преимущественно в античном одеянии, со всеми атрибутами жреца античных богов, в которых он, конечно, не верил, но перед бесстрастной красотой которых он стоял на коленях. Красота была бесстрастна, и бесстрастно было и ее отражение в стихах Майкова. Глубоко скорбных мотивов античной мысли, равно как и Прометеева огня, в стихах Майкова не было – была лишь попытка, и притом очень удачная, взглянуть на современный мир ветхими очами – т. е. попытка не смотреть на то, что бросалось в глаза всем современникам.

Рядом со стихами Лермонтова эта подновленная старая песня звучала молитвой – только не христианской, а языческой.

VIII

Одновременно с первым изданием стихотворений Лермонтова, в 1840 году, вышел и маленький сборник стихов, озаглавленный «Мечты и звуки. Стихотворения Н. Н.». Судьба этого сборника всем хорошо известна, и все помнят, как молодой автор – не кто иной, как Некрасов – скупал в книжных лавках экземпляры своей книжки и уничтожал их.

Если сам Некрасов был так беспощаден к своему первенцу, то для историка литературы эти первые песни «гневного и скорбного» поэта – очень важный показатель лирического настроения 40-х годов.

Большое значение имеют эти мягкие религиозные, романтизмом пропитанные стихи для характеристики основного склада души самого поэта: они говорят о душевном переломе, который пережил Некрасов, прежде чем стал таким, каким мы его знаем. И еще яснее говорят «Мечты и звуки» о том примиренном и незлобивом настроении, каким было охвачено сердце современных Лермонтову лириков, даже тех, которые, как Некрасов, таили в своей душе много скорби и гнева.

Действительно, в «Мечтах и звуках», даже при очень тщательном анализе, трудно уловить какой-либо намек на гражданскую скорбь или на решительный протест человека против жизни. Молодой поэт не ставит никаких трудных вопросов, не останавливается ни перед какими сомнениями. Он только предостерегает самого себя и других от всяких искушений скептического ума и слишком требовательного сердца. Если можно говорить о его миросозерцании, то оно патетическое в своей основе. Поэт стремится удержать себя на возможной высоте лирического настроения, в беседе с природой, в беседе с самим собой и преимущественно в общении с Божеством.

В ранней лирике Некрасова очень много религиозных мотивов. Если верить поэту, то все сомнения ума и сердца разрешаются для него в христианском богопочитании. Язычество, которое всегда так прельщало наших лириков старого времени, – Некрасова не волнует и не пленяет. Развалины Колизея говорят ему не о закатывающемся языческом солнце, а о восходящем христианском; ангел смерти учит его молиться; поэт верит, что души, которые разъединены на земле, могут соединиться на небе; он мудрецу читает мораль о смиренье; самое тяжкое для него – «отступление от Творца»; всегда душа его парит к небу и со страхом озирается на злого духа, который неизменно подстерегает его; туда, в страну лазурную, готов он умчаться, и

он знает, что врата ее для него отверсты, пока он не омрачил в душе своей света Веры. Согласно с такими молениями и чаяниями души – настроение стихов молодого Некрасова очень мягкое и уверенное. Лишь изредка, в кладбищенских мотивах и в попытках подделаться под романтический стиль, заметно тревожное колебание. Хотя поэт и уверяет, что ему «суждено играть на сцене бытия лишь трагические роли», – но это предвкушение действительно ожидавшей его роли пока не страшит его. Он все порывается «к звездам», «к эфиру»; для дольнего мира у него пока нет любви, хотя и есть сожаление; он боится страстей, которые мешают жить людям; поэту он ставит первым требованием смотреть на мир «с восторгом»; он враг всякого «матерьялизма» и от лица «души» человека выговаривает «телу» за его плоскую философию («Разговор»).

Благоговеть пред мистицизмом
И был, и есть удел людей…

– говорит молодой мечтатель и сентименталист, и ничего он так не боится, как «сомненья». В одном стихотворении, в котором речь идет о пагубных последствиях «сомнений», развертывается очень откровенно оптимистическое миропонимание Некрасова. Поэт говорит:

Ты начал жить. Роскошен жизни пир,
На этот пир ты позван для блаженства.
Велик, хорош, изящен Божий мир,
Обилен всем и полон совершенства.
Лазурь небес, безбрежный океан,
Дремучий бор, так пышно разодетый,
Седой зимы сердитый ураган,
И тишина торжественная лета,
И говор вод, и пенье соловья,
И над землей витающая птица,
И по волнам скользящая ладья,
И в небесах горящая денница,
И темнота безмесячных ночей,
Приют тоски, мечтаний и любови —
Картины чудные для сердца и очей.
Ты всем пленен, и пламя юной крови
В тебе зажгло высокие мечты,
Ты вспыхнул весь огнем полунебесным
И, вдохновлен картиной красоты,
Постиг Творца в творении чудесном…

Иди, иди, надежду полюбя,
Ты с ней свершишь без горя путь тяжелый,
Но берегись! Приюта не давай
В душе своей тяжелому сомненью,
Беги его и сердца не вверяй
Его всегда недоброму внушенью…
С ним страшно жить, беседовать грешно,
И если раз его к груди пригреешь —
С тобой навек останется оно,
Ты в нем навек врага себе имеешь.
Порыв души в избытке бурных сил,
Святой восторг при взгляде на творенье,
Размах мечты в полете вольных крыл
И юных дум кипучее творенье,
И юных чувств неомраченный пыл —
Все осквернит нечистое сомненье.
И окует грудь холодом могил…

[«Сомненье»]

Что поэт все-таки не мог устоять перед соблазном «сомневающейся» мысли – это, конечно, не требует оправданья; оптимизм, да еще выраженный в стихах, ни к чему не обязывал, и зреющему Некрасову очень скоро всякие «эфиры» должны были перестать нравиться. И в «Мечтах и звуках» есть уже намеки на такие диссонансы. Так, например, в стихотворении «Мысль» говорится о мире как об обветшалом дряхлом старце, который кутается в ночное покрывало, едва согретый холодеющими лучами уже давно погаснувшего дня… и для этого мира нет обновления и нет возврата к юности. В стихотворении «Землетрясение» дана картина всевозможных человеческих пороков, которые способны Бога любящего превратить в Бога гнева и мести. Правда, в конце концов милосердный Бог милует грешников, но ничто не говорит о том, что люди после этой милости стали лучше. Наконец, в стихотворении «Жизнь» Некрасов берет ноту очень сходную с той, которая звучит в «Думе» Лермонтова.

Чем отмечаем, жизнь, мы все твои мгновенья,
Широкие листы великой книги дел?
Они черны, как демон преступленья,
Стыдишься ты сама бездушных наших тел.
Из тихой вечери молитв и вдохновений
Разгульной оргией мы сделали тебя,

И гибелью парит над нами злобы гений,
Еще в зародыше все доброе губя…
Поклонники греха, мы не рабы Христовы;
Нам тяжек крест скорбей, даруемый судьбой,
Мы не умеем жить, мы сами на оковы
Меняем все дары свободы золотой…
Раскрыла ты для нас все таинства искусства,
Мы можем создавать, творцами можем быть;
Довольно налила ты в груди наши чувства,
Чтоб делать доброе, трудиться и любить.
Но чуждо нас добро, искусства нам не новы,
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;
Мы любим лишь себя, нам дружество – оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же? что они безумным нам приносят?
Презрительно смеясь над слабостью земной,
Священного огня нам искру в сердце бросят,
И сами же зальют его нечистотой,
За наслажденьями по их дороге страдной,
Слепые, мы идем и ловим только тень.
Терзают нашу грудь, как коршун кровожадный,
Губительный порок, бездейственная лень…
И после буйного, минутного безумья,
И чистый жар души и совесть погубя,
Мы, с тайным холодом неверья и раздумья,
Проклятью предаем неистово тебя…

Мрачный смысл этого стихотворения, конечно, такая же натяжка, как и ультрарозовый колорит других юношеских стихотворений Некрасова. Установившегося взгляда на жизнь нельзя искать в этих опытах, но несомненно одно – что лермонтовский мотив в этих стихах – гость случайный. Если уж искать художника, под благословение которого Некрасов подвел свою юную музу, то это был, несомненно, Жуковский – к которому, как известно, Некрасов на самом деле обратился с вопросом, следует ли ему отдать в печать «Мечты и звуки» и нужно ли признать себя открыто их автором.

IX

Год спустя после кончины Лермонтова смерть унесла и Кольцова.

Россия теряла в Кольцове очень крупный литературный талант и во многих отношениях очень оригинальную личность. Сын мещанина, не получивший почти никакого образования, до конца дней своих полуграмотный, этот человек не только сумел завоевать для русского художественного творчества совсем новую область – народной индивидуальной песни, но у него хватило духовной силы, чтобы по-своему пережить и выразить ту трагедию идеалистически настроенного сердца и философствующего ума, которую переживали с таким трудом его интеллигентные современники.

Народная песня Кольцова не стоит в прямой связи со своим временем – она отражает не какой-нибудь данный момент в развитии нашего народного ума и характера, а их общечеловеческие стороны. Личная же песня поэта, песня, в которую он вложил свои думы, – посильный ответ на запросы его поколения, столь много страдавшего в погоне за примирением идеала с действительностью.

Сердцу Кольцова было тесно в том круге чувств, в который замкнули его условия жизни, его мысль рвалась на простор и далеко залетала иногда в своем смелом полете, но нигде не находила себе пристанища и не могла на высоте удержаться.

В статье, которую Белинский предпослал посмертному изданию стихотворений Кольцова, критик признал поэта сыном русского простонародья, певцом, сумевшим тесно слить свою жизнь с народной жизнью, бытописателем, которому удалось, не искажая правды, изобразить художественно крестьянский быт таким, каков он на самом деле. Много времени прошло с тех пор, как Кольцов писал свои песни, и его картина крестьянской жизни была позднее дорисована и дополнена другими самоучками. В их изображении крестьянский быт предстал перед нами в гораздо более мрачных красках, и поэзия Кольцова, в сравнении с песнью его последователей, может теперь показаться не вполне объективной. В ней жизнерадостная сторона оттенена значительно больше, чем сторона грустная. Певец как будто умышленно выискивал светлые картинки и проходил мимо мрачных.

Кольцов хорошо знал народную жизнь – это не подлежит сомнению, но сыном деревни, в тесном смысле этого слова, он не был: он не прожил с крестьянином всей его грустной и трудовой

жизни, как прожили ее те из самоучек, которые родились и воспитались в деревне. Наконец, и литературное образование Кольцова исказило несколько его точку зрения на народную жизнь; поэт был воспитан на образцах сентиментальной и романтической литературы, на поэзии Пушкина и его друзей – поэзии возвышенной и спокойной.

Весьма заметное место среди лирических песен Кольцова занимают те песни, в которых поэт говорит о себе самом, о своих помыслах и надеждах, о своих духовных силах и своей жизни. Зависимость от внешних условий жизни, неудовлетворенная потребность духа, сила ума и чувства, гибнущая даром, тяготение какого-то злобного рока над человеком и отсутствие возможности устроить свою судьбу сообразно со своими понятиями и стремлениями – все эти печальные стороны несвободной и образованием не вооруженной жизни ярко проступают наружу в личной лирике Кольцова. Он развивает, в сущности, один мотив о несоответствии умственных и душевных сил человека с его положением, жалобу на то противоречие, в каком стоят законные желания и надежды с суровыми фактами.

«Мне даны от Бога море желаний, а с кузовок души», – писал Кольцов; а между тем этой души хватило на великое дело – на поэтическое воссоздание в образах некоторых сильных сторон народной души. Но этого Кольцову было мало. Роль наивного слагателя песен удовлетворяла его лишь наполовину. В нем жила еще иная потребность, потребность глубокого, философского мышления, жажда самого всеобъемлющего знания.

Трудно, конечно, определить с точностью, что именно заставило Кольцова так увлечься туманными философскими размышлениями. В нем не было настоящей способности к отвлеченному мышлению, но он, тем не менее, очень любил его. Очевидно, что эта работа мысли, хотя и не самостоятельной, давала ему немалое удовлетворение. Стремясь найти разумное объяснение всем явлениям жизни, философская система могла освободить ум Кольцова от унизительной мысли о господстве случая в жизни; она могла обещать ему ответ на тревожившие его нравственные вопросы; философия могла также удовлетворить в известном смысле его мистическому чувству, а также чувству религиозному, которые были сильны в его сердце.

Интерес к философии был для Кольцова интересом живым – потребностью его духа, вытекавшей также из простонародного склада его ума, в котором, как известно, слиты и смешаны и религиозные, и суеверно-мистические, и философские элементы.

И пусть теоретическая постановка вопросов доставляла большую трудность Кольцову – на его поэзии с философским

содержанием – на его «Думах» – это не отразилось. Если вопросы, в них поставленные, не решены, если они иногда очень туманно выражены, то все-таки в «Думах» есть своеобразная красота настроения и образов. Как лирик Кольцов вернее сумел схватить впечатление, которое производит нерушимый вопрос бытия на душу человека, чем философскую глубину самого вопроса. Можно признать некоторые из его «Дум» неудачными, но в общем они составляют очень оригинальную попытку, и в нашей литературе им нет параллели.

Содержание «Дум» самое разнообразное – они касаются вопросов космологических, исторических и психологических и очень часто сбиваются на религиозную тему. Когда поэт чувствует, что вопрос превышает его силы (а это случается почти с каждым вопросом), он прибегает к молитве и ищет успокоения в религии —

Смелый ум с мольбою
Мчится к Провиденью:
«Ты поведай мыслям
Тайну сих созданий!»
Шлют ответ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей
Мысли изумляя.
Что же совершится
В будущем с природой?
О! гори, лампада,
Ярче пред Распятьем!
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!

[«Великая тайна»]

Человеческому уму, как бы сильны и могущественны ни были его порывы, доверять нельзя: он не в силах проникнуть в тайны вселенной. Провидение владеет ими, и ум наш не перешагнет за границу мира – он всегда наобум мешает небылицу с былью («Неразгаданная истина»).

Но Кольцов не всегда так осторожен в оценке силы человеческого ума. Мешая сам небылицу с былью, он стремится истолковать вечные недоступные тайны вселенной. Он изображает нам весь процесс мировой жизни как царство Божьей воли, где в переливах жизни нет бессильной и бездушной смерти («Божий мир»). Он убежден, что весь мир есть проявление одной

вечной мысли:

Повсюду мысль одна – одна идея;
Она живет и в пепле, и в пожаре;
Она и там – в огне, в раскатах грома;
В сокрытой тьме бездонной глубины;
И там, в безмолвии лесов дремучих;
В прозрачном и плавучем царстве вод глубоких;
В их зеркале и шумной битве волн;
И в тишине безмолвного кладбища;
На высях гор безлюдных и пустынных,
В печальном завывании бурь и ветра;
В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой;
В полете к облаку орлиных крылий,
В судьбе народов, царств, ума и чувства… Всюду
Она одна – царица бытия!

[«Царство мысли»]

На свое собственное творчество поэт смотрит также как на одно из проявлений этой великой мысли, и он пишет:

Не может быть, чтобы мои идеи
Влиянья не имели на природу.
Волнение страстей, волнение ума,
Волнение чувств народа —
Все той же проявление мысли.

[«Дума двенадцатая»]

Человек – вот центр всей природы, ее обнаружение, в котором она всего лучше самопознает себя: человек бывает и своеволен и неразумен, но ему дан светоч ума и даны добрые стремления и неразрывно с ними связанная красота —

Все творенья в Божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земле!
То себя он ненавидит,
То собой он дорожит,
То полюбит, то разлюбит;

За миг жизни век дрожит…
Даст желаньям ли свободу —
Землю кровью напоит;
Буйной воле даст ли волю,
Под ним море закипит.
Но изменится стремленье,
Озарится светом ум —
И своей он красотою
Все на свете помрачит…

[«Человек»]

Два начала враждуют в человеке – начало духовное и телесное:

В глыбу
Земляную
Сила неба
Жизнь вложила,
И живет в ней
Как царица!
С колыбели
До могилы
Дух с землей
Ведут брани:
Земь не хочет
Быть рабою —
И нет мочи
Скинуть бремя;
Духу ж неба
Невозможно
С этой глыбой
Породниться…

[«Вопрос»]

И две жизни есть в мире; одна – светла и горит, как солнце; в ее очах небесный тихий день, святая мысль и чувство. Это – жизнь земного духа, она долга, как Божья вечность. Другая же жизнь темна; в ее очах земная грусть и ночь, и не звучит в ней свободная речь; это – жизнь земного праха, и она кратка, как блеск звезды падучей («Две жизни»).

И счастлив тот, кто может жить этой жизнью духа. Ею живет и

поэт – властелин-художник; его душа вмещает в себе целую природу:

Проникнуты чувством,
Согреты любовью
Из нее все силы
В образах выходят…
Властелин-художник
Создает картину —
Великую драму,
Историю царства.
В них дух вечной жизни,
Сам себя сознавши,
В видах бесконечных
Себя проявляет;
И живет столетья,
Ум наш поражая,
Над бездушной смертью
Вечно торжествуя.

[«Поэт»]

Таковы в общих чертах мысли и настроение этих «Дум». Мысли, конечно, принадлежат не Кольцову. В них нетрудно узнать некоторые из натурфилософских, исторических и эстетических положений Шеллинга и Гегеля, с которыми Кольцов ознакомился в кружке Белинского. Кольцову в данном случае принадлежит только оправа, в которую эти мысли вставлены. И она имеет свою художественную ценность.

Название «певец народной жизни», «поэт-прасол», как обыкновенно называют Кольцова, не характеризует всей его поэтической деятельности. Народная песня входит в нее как составная главная часть, но не менее оригинальна и его философская лирика. Она связывает Кольцова с его эпохой и делает его участником того умственного движения, того критического отношения к жизни, которое так явственно сказывалось тогда в наиболее интеллигентных классах нашего общества.

Эта широта горизонта у простого человека заставила критиков уже давно смотреть на Кольцова не только как на наивного певца народной жизни, а как на соучастника в великом движении русского идеализма, который стремился философски осмыслить действительность и регулировать ее течение своими нравственными принципами.

Мы знаем, какого труда стоила выработка этого миросозерцания людям с гораздо большей умственной силой, чем наш скромный мещанин. Довольно того, что стремление к этому таинственному и неопределенному идеалу руководило им в жизни, что, будучи певцом возможного и будущего, – он, как выразился один критик, оставался в то же время и певцом действительности, печальной, полной страданий действительности, которая сама себе довлеть не могла и требовала поправки и оправдания в иной, лучшей жизни, условия которой, быть может, не были вполне ясны поэту, но которую он предугадывал своим сердцем.

Поэзия Кольцова, при всем смирении, которое так заметно и в его народной песне, и в личной лирике, и в его «Думах», – была, в сущности, исповедью очень тревожной души, неудовлетворенной и искавшей выхода из своего умственного плена и враждебно настроенной против той действительности, которая стесняла ее свободное развитие.

Недаром Белинский под конец жизни, в 1846 году, в период открытой ссоры с русской действительностью, так тепло и восторженно говорил о своем покойном друге и, вспоминая его, восхвалял страшную силу русского человека в страдании.

Но если как человек Кольцов и волновался, то это волнение духа на его лирике почти не отразилось. Поэт скрыл от нас свои мучительные расчеты с туманными мыслями высшего порядка и с возмущенным нравственным чувством – он дал нам только конечный вывод, к которому пришел после раздумья. Вывод был примиренный и даже совсем мирный, поскольку он отражал отказ поэта от дальнейшего спора с жизнью.

Что-то родственное с последними словами купца Калашникова слышится в этой первой песне, с какой русский простолюдин выступил в интеллигентном кругу.

X

Такова была, в ее наиболее сильных представителях, семья поэтов молодого поколения, среди которых Лермонтов блистал своим гением.

Все современные ему певцы своей печали и радости обнаружили, как видим, большую уравновешенность ума и сердца и большую нелюбовь ко всяческому волнению – идейному или сердечному. Мотивы протеста, титанических порывов, борения духа были им чужды. Если в песне кого-либо из них такие мотивы встречались, то они вытекали из условий личной жизни поэтов; и такие случаи бывали очень редки. Если же некоторые из этих лириков от природы получали в дар способность волноваться, то они из всех сил старались подавить в себе это волнение и неохотно ему уступали. Большинство же молодых лириков совсем его не ощущало, и религиозное чувство, отвлеченная мысль и эстетическая эмоция водворяли в их душе желанный покой и гармонию…

Одна только душа Лермонтова кипела в неустанной борьбе, в тревоге дум и быстро сменяющихся настроений. Из всех сердец, лирически настроенных, только его сердце, и ранее и сильнее других, отозвалось на то брожение нравственных понятий и чувств, каким была полна его эпоха.

Поэзия Лермонтова порывала с миросозерцанием старшего поколения и говорила ясно и ярко о том, как трудно решаются нравственные проблемы и сколь мучительной тревогой покупаются попытки всякого пересмотра, всякой проверки установившихся взглядов на коренные вопросы жизни.

Комментарии

Цитаты из произведений М. Ю. Лермонтова сверены и выправлены по изданию: *Лермонтов М. Ю.* Сочинения: В 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957. Т. I–VI.

Варианты и более существенные разночтения оговорены ниже.

С. 15 – вариант Н.К.: «Где *нежилась* в приютах камышей» в качестве разночтения не приводится.

С. 18, прим. 2 – приведенная строфа стихотворения «Пусть я кого-нибудь люблю» в автографе вычеркнута.

С. 19 – разночтения текста поэмы «Сашка»: «Как пить: *ром с чаем или* голый ром»; «Напрасно входит, *кланяется* чинно»; цитируемый в книге текст соответствует изданию в журнале «Русская мысль» 1882 г.

С. 22–23 – стихотворение «Как в ночь звезды падучей пламень» датируется 1832 г.

С. 23 – вариант Н.К.: «То в нем *навсегда* и умрет» в качестве разночтения не приводится (стихотворение «Романс»).

С. 26 – вариант Н. К.: «Любить *необходимо* мне» в качестве разночтения не приводится; стихотворение «1831-го июня 11 дня» опубликовано впервые в 1860 г. с искажениями.

Стихотворение «Блистая пробегают облака» – вариант Н.К.: «из уст *прекрасных* мог подслушать я» в качестве разночтения не приводится.

С. 27–28 – стихотворение «Сонет» датируется 1832 г.

С. 28 – разночтения текста стихотворения «Нищий»: «Бедняк *иссохший, чуть живой*»; цитируемый в книге текст соответствует изданию в «Библиотеке для чтения» 1844 г. Чтение последней строки: «*Навек обмануты* тобою», приведенное Н. А. Котляревским, изменено в «Записках» Е. А. Сушковой 1870 г.

С. 32 – вариант Н.К.: «К нему надежду *в сердце* не привел» в качестве разночтения не приводится.

С. 46, прим. 3 – вариант автографа ритмической прозы «Синие горы Кавказа, приветствую вас!»: перед словами «виноградник шумящий» вписано и зачеркнуто: «по краям *неизвестной* тропы». Последний абзац ошибочно разбит на стихотворные строки в первой публикации в «Отечественных записках» (1859) и последующих изданиях. Датируется 1832 г.

С. 47 – «Это мечта» – в автографе приписка в скобках рядом с заглавием «Предсказание». Н. А. Котляревским опущены слова «царей корона» во второй строке.

С. 54 – Вариант стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой»: «*Я – или бог* – или никто!»; цитируемый в книге текст соответствует изданию в «Библиотеке для чтения» 1845 г.

С. 59 – неточная цитата из «Посвящения» III редакции поэмы «Демон»; ср.:

> Я близ тебя [моя мадона] опять воскрес
> Для непорочных наслаждений,
> И для надежд, и для небес.

Далее приводится черновой набросок послесловия к III редакции (впервые опубликован в «Отечественных записках», 1859).

С. 74, прим. 1 – заголовок стихотворения «Пусть я кого-нибудь люблю» («Стансы») в автографе зачеркнут.

С. 81 – «Зачем не удержал…» – цитата из драмы «Menschen und Leidenschaften», действие пятое, явление девятое (не IV).

С. 84 – «Вадим имел несчастную душу, над которой иногда *единая* мысль»; вариант Н.К. в качестве разночтения не приводится.

С. 89 – вариант Н.К.: «Так *все покойно*, так игриво» в качестве разночтения не приводится.

С. 96 – стихотворения «Как луч зари, как розы Леля», «Прелестнице» датируются 1832 г.

С. 97 – «когда он *принужден* занимать себя»; вариант Н.К. в качестве разночтения не приводится.

Оригинал второго письма (М. А. Лопухиной: «Видел я…») написан на французском языке, в изданиях сочинений публикуется другой перевод.

С. 104–105 – Вариант автографа стихотворения «Когда надежде недоступный»: «Я долго *богу* докучал». «Ты *жить устал?* – но я ль виновен» – вариант Н.К. в качестве разночтения не приводится. Строки «Когда тебя во имя Бога» и далее в автографе зачеркнуты.

С. 106 – разночтения: «Копытом *звучным*, и вперед землею»; цитируемый в книге текст соответствует изданию в журнале «Русская мысль» (1882).

С. 107 – «звучный, горький смех»; «мести» – курсив Н. А. Котляревского.

С. 116 – у Н. А. Котляревского: «Есть грозный *судия*, он ждет» – неверное чтение строки в некоторых изданиях (впервые в 1873 г.).

С. 121 – стихотворение «Поэт» датируется 1838 г. Вариант Н. К.: «Из золотых ножон не *вынешь* свой клинок» в

качестве разночтения не приводится.

С. 124 – «я им не дорожил» – курсив Н. А. Котляревского.

С. 128 – варианты автографа: «Один, *замучен мщением бесплодным*»; «*И, как простой солдат, в плаще своем походном*».

С. 134 – стихотворение «Как небеса твой взор блистает» датируется предположительно 1838 г.

С. 137 – стихотворение «Любовь мертвеца» датируется 1841 г.

С. 141 – разночтения чернового автографа, публикуемого в сочинениях: «Вы *мнили* грязными руками», «Безумцы *мелкие*, вы правы»; стихи «Так нераздельны в деле славы» и далее в автографе вычеркнуты. Цитируемый в книге текст соответствует изданиям 1863 и 1889 гг.

С. 144 – заглавие стихотворения – «Памяти А. И. О<доевско>го».

С. 150 – стихотворение <Из альбома С. Н. Карамзиной> датируется предположительно 1841 г.

С. 153 – разночтения автографов стихотворения «Молитва»: «Окружи счастием *душу* достойную».

С. 156 – стихотворение «Есть речи – значенье» датируется 1840 г. В сочинениях печатается по «Отечественным запискам» (1841) – см. с. 133–134 настоящего издания; здесь приводится другая редакция стихотворения под заглавием «Волшебные звуки», опубликованная в сборнике «Вчера и сегодня» (1846).

С. 162, прим. 1 – вопрос об авторстве стихотворения «Наводнение» остается открытым; авторство М. Ю. Лермонтова оспаривается; не исключена возможность, что первые 4 строки существовали в автографической записи, впоследствии утраченной.

С. 171, 172 – неточные цитаты из романа «Княгиня Лиговская», ср.: «искал *себе* пьедестала, *вставши* на который он *бы мог* заставить»; в следующей фразе пропущено «не» («он оскорблялся равнодушием света»; так же в 3-м и 5-м изданиях); «чудные обещания *будущности*»; «толпа *же* говорила, что в его *улыбке, в его странно* блестящих глазах»; «*То*, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, – *пренебрегал он часто как* приметы» (роман впервые опубликован в «Русском вестнике» (1882) с искажениями).

С. 176 – неточная цитата из «Героя нашего времени»: «или владел собою – *не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал*».

С. 176, 178 – «зачем тут страсти, желания, *сожаления*?»; «зерно каждого нашего чувства сквозь *тройную* оболочку» («Княжна Мери»); варианты Н.К. в качестве разночтения не приводятся.

С. 195 – вариант Н.К.: «Их *обращает* в пытку Прометея» («Измаил-Бей») в качестве разночтения не приводится.

Приложение. Князь Александр Иванович Одоевский

Стихотворения Александра Ивановича Одоевского[38] почти совсем забыты, и даже имя его в перечне наших поэтов двадцатых и тридцатых годов упоминается редко.

Причины такого забвения более чем понятны. Александр Иванович родился поэтом, и очень искренним поэтом, но он таил свои стихи от чужого глаза и редко кому позволял их подслушать[39]. Почти все его стихотворения были записаны его друзьями, иногда по памяти, и он сам, вероятно, менее чем кто-либо мог думать, что эти импровизации, эти слова, сказанные в утешение самому себе или товарищам, составят со временем сборник, который не позволит забыть о нем, как о поэте. Было ли это скромностью или гордыней художника, который считает «ложью» всякое «изреченное» слово, бессильное передать глубину мысли и чувства, его породивших, было ли это просто беспечностью с его стороны[40] – но только Одоевский составлял исключение в семье художников; и глубоко верующий в бессмертие своей души, совсем не желал бессмертия для тех звуков, какими она откликалась на мимолетные впечатления жизни. Он сам торопил для себя наступление минуты забвения.

Она с неизбежностью наступила быстро и в силу внешних обстоятельств. Одоевскому было 22 года, когда его сослали на каторгу, и его стихи стали, как он сам выражался, «песнями из гроба». Это верно также и в том смысле, что все его стихотворения, кроме одного, появились в печати уже после его кончины. Само собою разумеется, что под ними первое время не могло стоять имени автора. Но даже если бы это имя и стояло, стихи Одоевского, взятые порознь, едва ли могли произвести большое впечатление и остаться надолго в памяти: они – как те цветы, которые издают сильный аромат лишь тогда, когда собраны и связаны в целом букете.

В истории русской лирики двадцатых и тридцатых годов поэзия Одоевского может занять свое место в ряду тех непринужденно-искренних, пережитых и прочувствованных, сильных своей простотой и почти совсем неэффектных лирических стихотворений, которые писались в те годы Пушкиным и его друзьями. Песни Одоевского той же высокой пробы, что и лирика этой плеяды. В них поражает та же тщательная отделка стиха, редкое гармоничное сочетание формы с содержанием при отсутствии в этой форме излишне узорного

или недосказанного, неясного, то же умение менять и тон, и ритм, та же способность одинаково просто выражать весьма разнообразные настроения и чувства. Стихи Одоевского, изданные в свое время, т. е. в конце тридцатых годов, завершили бы собой тот цикл художественной лирики, которая в Пушкине нашла себе лучшего выразителя и в которую затем Полежаев, Лермонтов и Огарев внесли новую резкую ноту душевной тревоги и эффектного, иногда вычурного, самолюбования. Песня Одоевского могла бы быть одной из последних песен, в которых выразилось уже отходившее в прошлое религиозно-сентиментальное, в общем оптимистическое миросозерцание, не позволявшее человеку слишком болезненно ощущать разлад мечты и жизни.

И действительно, Александр Иванович, который более чем кто-либо имел основание быть в обиде на жизнь и людей, избегал подчеркивать то противоречие, в каком его личность, умственно и нравственно высокая, стояла к окружающей его обстановке и к историческому моменту, свидетелем которого он явился. В его миросозерцании было много религиозно-идеалистических элементов[4], которые не мешали поэту жить страстями, но как-то не позволяли этим страстям обращать все душевные порывы, все набегающие мысли в предлог для непримиримо враждебного отношения к жизни вообще и к людям в частности. Знакомясь с духовной жизнью нашего писателя, насколько, конечно, эта полная смысла жизнь отражается в его случайных поэтических заметках, видишь, что первой житейской мудрости он учился у того сентиментального либерализма, который, несмотря на все предостережения, был так силен во все царствование Александра I, и что поэту не остались чужды те оптимистические взгляды на мир и судьбу человека, к которым вообще имели пристрастие люди его времени, серьезно воспитанные на идеалистической философии Запада или только усвоившие себе ее конечные выводы.

Этот религиозный склад ума Одоевского и спокойствие его духа подтверждаются не только его стихами, но и тем впечатлением, которое он производил на людей, способных оценить его редкие, не бросающиеся в глаза душевные качества. Если Огарев, который встретил Одоевского в конце тридцатых годов солдатом на Кавказе, был не только поражен, но и умилен его личностью, то это понятно: сам Огарев в эти годы искал в религии разгадки смысла жизни. Но любопытно, что такое же глубокое впечатление Одоевский произвел на натуру, совсем с ним несходную, на Лермонтова, с которым тот же случай свел его на Кавказе. Лермонтов едва ли был готов понять Одоевского по

своему темпераменту и по своим взглядам, но и он преклонился перед «гордой верой» Одоевского «в людей и жизнь иную», хотя и придал его облику оттенок горделивой замкнутости и разлада со «светом» и «толпой» – эти ему самому, Лермонтову, – столь привычные ощущения.

Когда затем Лермонтов говорил, обращаясь к Одоевскому:

Дела твои, и мненья,
И думы, – всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит;
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…

он был не совсем прав. Если бы он знал эти думы, как знаем их мы, он не задал бы им вопроса, зачем они и откуда; он признал бы в них, как и в поступках поэта, – проявление цельного миросозерцания, оптимистического, с большой дозой благодушия, доверия к судьбе и к людям, либерального и полного религиозной веры сначала в близкое, а затем в конечное торжество гуманного идеала.

Лермонтов, типичный представитель разочарованного протеста, скептик и сын николаевской эпохи, мог видеть в Одоевском живой пример старшего поколения. Перед ним был один из тех, кто также протестовал, но примирился с проигрышем, идеалист, человек, которого никакие житейские невзгоды не заставили усомниться в том, во что он верил, каторжник со «звонким детским смехом и живой речью, постоянно бодрый и веселый, снисходительный к слабостям своих ближних, христианин, сердце которого было обильнейшим источником чистейшей любви, гражданин, страстно любящий родину, свой народ и свободу в высоком смысле общего блага и порядка»[41].

Таким либералом и сентименталистом александровской формации умер этот человек случайно в 1839 году, накануне эпохи, когда, после десятилетней растерянности и долгого выжидания, стал слагаться новый тип певца, более сердитого, желчного, недоверчивого, скептически относящегося ко многим прежним иллюзиям, а потому порой и большого пессимиста.

А как много оснований имел Александр Иванович стать пессимистом!

I

О жизни Одоевского сохранилось немного сведений, да и само слово «жизнь» как-то не подходит к тому, что с ним в жизни случилось.

Родился он в 1802 г., на заре великих обещаний александровского царствования, в одной из самых родовитых и старых дворянских семей России. Семья была большая, богатая, патриархальная по нравам, и жила она очень дружно. Александр Иванович был окружен в ней любовью и лаской.

Особенно нежная любовь связывала его с матерью, которую он потерял рано и память о которой стала одним из самых дорогих и поэтичных образов его фантазии.

Вся сокровенная сущность его нежной и сентиментальной души открывается нам в его словах и воспоминаниях об этой женщине. «Я воспитывался, – говорил он своим судьям, – дома моею матерью, которая не спускала меня с глаз по самую свою кончину. Ее неусыпное попечение о моем воспитании, 18 лет ее жизни, совершенно посвященные на оное, – все это может подать некоторое понятие о правилах, мне внушенных. Мать моя была моею постоянною и почти единственною наставницею в нравственности»[42]. Он называл ее в письмах к друзьям «вторым своим Богом»; он не мог думать о ней, этой «ангельской матушке», без глубокого волнения лет шестнадцать спустя после ее смерти[43].

А в первую минуту разлуки с ней он был совсем подавлен. Он писал тогда: «Жестокая потеря унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был как шальной. Я грустен был, я был весел, как не бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце»[44].

«Я лишился ее и еще наслаждаюсь жизнью! Конечно, уж это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели самый слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перенес все – от слабости!»

«Она была для меня матерью, наставником, другом, божеством моим. Я лишился ее, когда сердце уже могло вполне чувствовать ее потерю; вот что судьба определила мне в самые радостные минуты зари нашей жизни»[45].

Через год после смерти матери (1820) поступил он на службу в Конногвардейский полк[46] и «пять лет был неизменно хорошего поведения»[47], – как он сам себя аттестует.

Жилось ему весело: от матери он получил достаточное наследство в 1000 душ и один управлял ими. Он был «богат, счастлив, любим и уважаем всеми. Никогда никакого не имел неудовольствия ни по службе, ни в прочих отношениях его жизни». «И чего было мне желать?» – восклицал он с грустью в одном из своих показаний.

Служба, конечно, не доставляла особых затруднений, если не считать разных походов и стоянок в западном крае, куда его полку случалось отправляться на маневры. Но Одоевский благодаря своей жизнерадостности и после этих утомительных и невеселых прогулок чувствовал в себе какую-то жажду наслаждения жизнью. «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах, – писал он однажды после такой экспедиции. – Я в отечестве! Я в России! Лица русские, человеческие. Молодцы русские исподлобья, как жиды, не смотрят, русские девушки нас не избегают, как беловолосые униатки! Я почувствовал, что я человек, в тот самый миг, как мы перешли за роковой столб, отделяющий Белоруссию от нашей милой отчизны. Я отягчен полнотою жизни! Я пламенею восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений»[48].

Жизнерадостность, которую подмечали в нем его товарищи и в тяжелые годы несчастия, была основной чертой его характера. Если вчитаться в его юношеские письма, то рядом с неизбежной и обязательной для того времени сентиментальной грустью находишь целую струю веселого, бодрого, порой юмористического настроения. Он упоен жизнью и надеждами. Он о себе и своем уме высокого мнения. Он знает цену своего отзывчивого и нежного сердца. Он боится излишних умствований, излишней серьезности во взгляде на жизнь, он хочет быть идеалистом без тревожных раздумий и страданий.

«Задача наша, – рассуждал он в те юные годы, – испытать радость жизни, но сохраняя полноту и остроту чувств:

Rein ne me révolte plus que la froideur surtout dans un jeune homme… A la vérité j'ai entendu dire souvent que pour être heureux, il faut être insensible; mais nommerai je le bonheur la privation des plaisir de la vie?.. Un être impossible ne vit pas, il végéte. La sensibilité est la fleur de notre existence, et si s'est une fleur qui se fane, au moins laisse-t-elle aprés elle un parfum qui embaume le dernier de nos jours et ne s'éxhale qu'avec le dernier soupir. Et s'il est une autre vie, les souvenirs d'un homme sensible sont la volupté de l'éden»[49].

Сам Александр Иванович тогда о «кончине дней своих» и о «последнем вздохе» думал, однако, мало. Мало думал он и о так называемой «философии», которая грозит человеку испортить

непосредственный и здоровый вкус к жизни.

Его двоюродный брат, тогда тоже еще мальчик, – Владимир Федорович Одоевский, с которым Александр Иванович находился в очень интимной переписке, – делал тщетные усилия направить ум своего брата на серьезные отвлеченные вопросы. Всем своим увлечениям немецкой философией, к которой В. Ф. Одоевский с детства привязался, он находил в письмах своего друга решительный отпор, и ему было, вероятно, очень неприятно читать такие строки: «Я заметил, – писал ему Александр Иванович, – что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости – быть счастливым, довольствуясь малым. Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга – едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! – Я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу – на Невский проспект»[50].

Его корреспондент мог тем более рассердиться, что за два года перед этим Александр Иванович давал ему понять, и совсем серьезно, что он в себе чувствует некоторое родство с гениями. «Я весел, – писал ему тогда Александр Иванович, – по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак бывал веселым. Он радовался свободе, а я – неволе. Я надел бы на себя не только кирасу, но даже – вериги, для того только, чтобы посмотреть в зеркало, какую я делаю рожу: ибо – le genie aime les entraves. Я не почитаю себя гением, в этом ты уверен, но признаюсь, что дух мой имеет что-то общее avec le genie. Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые, верно, будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что ни случилось со мною до сих пор»[51].

Наблюдая, однако, в продолжение некоторого времени за поведением своего двоюродного брата, В. Ф. Одоевский мог убедиться, что он ведет жизнь, совсем не подобающую «гениальной натуре». Он, кажется, и сделал ему по этому поводу довольно откровенный выговор. Писем Владимира Федоровича мы не имеем, но ответы Александра Ивановича сохранились. И он, очевидно, был также рассержен тоном этой переписки, потому что наговорил своему брату-философу много колкостей; а в

письмах, кстати сказать, он умел быть и остроумным, и желчным[52].

«Восклицание за восклицанием! – начинает вышучивать Александр Иванович своего брата. – Но если бы пламень горел в душе твоей, то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтоб выбросить искру. Где она? Видно ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь…

Я скажу все, как вижу из под козырька моей каски, который, однако, не мешает всматриваться в тебя; потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и ни лезешь из нее…

Корифей мыслит, а в смысле его – лепечут! Отличишь ли ты плевелы? Если нет, то хороша пища! Заболит желудок. Но весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред и круг писак-товарищей, полуавторов и цельных студентов…

Худо перенятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях и доказывает, что кафтан не по тебе. Вместо того, чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя…

Ты желаешь душой своей разлиться по целому и, как дитя принимает горькое лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, которые находишь в теории, полезной и прекрасной (все, что хочешь), но не заменяющей самостоятельности.

…Истинно возвышенная душа, т. е. творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословенным. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние, ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одной только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель! Для него нужны труды высокие и поприще благородное! Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкою лачужки к великолепному храму.

В сей высшей сфере нельзя брать в заем; и иногда почти невозможно постигать размышлением то, что постигается чувством…

Итак, учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность? Ты старше летами, но я – перегнал, я старше – чем? – душою. Но где душа? Ты как будто ищешь ее вне себя, в философии Шеллинга; а я – ее не искал.

Сойди в глубину своего ума – признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга и потом, сев на курульские кресла, с важностью римского сенатора. судить

человека, совсем незнакомого, – весьма легко! Незнакомого? – да, незнакомого… Я не совсем оправился, но, однако, начинаю ступать с некоторой доверенностью к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую – иду; но не считаю, как ты, шагов моих; и не мерю себя вершками! У всякого свой обряд. У меня есть что-то – пусть идеал – но без меры и без счету. Шагаю себе, может быть, лечу, но сам не знаю как; и вместе с тем в некоторые мгновения наслаждаюсь истинно возвышенной жизнью, всегда независимой, и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду.

Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? Ты моего не знаешь. Печатным бытием? – я его презираю»[53].

Последние слова очень характерны: Александр Иванович на всю жизнь сохранил это презрение к печати, и если бы его друзья не записывали за ним его стихотворений, то все они так навсегда бы и пропали.

А писать стихи он стал очень рано. «В крылатые часы отдохновения, – как он выражался в одном неизданном стихотворении 1821 г., – он питал в себе огонь воображения и мнил себя поэтом»[54], и кажется, что плоды этой мечты были очень обильны. По крайней мере, когда его брат просил у него стихов для «Мнемозины», которую он издавал, то Александр Иванович в выборе затруднен не был: «Стихи пишу и весьма много бумаги мараю, – отвечал он брату. – Люблю писать стихи, но не отдавать в печать… по дружбе к тебе, но чуждый журнального словостяжения, я бы прислал к тебе десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий – и начала двух поэм, которые лежат под столом, полуразодранные и полусожженные»[55].

* * *

Хотя Александр Иванович и не любил типографского станка, но к словесности он питал страсть очень нежную, равно как и к русскому языку, которым владел в совершенстве[56]. К этой страсти он был подготовлен и тем начальным образованием, которое получил в детстве и юношестве. Это образование было преимущественно литературное[57]. На вопрос судей: «В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?» – он отвечал, что в словесности и математике. «Юридическими науками, – утверждал он, – я никогда не занимался или политическими какими-либо творениями. Не только ни одного лоскутка бумаги не найдете, который мог бы служить против меня доказательством, но даже ни единой книги, относящейся до

политики или новейшей философии. Я занимался словесностью, службой; жизнь моя цвела». И Одоевский говорил правду. Если в юности его прельщали какие лавры, то разве только лавры писательские; и он позволял себе иногда в частной переписке задуматься над вопросом: а нет ли в нем сходства с Торквато Тассо или со Стерном[58].

Любовь к словесности заставляла Одоевского, конечно, искать знакомства и дружбы литераторов. Широких литературных связей у него не было, но в молодой литераторской компании он был принят как свой. Рылеева и А. Бестужева[59] он любил прежде всего как писателей и затем уже подпал под их влияние как политиков. Есть указание, что он был знаком с Хомяковым, с которым вступал в политические споры[60]. Но наиболее тесная дружба соединяла его с Грибоедовым. При каких условиях завязалась эта дружба – неизвестно, но Одоевский был постоянным спутником Грибоедова в домах знакомых и в театрах[61], а в 1824 г. во время наводнения рисковал жизнью, спасая своего друга.

В начале 1825 г. они даже жили вместе на одной квартире. Знал ли Грибоедов о политических замыслах Одоевского – определить трудно; из письма, которое он писал ему в крепость, видно – что не знал[62], и потому можно предположить, что их дружба была дружбой личной и завязалась, вероятно, также на почве литературных интересов.

Литературные друзья и приняли Александра Ивановича в члены тайного общества.

II

«Заимствовал я сей нелепый противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева, не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и всякие противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их знакомства я гнушался сими мыслями», – так писал Александр Иванович в тюрьме в первые дни своего ареста, ошеломленный катастрофой, испуганный насмерть и под угрозой приступа настоящего душевного расстройства.

Одоевский познакомился с Бестужевым в конце 1824 г.[63] «Я любил, – рассказывает он, – заниматься словесными науками; это нас свело. Месяцев через пять после первого нашего свидания в приятельском разговоре мы говорили между прочим о России, рассуждали о пользе твердых неизменных законов. “Доставление со временем нашему отечеству незыблемого устава, – сказал он мне, – должно быть целью мыслящего человека. К этой цели мы стремимся; Бог знает, достигнем ли когда? Нас несколько людей просвещенных. Единомыслие нас соединяет. Иного ничего не нужно. Ты так же мыслишь, как я, стало быть, ты наш”. Вот и все. После разговора моего с Бестужевым он долго ничего не сказывал мне о чем-либо подобном. Когда приехал Рылеев, то он познакомил меня с ним. С Рылеевым я также коротко познакомился и часто рассуждал о законах, о словесности и проч. Слова его о будущем усовершенствовании рода человеческого принимал я по большей части за мечтания, но сам мечтал с ним[64]. В этом не запираюсь, ибо воображение иногда заносится».

Одоевский говорил чистейшую правду: он, действительно, всего больше «заносился мечтой», – чем, кажется, и заслужил неудовольствие своих товарищей. «Рылеев и Бестужев, – признавался он, – которые, право, только безумные, извините за выражение, а люди добрые, добрые, говорили мне: “Что ты не работаешь?”, хотя и не давали мне права принятия. Они мне немного надоели (особенно Рылеев), и я их обманывал. Говорил им: “я работаю”, а между тем, почти ничего не делал».

«Делал» он очень мало, чтобы не сказать ничего. Из достоверно установленных фактов видно, что он принял в члены общества корнета лейб-гвардии конного полка Рынкевича (в июле 1825), что 14 декабря утром после присяги он приехал к Сутгофу

и упрекал его в том, что он изменил своему слову и не идет на площадь[65]; что с поручиком Ливеном заводил несколько раз либеральный разговор в неясных и неопределенных словах; что он принял Плещеева, которому говорил, что цель общества была просить Его Императорское Величество дать конституцию, не объясняя ему (Плещееву), каким образом; наконец, Рылеев полагал, что Одоевский принял в общество Грибоедова[66]. Одоевскому ставили в вину также, что он высказывал радость по поводу того, что наступило время действовать[67], обвиняли его также в том, что на одном из собраний у Рылеева он восторженно говорил: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!»[68].

По этим отрывочным данным нельзя, конечно, составить себе никакого представления о политических взглядах Одоевского. Да и были ли они у него? Если верить ему, то к политической мысли он был совсем не подготовлен; он мог быть политически *настроен*, и в такое настроение, по всем вероятиям, и выливалось все его политиканство. Из показаний на суде видно, например, что он даже плохо знал устав общества, потому что думал, что существует конституция, написанная Рылеевым и Оболенским. Сам он ни устно, ни письменно по политическим вопросам не высказывался. Известно только, что он вместе с Бестужевым и Рылеевым останавливал Якубовича от цареубийства; Рынкевич, кроме того, показывал, что Одоевский в разговорах был умерен и говорил, что Россия не в таком положении, чтобы иметь конституцию. В своих собственных показаниях Одоевский неоднократно говорил, что все это дело считал шалостью и ребячеством. «Оно в самом деле иначе не могло казаться, ибо 30 или 40 человек, по большей части ребят и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены; это очевидно»[69]. Так мог Одоевский думать в тюрьме, но перед катастрофой думал, вероятно, несколько иначе. Признать себя перед судом открыто членом общества он не хотел; утверждал, вопреки очевидности, что никого не принимал в члены, так как самого себя никогда не почитал таковым; говорил, что решительно не может назвать себя членом, так как не действовал и считал существование самого общества испарением разгоряченного мозга Рылеева; отрицал, что он *принят* в общество, а признавал только, что он *увлечен*, так как на слова Бестужева: «Ты наш?» он не отвечал ни да, ни нет, потому что почитал общество ребячеством и одним мечтанием; наконец, говорил, что хвастался из движения самолюбия (не христианского и не рассудительного), желая показать, что имеет некоторый вес в этом обществе – одним словом, Одоевский путался в показаниях, желая задним числом оттенить ту мысль, которая ему пришла в голову в тюрьме и на которой он надеялся

построить свою защиту.

Хотел он также убедить судей в том, что и главная цель общества была ему неизвестна. Это ему, однако, не удалось, так как товарищи единогласно показали, что о конституции он говорил неоднократно. Так, например, вместе с Рынкевичем он желал представительного правления[70], но не надеялся дожить до него; графа Ливена наводил он на мысли о том же словами: «Поговаривают о конституции»; Плещееву 2-му он сообщил, что общество хочет просить царя о конституции; князю Голицыну он говорил, что есть общество, желающее распространить либеральные мысли, дабы искоренить деспотизм и переменить правительство, и говорил он это, по словам Голицына, «свойственным ему языком неосновательности рассуждений». Наконец, Никита Муравьев утверждал, что перед отъездом своим из Петербурга, осенью 1825 г., он дал Одоевскому копию со своей конституции[71].

Против таких улик бороться было трудно и Одоевский в конце концов согласился, что он был принят в общество, стремящееся к достижению конституции, но что все-таки это общество почитал шалостью и ребячеством.

Из всего этого ясно, что конечная цель пропаганды была известна Одоевскому, но в какой форме он рисовал себе конституцию – это неизвестно, и легко может быть, что он прошел совсем мимо этого вопроса.

III

В конце 1825 года Одоевский взял отпуск и уехал во Владимирскую губернию, в деревню к отцу, с которым давно не видался. Между членами общества было условлено, что в случае какого-нибудь важного происшествия каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург. Узнав в Москве о смерти Императора Александра Павловича, Одоевский 8 декабря 1825 г. вернулся в столицу[72]. Для членов тайного общества наступили суетливые и тревожные дни.

11-го декабря Одоевский говорил Рынкевичу: «Я чувствую что-то, что скоро умру, что-то страшное такое меня, кажется, ожидает».

На заседании 13 декабря у Рылеева Одоевского не было, так как утром того числа он вступил в караул в Зимнем дворце, откуда мог смениться только утром 14 декабря. Но 12-го числа вечером, после собрания у Рылеева, он еще побывал у князя Оболенского, куда собрались офицеры разных полков за последними инструкциями касательно будущих действий[73].

14 декабря утром Одоевский стоял еще во внутреннем карауле. Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами обо всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству[74].

Присягнув новому Императору, Одоевский пошел к Рылееву, который «сказал ему дожидаться на площади доколе придут войска». «Я пришел на площадь, – показывает Одоевский, – не найдя на ней никого, пошел домой и у ворот встретил Рынкевича, у коего взял сани, поехал через Исаакиевский мост в Финляндский полк, дабы узнать, приняли ли присягу. Здесь встретил я квартирмейстерского офицера, которого видал у Рылеева и который известил меня, что Гренадерский полк не подымается и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галерее, от коих узнал, что полк присягнул, но что Кожевников арестован, о чем мы соболезновали. Приехав назад на Исаакиевскую площадь, нашел уже толпу Московского полка и некоторых из моих друзей, к коим я пристал. С ними кричал я: Ура! Константин!»[75].

Как только Одоевский прибыл на площадь, ему сейчас дали в команду взвод для пикета, во главе которого он и стал с пистолетом в руках[76]. Поставил его на этот пост кн. Оболенский, но Одоевский недолго оставался во главе пикета и возвратился в каре. Ни одного командного слова он не

произносил.

На площадь Одоевский пришел в большом возбуждении и все время находился, как он сам говорил, в полусознании. «Я простоял, – писал он царю, – 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился: кровь бросилась в голову, как со мной часто случается; услышал: “ура!” – крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».

«Я… весь ослабел, здоровья же я вообще слабого, потому что от лошадей грудь разбита и голова; кровь беспрестанно кидалась в голову; я весь был в изнеможении… Двадцать раз хотел уйти; то тот, то другой заговорят[77]; конногвардия окружила; тут я совсем потерялся, не знал куда деться; снял султан: у меня его взяли, надевали мою шубу[78]. Щепин вывел меня напоказ конной гвардии: “Ведь это ваш?” В другой раз я вышел и удержал московских солдат от залпа и спас, может быть, жизнь многих».

«На площади, – показывал В. Кюхельбекер[79], – я с Одоевским снова увиделся. Находился он неотлучно при московцах; удалял чернь из боязни напрасного кровопролития (когда она приближалась к рядам), не только не поощрял, но унимал солдат, стрелявших без спросу; а при ожидаемом на нас нападении конницы, увещевал их метить не в людей, а лошадям в морды; караульному же офицеру, который грозился велеть выстрелить в нас обоих, подошедших слишком близко к сенатской гауптвахте, он отвечал: “Monsieur! on ne meurt qu’une fois”. Наконец, увидел я Одоевского, теснимого толпою мимо его бегущих солдат гвардейского экипажа, и заметил, как он снимал султан со своей шляпы».

Суматоха на площади, как видим, царила большая, и среди этой суматохи роль Одоевского была ничтожна. Собственно, никакой вины за ним, кроме самого присутствия на площади, и не числилось. Были даже заслуги. «В самом деле, – писал он царю, – в чем моя вина? Ни одной капли крови, никакого злого замысла нет на душе у меня. Я кричал, как и прочие; кричал “ура!”, но состояние беспамятства может послужить мне оправданием. Если бы у меня малейший был бы замысел, то я не присоединился бы один, а остался бы в своем полку»[80].

На площади у Одоевского, действительно, начинался тот длинный пароксизм беспамятства, который разрешился острым душевным кризисом в тюрьме.

«В колонне остался я, – пишет Одоевский, – доколе оная была расстроена и разогнана картечью. Тогда пошел я Галерной и чрез переулок на Неву, перешел через лед на Васильевский остров к Чебышеву[81]. Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру[82], живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю

одежду и 700 руб. денег. Я пошел в Екатерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу. Наконец, вчерась возвратился в Петербург, где прибыл к дяде Д. С. Ланскому, который отвел меня к Шульгину (полицеймейстеру)».

О том, как Одоевский вернулся в дом своего дяди Ланского, существует несколько рассказов, с истиной едва ли вполне согласных.

Рассказывали, что он пешком пошел по Парголовскому шоссе; но у дачи дяди его Мордвинова (?) люди узнали его, а Мордвинов вернул его в Петербург и представил куда следует[83].

Один современник утверждал, что гусары, казаки и драгуны делали ночью обход, чтобы ловить преступников, и Одоевский, спасаясь от них, провел ночь под дугой какого-то моста, но затем, окоченев от холода, спасся к Ланскому[84].

Другой современник рассказывает, что 14 декабря вечером Одоевский исчез. На следующий день около взморья один унтер-офицер наткнулся на прорубь, которая начала уже замерзать, и увидал, что около проруби лежат шпага, пистолет, военная шинель и фуражка Конногвардейского полка. Шинель вырубили изо льда и начали поиски тела. Вещи были доставлены на квартиру Одоевского, которого искали. Прислуга признала их, и решили, что Одоевский утонул; а он через несколько дней, в простом полушубке, как мужик, пришел к Ланскому. Ланской обещал будто бы его спрятать, отвел его в дальнюю комнату, запер в ней, а сам поскакал с докладом во дворец[85]. Рассказывали, наконец, что Ланской не дал Одоевскому ни отдохнуть, ни перекусить, а прямо повез его во дворец[86].

17 декабря в 2 ч. дня Одоевский и Пущин были доставлены в Петропавловскую крепость с запиской от императора, в которой он писал: «Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский равелин».

IV

В равелине Одоевский сидел рядом с Н. Бестужевым. «Одоевский, – рассказывает М. А. Бестужев, – был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы подымались дыбом; что ему ни говорили, как ни стращали – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиной, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения»[87].

Такое поведение Одоевского в тюрьме неоднократно обращало на себя внимание его биографов, и все приписывали эти странности его пылкому темпераменту. Теперь, когда показания его перед нами, поведение его объясняется иначе: он был психически болен, расстроен до потери сознания. На него напал панический страх, и ужас его положения притупил в нем все другие чувства, лишая его иногда даже связной речи. И понятно, что такое расстройство могло овладеть его духом. Слишком был он не подготовлен к испытанию, слишком не увлечен своим делом, чтобы не пасть духом. Слишком был он молод, богат, красив, умен, талантлив, полон надежд, чтобы не ужаснуться грядущему. А это грядущее рисовалось ему как нечто невообразимо страшное и беспросветное. Он словно угадывал свою судьбу и отбивался от ее призрака.

И много лишних заклинаний произнес он, отбиваясь от него.

Первый допрос в присутствии самого царя оставил слабый след в его расстроенной памяти. «При первом допросе, – пишет он, – пройдя через ряд комнат дворца, совершенно обруганный, я был весьма естественно в совершенном замешательстве, какого еще отродясь не испытывал». Одоевский просил поэтому не засчитывать ему в обвинение те показания, которые на первом допросе записаны рукой генерала Левашова.

Ему вскоре была предоставлена возможность самому письменно отвечать на вопросы.

Сначала он отвечает витиевато и красноречиво, не теряя

самообладания.

«Смею испросить, – пишет он, – у Высочайше учрежденного комитета несколько минут терпеливого внимания, хотя бы оный и нашел в моих ответах подробное повторение показаний, уже мною учиненных на духу[88]. Я был совершенно чист в продолжение 23 лет: я говорю это без самолюбия, ибо едва ли какое-либо самолюбивое побуждение мне дозволяется в теперешнем моем состоянии. Я потому говорю о моем прежнем поведении, что в таком деле, где одна минута безумия всю участь мою решила, все приемлется в уважение – и мои чувства, и образ моих мыслей, и прежнее мое поведение. Я строго исполнял свои обязанности и был совершенно непорочен до 14 декабря. Это самое покорнейше прошу поставить на вид Государю Императору, ибо как его правосудию, так равно и его человеколюбию необходимо все знать и взвесить на весах своих и жизнь, и честь мою. Кто знает? Неисповедима воля Господня и, может быть, неисчерпаемы и кротость, и милосердие Государя. Еще я не погиб, но ежели мне суждено погибнуть, да исполнится воля Царя. Если же единым своим животворящим словом воскресит он меня, то я уверен в себе, что моею беспредельной благодарностью и искренним раскаянием, и целою жизнью изглажу я свою вину. Раскаяние – все перед Богом. Я уверен, что оно – много перед Государем. Да простят мне мое отступление. В последние минуты моей жизни (!) утешительно и необходимо было мне изложить мои чувства перед людьми почтенными, которых мнением истинно должен дорожить и которых, быть может, одних остается мне видеть на земле»[89]. Как видим, тон речи Одоевского, хоть и очень смиренный, но в общем спокойный. «Последние минуты жизни» представляются ему пока еще не столько реальностью, сколько хорошим поэтическим оборотом. Одоевский, кроме того, озабочен, как бы его первые показания, записанные не его рукой, ему не повредили. Он принимает меры предосторожности и заявляет прямо, в письме к царю от 21 декабря, что тогда, когда он давал эти показания, он «по трехдневном голоде и бессоннице был в совершенном расстройстве и душевных, и телесных сил». «Несвойственно было бы твоему правосудию, Государь, – пишет он, – принять за доказательства против меня слова человека, ума лишенного. Так, к сожалению, должен я признаться, что с самого времени смутных обстоятельств, я чувствую беспорядок в моих мыслях: иначе не умею истолковать всех моих действий. Я скрылся, не знаю зачем, ходил Бог знает где и, наконец, сам, по собственному побуждению, возвратился в город и явился к Тебе, Государь. Теперь начинаю я опамятоваться и не могу доверить себе: я ли это? Я был в горячке. Внутреннего сознания в

благородстве моих чувств я не утратил и никогда не утрачу; но внешнее посрамление, которым ты уже наказал меня, Государь, сильно врезалось мне в сердце. Я хотел скрыться под землю, под лед[90], чтобы избавиться от стыда и поношения и, не доезжая крепости, бросился с моста (??)[91]. Люди из любопытства всматривались в меня, как враны заглядывают в глаза умирающего, будущей их добычи (!?)… При вступлении Твоем на престол само Провидение даровало Тебе способ оказать себя благостным перед всем миром и одним всемогущим словом привязать к себе сердца тысячи тысяч людей, и таковой первый опыт Твоей благости увенчает тебя вечным сиянием. Прости заблужденных, а меня единого казни, если найдешь сие необходимым, но не лишай меня доброго имени. Я готов Твои колена не слезами, а кровью своею облить: внемли моему молению. Я и теперь еще чувствую расстройство в себе: оно было всему причиною…»

Уже в этом письме заметна тревога и некоторая растерянность мысли. Через месяц Одоевский пишет второе письмо царю: страх за свою участь начинает в нем проступать совсем ясно, разброд мыслей увеличивается и тон становится неприятен.

«Чем более думаешь об этих злодеяниях, – пишет Одоевский, – тем более желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России. Но Вы, Всемилостивейший Государь, при начале Вашего царствования сие и совершите. Желание же каждого подданного, который имеет совесть, споспешествовать по возможности сему священному делу: это долг его ради утверждения государства и для спасения честных людей, ибо когда корень зла пустил ветви, то нетрудно запутаться в них и самому честному». Одоевский доносит затем царю, «Ему Единому», о существовании второго, Южного общества, в сравнении с которым Северное общество – шалость. Он называет царю Пестеля как главу общества и полагает, что «ангельская кротость царя будет спасительна для них, а мудрость и твердость положат преграды их намерениям и разлитию яда». Наговорив много льстивых слов по адресу августейшей семьи, Одоевский продолжает: «Как начнешь размышлять, – говорит он, – где Государи кротче? Как не быть приверженным всею душою и благодарным всею душою Всеавгустейшей фамилии? Все благословляют Вас и все довольны, а если есть неудовольствия, то рассеиваются они обществами. Чего они хотят? Железной розги. Но эти проклятые игрушки нашего века будут, слава Богу, наконец, растоптаны Вашими стопами. Если я сам, хотя слепое, безумное орудие и безвредное, а не участник их, должен

погибнуть, то все, все радуюсь всем сердцем для других; и для того я и осмелился донести Вам, Государь, о том обществе. Зародыш зла всего опаснее, от него молодые благородные душою люди, которые могли бы быть самыми усерднейшими слугами своего Государя и украшением своих семейств и жить всегда и в счастии, и в чести – лишаются всего, что есть священного и любезного на свете, и яд этих обществ тем опаснее, что разливается нечувствительно…»

«Также приятно мне и в моем несчастии, всемилостивший государь, подумать, что, не причинив в продолжение моей жизни никому вреда, кроме себя, я мог услужить, принести хотя малую пользу моему кроткому и милосердному императору и нашему порфироносному ангелу, будущему Александру Второму. О, если бы мое спасение было первым его благодеянием! Его черты столь кротки, что если бы он узнал о моей мольбе к нему, он умилостивил бы Вас; и с какою любовью, с какою приверженностью благословлял бы я Его во всю жизнь, называя моим ангелом-избавителем. Вы всего меня знаете. Я все сказал…» И Одоевский вновь излагает всю историю своего завлечения и кончает письмо такими новыми подробностями из последнего дня своей жизни на свободе: «Потом хотел броситься Вам в ноги. Пришел я к Жандру: старуха одна, которая меня очень любит, его родственница, завыла “спасайтесь!” Кинула мне деньги. Я пуще потерял голову. Пошел куда глаза глядят. На канаве, переходя ее, попал в прорубь; два раза едва не утонул (!), стал замерзать (!!), смерть уже чувствовал, наконец, высвободился, но совсем ума лишенный; через сутки опамятовался; явился к Вам. О Государь! Какие мучения! Те, которые готовит Ваше милосердное правосудие, едва ли жесточе! Но если бы Вы спасли меня! О Государь Всемилостивейший! Боже!»

Письмо, как видим, становится настоящим воплем отчаяния, и страх диктует все эти речи, столь мало соответствующие общему складу души несчастного юноши.

Спустя две недели после этого письма к Государю Одоевский пишет совершенно полоумное послание Г. А. Татищеву. «Благодать Господа Бога сошла на меня, – говорит он, – дух бодр, ум свеж, душа спокойна, сердце так же, как и прежде, чисто и молодо, а все от совершенно чистого раскаяния и благодати Божией… Допустите меня сегодня в комитет, Ваше Превосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива: как не быть ей таковою? Она порывается к Вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед Вас. Я надумался; все в уме собрал. Вы найдете корень. Дело закипит. Я уже имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что я наведу на

корень: это мне приятно. Но прежде я колебался от слабоумия, а теперь – с убеждением… Дозвольте придти мне поранее, ибо дела будет много. Я постараюсь всеми силами. Вы увидите. Жаль, что давно сего не исполнил, но Вы изволите знать, что я был слаб, был в уме расстроен. Теперь же в полном разуме и все придумал. Являюсь с радостью и убеждением в добром деле».

Через четыре дня он пишет тому же лицу: «Если когда будет свободная минута, то прикажите опять мне явиться. Я донесу систематически: 1) об известных мне выбывших членах; 2) о тех, коих подозреваю в большом их круге; 3) о принадлежащих ко 2 армии; 4) разберу по полкам; ни одного не утаю из мне известных, даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать…»

Одоевский, когда писал эти строки, забыл, что во всех своих показаниях он упорно утверждал, что к обществу не принадлежит и дел общества не знает. Впрочем, он все забыл и только дрожал от страха… Действительно, лишь паническим страхом можно объяснить в том же письме к Татищеву такие, например, строки, почти лишенные смысла: «Одно меня только очень мучает все эти дни: не погубил ли я священника? Он, право, не виноват в том, что я узнал о Кюхельбекере (т. е. что он пойман), я виноват: я стал первый говорить, что зачем Кюхельбекер убежал, что он всех невиннее, ибо он принадлежал обществу дней с восемь, что его же схватят, что в России не уйдешь, а священник кивнул головою. Я и заключил, что он (Кюхельбекер) здесь. Спасите священника. Эта мысль меня очень мучает, что я погубил его. Боже, Боже мой! Какой я несчастный! Спасите, сделайте милость, спасите его. Он, кажется, человек почтенный…»

Характерны в этом письме и последние строки, которые ясно показывают, что Одоевский совсем не сознавал того, что он говорил и делал. «Что касается до моего показания о членах, – пишет он, – то у меня, знаете ли, Ваше Высокопревосходительство, какое было еще опасение, кроме страха запутать и погубить новые лица? – опасение прослыть в тайнике души Вашей и всех гг. членов за доносчика. Вы бы, как судьи, воспользовались моими объявлениями, но могли бы подумать: “Как неблагороден этот молодой человек. Для своего спасения губит людей”. Но теперь мне кажется, что Вы проникли до глубины моей души, что нет иной побудительной причины моих показаний, как совершенно чистое раскаяние, как убеждение в добром деле… наконец, еще причина моих показаний: желание, самое пламенное желание отвратить незаслуженное подозрение Правительства от невинных лиц и от всей России, ибо я подозреваю, что главные лица оставляют Вас в

неизвестности, дабы подозрение летало над невинными головами, а ничего нет ужаснее для сердца, как подозрение кроткого правительства. Вот мои чувства… Русский человек – все русский человек: мужик ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же. Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях), пока вера во Христа и верность Государю его одушевляют, то он храбр, как шпага, тверд, как кремень; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает, но если он сбился с законной колеи, то у него душа как тряпка. Я это испытал. Я с природы не робок. Военного времени не было, то лишнего нечего говорить; но мне и другим казалось, что я в душе солдат; был всегда отважным мальчиком: грудь, голова, ноги, – все избито (?). Но теперь, Боже мой! Я не узнаю себя или, лучше сказать, узнаю, ибо в теперешнем моем состоянии точно так должно чувствовать, как я чувствую. У меня, глядя на почтенных людей, душа замирает. Мне все кажется не Государь ли Император из-за Вас на меня смотрит? Ибо он Вам поручил свою волю. Все боюсь я, нет ли на лицах Ваших презрения ко мне?[92] Но теперь я покойнее. Вы в самом деле проникли до глубины души моей. Слава, слава Господу Богу, Иисусу Христу, моему Спасителю, ибо Он спасает меня в Ваших сердцах».

Неизвестно, как судьи отнеслись к этому бреду, но тот факт, что после всех этих писем и, очевидно, после тайных допросов, они вновь стали присылать Одоевскому дополнительные вопросные пункты, и притом самые конкретные, показывает нам, что насчет психического состояния подсудимого они не заблуждались. И мы теперь, читая эти показания, не должны из них делать вывода, слишком невыгодного для Одоевского. Он был нервно или, вернее, душевно болен; он был измучен до последней крайности, сбит совершенно с толку; он отличался кроме того доверчивостью и думал о людях лучше, чем они того заслуживали; наконец, он сознавал себя несчастным в полном смысле слова, так как дело, за которое он погибал, было не его делом, и он до известной степени правильно говорил, что был *увлечен* в это общество, а не принят в него. Он почти ничего не знал, а отвечать приходилось, словно бы все творилось с его ведома.

Все это, конечно, не снимает с него вины за тон его речей, но эта настоящая вина бледнеет перед той карой, какую он понес за вину совсем ничтожную. Иным словом и нельзя назвать те обвинительные пункты, которые против него были установлены комиссией о разрядах. В ее донесении сказано: «Корнет Гвардии конного полка князь Александр Одоевский, 25 лет. По

собственному признанию: По второму пункту (бунт): участвовал в умысле распространения тайного общества принятием одного члена. По мятежу: лично действовал в мятеже без возбуждения других, но с пистолетом в руках»[93].

13 июля 1826 года над головой Александра Ивановича сломали его шпагу, сняли с него мундир и сожгли его, надели на него лазаретный халат и отвели опять в крепость.

Окончание дела вернуло Одоевскому спокойствие духа. «Против нас, – рассказывает Басаргин[94], – сидел князь Одоевский, очень молодой и пылкий юноша-поэт. Он, будучи веселого, простосердечного характера, оживлял нашу беседу (в каземате, после окончания дела), и нередко мы проговаривали по целым ночам».

1-го февраля 1827 года Одоевского, Нарышкина и двух Беляевых увезли в Сибирь. «Комендант Сукин, – рассказывает А. Беляев, – заявил нам, что имеет высочайшее повеление, заковав нас в цепи, отправить по назначению. При этом он дал знак, по которому появились сторожа с оковами; нас посадили, заковали ноги и дали веревочку в руки для их поддерживания. Оковы были не очень тяжелы, но оказались не совсем удобными для движения. С грохотом мы двинулись за фельдъегерем, которому нас передали. У крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, Одоевский написал потом свою думу, озаглавленную “Бал мертвецов”»[95].

V

По разряду наказаний Одоевский попал в четвертую группу и был приговорен к 15-летней каторге. Конфирмацией Императора этот срок был сокращен до 12-ти лет.

В Нерчинские рудники Одоевский поступил 20 марта 1827 года.

О жизни декабристов в Сибири сохранилось много рассказов[96].

Вначале положение их было очень тяжелое. «Власть делала много стеснений, производила обыски, относилась к заключенным с большой подозрительностью и придирчиво. Действия власти имели вид иногда чисто одного недоброжелательства и личной неприязни, так как они не оправдывались уже никакими, даже и ошибочными, политическими опасениями»[97].

Каторжная работа была, впрочем, не так страшна.

«Нас поместили, – рассказывает А. Беляев, – в одну из боковых, довольно большую комнату, где были сделаны нары для ночлега и сиденья. В углу между печью и окном могли поместиться трое, и эти трое были: Н. И. Лорер, Нарышкин и М. А. Фон-Визин. На больших же нарах вдоль стен помещались мы с братом, Одоевский, Шишков и еще кто – не помню. (В углу стояла знакомая парашка). На ночь нас запирали. Выходить за двери мы могли не иначе, как с конвоем; выходить не куда-нибудь из тюрьмы, а в самой тюрьме. Гулять дозволялось по двору, обставленному высоким частоколом. Весной нам дозволили заняться устройством на дворе маленького сада. Эти работы мы делали в свободное от казенных работ время и в праздники. Казенные же работы производились при постройке большого каземата, где должно было поместиться потом все общество и куда нас к зиме и перевели. Мы копали канавы для фундамента, а так как земля еще была мерзлая, то прорубали лед кирками. Но каземат этот не мог поспеть ранее зимы. Летом работали плотники, а нас водили на конец этого маленького селения зарывать овраг. Около этого оврага росло несколько роскошных бальзамических тополей, под тенью которых мы отдыхали. Тут обыкновенно читали, беседовали, играли в шахматы и, возвращаясь домой к обеду, обыкновенно пели, и по большей части: Allons, enfants de la patrie, так как эта песня, действительно, подходила к нам, разумеется, только этими начальными словами, хотя остальными вовсе не подходила уже к мирному настроению большей части товарищей»[98].

В этом же духе рассказывает и Д. Завалишин про их работу.

«Вот выходят, – пишет он, – и кто берет лопату для забавы, а кто нет. Неразобранные лопаты несут сторожа или везут на казематском быке. Офицер идет впереди, с боков и сзади идут солдаты с ружьями. Кто-нибудь из нас запевает песню, под такт которой слышится мерное бряцание цепей. Очень часто пели итальянскую арию «Un pescator del onda fidelin»… Но чаще всего раздавалась революционная песня: “Отечество наше страдает под игом твоим”. И вот и офицеры, и солдаты спокойно слушают ее и шагают под такт ей, как будто так и следует быть. Место работы превращается в клуб; кто читает газеты; кто играет в шахматы; там и сям кто-нибудь для забавы насыпает тачку и с хохотом опрокинет землю с тачкой в овраг, туда же летят и носилки вместе с землей; и вот присутствующие при работе зрители, чующие поживу, большей частью мальчишки, а иногда и кто-нибудь из караульных, отправляются доставать изо рва за пятак тачку или носилки. Солдаты поставят ружья в козлы, кроме двух-трех человек, и залягут спать; офицер или надзиратель за работой угощаются остатками нашего завтрака или чая, и только завидя издали где-нибудь начальника, для церемонии вскакивает со стереотипным возгласом: “Да что ж это вы, господа, не работаете?” Часовые вскакивают и хватаются за ружья; но начальник прошел (он и сам старается ничего не видеть), и все возвращается в обычное нормальное-ненормальное положение»[99].

Это «нормальное» положение было вначале очень скучным, за частоколом и в тесноте[100], но затем община заключенных сорганизовалась[101].

Они «получали газеты, даже запрещенные, в которые завертывались посылки. Каземат выписывал одних газет и журналов на разных языках на несколько тысяч рублей».

Заключенные «занимались взаимным обучением. Так, например, Лунин и Оболенский учились у Завалишина по-гречески, Барятинский, Басаргин и др. высшей математике у него же, Беляев, Одоевский и др. у него по-английски».

Между товарищами было много хороших музыкантов и знатоков пения[102]. У них часто бывали вокальные и инструментальные концерты. «Одних фортепиано было восемь, как ни дорого стоила в то время присылка громоздких инструментов. Детей также обучали и музыке, и пению, и обучение церковному пению подало предлог к учреждению школы»[103].

«Вскоре мы устроили общие поучительные беседы, – рассказывает Басаргин. – Воскресенье утром читали вслух что-

нибудь религиозное, например, собственные переводы знаменитых иностранных проповедников, английских, немецких, французских, проповеди известных духовных особ русской церкви и кончали чтением нескольких глав из Евангелия, Деяний Апостолов или Посланий[104]. Два раза в неделю собирались мы также и на литературные беседы. Тут каждый читал что-нибудь собственное или переводное из предмета, им избранного: истории, географии, философии, политической экономии, словесности, поэзии и т. д. Бывали и концерты или вечера музыкальные. Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором, под звуки музыки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов. Занятия политическими, юридическими и экономическими науками были общие, и по этим предметам написано было много статей»[105].

«Для обсуждения всех новых произведений были устроены правильные собрания, которые называли в шутку «академией». Очень развита была также легкая и сатирическая литература; для некоторых стихотворений была сочинена и музыка (например, для пьесы Одоевского “Славянские девы” на мотив “Стояла старица”), чем преимущественно занимался Вадковский»[106].

«Между нами, – рассказывает другой участник академии Лорер, – были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Витковский [Вадковский. – *Ред.*], оба брата Крюковы; они в совершенстве владели разными инструментами. Явились вскоре рояли, скрипки, виолончели, составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Бывало, народ обступит частокол нашей тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение… Строгие правила инструкции мало-помалу забывались, да и невозможно было за всем уследить. Например, у нас отобрали серебряные ложки и хранили их у коменданта, а из Петербурга нам прислали столовые приборы из слоновой кости, гораздо ценнее самого серебра. Устроив мало-помалу свое материальное довольство, мы не забыли и умственного. Стоило появиться в печати какой-нибудь примечательной книге, и феи наши уже имели ее у себя для нас. Газеты, журналы выписывались многими, а Никита Муравьев даже перевез в Сибирь всю богатую библиотеку своего отца для общего употребления. Между нами устроилась академия, и условием ее было: все написанное нашими читать в собрании для обсуждения. Так, при открытии нашей каторжной академии, Николай Бестужев, брат Марлинского, прочитал нам историю русского

флота, брат его, Михаил, прочел две повести, Торсон – плавание свое вокруг света и систему наших финансов, опровергая запретительную систему Канкрина и доказывая ее гибельное влияние на Россию. Розен в одно из заседаний прочел нам перевод “Stunden der Andacht” (часы молитвы). Александр Одоевский, славный наш поэт, прочитал стихи, посвященные Никите Муравьеву как президенту Северного общества. Он читал отлично и растрогал нас до слез. Дамы наши прислали ему венок. Корнилович прочел нам разыскание о русской старине; Бобрищев-Пушкин тешил нас своими прекрасными баснями»…[107]

«В долгие зимние вечера, – говорит барон Розен, – для развлечения и поучения несколько товарищей-специалистов согласились читать лекции: Никита Муравьев – стратегии и тактики, Ф. Б. Вольф – химии и физики, П. С. Бобрищев-Пушкин – прикладной и высшей математики, А. О. Корнилович и П. А. Муханов – русской истории, К. П. Торсон – астрономии и А. И. Одоевский – русской словесности»[108].

Барон Розен рассказывает далее обстоятельно о том, как Одоевский справлялся со своей задачей. Рассказ любопытен, так как показывает, каким богатым запасом знания обладал Александр Иванович еще до ссылки, т. е. как литературно и даже учено-литературно был образован этот светский молодой человек.

«А. И. Одоевскому, – говорит Розен[109], – в очередной день следовало читать о русской литературе: он сел в углу с тетрадью в руках, начал с разбора песни о походе Игоря, продолжал несколько вечеров и довел лекции до состояния русской словесности в 1825 году. Окончив последнюю лекцию, он бросил тетрадь на кровать, и мы увидели, что она была белая, без заметок, без чисел хронологических, и что он все читал на память. Упоминаю об этом обстоятельстве не как о подвиге или о желании выказаться, но, напротив того, как о доказательстве, до какой степени Одоевский избегал всяких писаний; может быть, он держал пустую тетрадь в руках для контенанса; в первую лекцию, воспалменившись вдохновением, он изредка краснел, как бывало с ним при сочинении рифмованных экспромтов»[110].

VI

В 1831 году Одоевский вместе с другими товарищами был переведен из читинского острога в Петровскую тюрьму (за Байкалом), при балагинском железном заводе[111].

«Работы наши, – рассказывает Розен, – продолжались как по-прежнему в Чите, летом на дорогах, в огороде, зимою мололи на ручных мельницах; в досужное время каждый занимался по своей охоте; в книгах не было недостатка, для учения было более удобств. Александр Иванович Одоевский дважды в неделю работал со мною»[112].

Совсем в веселом тоне говорит об этой петровской жизни и А. Беляев. «Работы наши и здесь продолжались также на мельнице, точно в таком же порядке, как и в Чите; только, так как нас здесь было более числом, то выходили на работу поочередно и по партиям, а не все каждый день. Из всего этого видно, что заключение было весьма человеколюбивое и великодушное; мы лишены были свободы, но, кроме свободы, мы не были ни в чем стеснены и имели все, что только образованный развитой человек мог желать для себя. К тому еще, если прибавить, что в этом замке или остроге были собраны люди действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения и что тут было так много пищи для ума и сердца, то можно сказать, что заключение это было не только отрадно, но и служило истинной школой мудрости и добра»[113].

В конце 1832 года, по случаю рождения В. К. Михаила Николаевича, убавили по несколько лет каторжной работы тому разряду, в котором находился Одоевский, и срок его каторги кончился. Он выехал из Петровской тюрьмы на поселение в начале 1833 года[114].

VII

Одоевский был поселен в селении Еланском, Иркутской губернии[115], где он прожил три года. Нужды он не терпел[116], но жизнь была очень скучная. Он жил в собственном деревянном домике, который купил себе за 400 руб. и обзавелся кое-каким хозяйством[117].

С судьбой поселенца Одоевский мирился туго. По крайней мере, в первый же год жизни в Елани он писал царю письмо, в котором обращался с просьбой о прощении ему его вины. Он говорил, что вполне заслужил кару, но что чем больше убеждается в вине своей, тем сильнее тяготеет над ним имя преступника. Он просил дать ему возможность утешить скорбного и нежного отца, усладить преклонные лета его и принять его прощальный взор и последнее отеческое целование. Он обещал, что сердечная преданность Государю будет направлять отныне все стези его жизни и что он посвятит на оправдание своих слов все силы, «сколько осталось их от возрастающего грудного изнеможения»[118].

О переводе Одоевского в другое место из «дикой Елани, где климат так суров и где леса горят от беглых», начал в то же время хлопоты и его отец – князь Иван Одоевский. Он писал частые и длинные письма ген. – адъютанту Бенкендорфу, прося его исходатайствовать сыну облегчение его участи. Старик просил сначала определить сына в солдаты и разрешить ему отдохнуть в его имении, но так как думать об исполнении этой просьбы он не смел, то просил перевести сына хоть в Курган, где находились бар. Розен и Нарышкин. Если нельзя в Курган[119], то хоть в Ишим. Старик мотивировал свою просьбу тем, что климат Елани вреден для его сына[120].

На опасения отца о здоровье сына исправляющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири писал, что Александр Одоевский «здоров, не жалуется и ведет себя хорошо».

23 мая 1836 года царь разрешил, наконец, перевести Одоевского из Елани в Ишим. В июле 1836 года Одоевский был отправлен в Тобольск под надзором одного казака, которому выдали 1000 руб., принадлежащих Одоевскому, для расходования их по мере надобности. В конце августа он был в Ишиме.

С этого же времени старик стал хлопотать о свидании с сыном.

«Ah! combien je suis heureux de vous savoir plus prés de moi, – писал он сыну, – en pensant que par le premier traînage je pourrai venir vous presser contre mon coeur, et vous couvrir de tendres

baisers. *L'ideå' seule* que mes yeux pourront voir les votres, que je pourrái me jeter dans vos bras – fait toute ma félicité».

Это письмо сделалось известным ген. – губернатору П. Д. Горчакову, который, усматривая в нем как бы выражаемое князем Одоевским желание навестить своего сына на новом месте поселения, счел необходимым просить гр. Бенкендорфа дать ему указания к руководству на будущее время о том, возможно ли допускать свидания родственников с поселенцами из государственных преступников.

Переписка была длинная, пока наконец в 1836 году 25 ноября Бенкендорф не уведомил Горчакова, что родственникам находящихся в Сибири государственных преступников не может быть дозволяемо приезжать в Сибирь для свиданий и «что буде кто-либо из родственников означенных преступников отправится в тот край, не испросив предварительно на сие дозволения, то местное начальство обязано немедленно его выслать»[121].

В январе 1837 года старик князь Иван Одоевский через императрицу возобновил ходатайство о поселении сына в своем имении во Владимирской губернии, но согласия на это ходатайство и на этот раз не последовало.

Александр Иванович с своей стороны ходатайствовал перед Бенкендорфом о разрешении вступить рядовым в армию, действовавшую на Кавказе. Это прошение было уважено царем 19 июня 1837 года. Рассказывают, что царь уступил главным образом под впечатлением стихотворения Одоевского «Послание к отцу», переданного царю Бенкендорфом вместе с его ходатайством.

До Казани Александр Иванович шел этапным путем, а затем на собственный счет покатил на почтовых с жандармом, торопясь не опоздать в экспедицию против горцев.

В Казани состоялось, наконец, его свидание с отцом, который выехал ему навстречу. Н. И. Лорер так рассказывает в своих записках про этот трогательный эпизод.

«70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не выдержал и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу по лестнице; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекши и его за собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств. После первых восторгов

князь-отец заметил сыну: “Да ты, брат, Саша как будто и не с каторги, у тебя розы на щеках”. И, действительно, Александр Одоевский в 35 лет был красивейшим мужчиной, каких я когда-нибудь знал. Стрекалов оставил обоих Одоевских у себя обедать, а вечером все вместе провели очень весело время.

28 августа мы оставили Казань. Старый Одоевский провожал сына до третьей станции, где дороги делятся, одна идет на Кавказ, другая – на Москву. При перемене лошадей, готовясь через несколько минут проститься со своим Сашей, бедный отец грустно сидел на крылечке почтового дома и почти машинально спросил проходившего ямщика: “Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?” “Поворот не с этой станции, – отвечал ямщик, – а с будущей”… Старик-князь даже подпрыгнул от неожиданной радости: еще 22 версты лицезреть, обнимать своего сына!.. и он подарил ямщику 25 руб., что очень удивило последнего. Однако, рано или поздно, расставанье должно было осуществиться. Чувствовал ли старик, обнимая сына, что в последний раз лобызает его?»[122]

VIII

Одоевский ехал в новый, неизвестный ему край, «от 40 градусов мороза к 40 градусам жары». Как бывший кавалерист, он был определен в Нижегородский драгунский полк, который стоял тогда в урочище Кара-Агач близ Царских Колодцев, верстах в 100 от Тифлиса.

О пребывании Одоевского на Кавказе сохранилось много, хотя и отрывочных, сведений в воспоминаниях современников. Сопоставим эти сведения, и мы получим довольно полную картину последних лет жизни поэта.

Первая его стоянка была в Ставрополе, где он застал многих из своих товарищей.

«Осенью 1837 года, – рассказывает Н. Сатин, – в Ставрополь привезли декабристов Нарышкина, Лорера, Розена, Лихарева и Одоевского. Несмотря на 12 лет Сибири, все они сохранили много жизни, много либерализма и мистически-религиозное направление, свойственное царствованию Александра I. Но из всех веселостью, открытой физиономией и игривым умом отличался Александр Одоевский. Это был действительно “мой милый Саша”, как его прозвал Лермонтов. Ему было тогда 34 года, но он казался гораздо моложе, несмотря на то, что был лысый. Улыбка, не сходившая почти с его губ, придавала лицу его этот вид юности».

«Я и Майер отправились провожать наших новых знакомых до гостиницы, в которой они остановились, – продолжает Сатин. – Между тем пошел сильный дождь, и они не хотели отпустить нас. Велели подать шампанского и пошли разные либеральные тосты и разные рассказы о 14 декабря и обстоятельствах, сопровождавших его. Можете представить, как это волновало тогда наши еще юные сердца и какими глазами смотрели мы на этих людей, из которых каждый казался нам или героем или жертвой грубого деспотизма!

Как нарочно, в эту самую ночь в Ставрополь должен был приехать Государь. Наступил темный осенний вечер, дождь лил ливмя, хоть на улице были зажжены плошки, но, заливаемые дождем, они трещали и гасли и доставляли более вони, чем света.

Наконец, около полуночи прискакал фельдъегерь, и послышалось отдаленное “ура”. Мы вышли на балкон; вдали, окруженная горящими смоляными факелами, двигалась темная масса.

Действительно, в этой картине было что-то мрачное.

– Господа! – закричал Одоевский. – Смотрите, ведь это

похоже на похороны! Ах! если бы мы подоспели!.. – И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латыни:…….[123]

– Сумасшедший! – сказали мы все, увлекая его в комнату, – что вы делаете? ведь вас могут услыхать, и тогда беда!

– У нас в России полиция еще не училась по-латыни, – отвечал он, добродушно смеясь»[124].

В Ставрополе товарищам вообще жилось весело. «У командира Моздокского казачьего полка Баранчеева собирались декабристы Кривцов, Палицын, Лихачев [Лихарев. – *Ред.*], Черкасов, Одоевский, Нарышкин и Коновницын и целый кружок офицеров. Углублялись не в политику и не в философию (?), которые надоели и измучили их. Коротали долгие вечера – бостоном, копеечным бостоном и доигрывались до изнеможения сил, пока карты из рук не падали», – так рассказывает один из участников этих веселых вечеров[125].

Мы встречаем затем Одоевского в Тифлисе.

«Одоевского застал я в Тифлисе, – рассказывает А. Розен, где он находился временно, по болезни. Часто он хаживал на могилу своего друга Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами, но все по-прежнему пренебрегал своим дарованием. Всегда беспечный, всегда довольный и веселый, как истый русский, он легко переносил свою участь; был самым приятным собеседником, заставлял много смеяться других, и сам хохотал от всего сердца. В том же году я еще два раза съехался с ним в Пятигорске и в Железноводске. Просил и умолял его дорожить временем и трудиться по призванию, – мое предчувствие говорило мне, что не долго ему жить; я просил совершить труд на славу России»[126].

В 1839 году летом Одоевский был в Пятигорске, где с ним встретился Н. П. Огарев. В своих воспоминаниях Огарев сохранил нам мастерский портрет своего друга[127]:

«Одоевский был, – пишет Огарев, – без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов писал его с натуры. Да, “этот блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую” не забудет никто из знавших его.

В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, и с тою же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил

свое страдание; это совершенно в христианском духе… да не только в христианском духе, но в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться… Он обыкновенно отклонял всякое записывание своих стихов. Хотел ли он пройти в свете "без шума, но с твердостью", пренебрегая всякой славой… что бы ни было, но

дела его и мненья
И думы, – всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков…

и у меня в памяти осталась музыка его голоса – и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая…

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я – идущий по их дороге, я – обрекающий себя на ту же участь… Это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я писал к Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез: в самом деле, это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению – поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близки друг к другу. Он – как учитель, я – как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе

целость убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было истинно и величаво. Я смотрел на него с религиозным восторгом. Он был мой критик.

Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок – бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского, стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца… за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я, и к нему, как к единой окончательной цели примыкало наше религиозное настроение, с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик (?) или православный… не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен придти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или, скорее, поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни с самой первой юности, и самый склад мозга; это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

> …Мечты, которой никогда
> Он не вверял заботам дружбы нежной…

т. е. мечты какого-нибудь личного счастья, он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоотвержению, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но может быть и при других обстоятельствах он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, это свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки, и, конечно, принадлежащая

к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас, как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину.

В августе мы поехали в Железноводск. Одоевский переселился туда же. Жизнь шла мирно в кругу так для меня близком.

Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я, мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся,

Долго следил я эфирную поступь…

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи»[128].

IX

Походная жизнь на первых порах, кажется, не очень тяготила Одоевского: он даже увлекся ее удалью.

«Каким знали мы его в тюрьме, – рассказывает А. Беляев, – таким точно и остался он до конца: всегда или серьезный, задумчивый, во что-то углубленный, или живой, веселый, хохочущий до исступления. Он имел порядочную дозу самолюбия, а как здесь он увидел во всем блеске удальство линейных казаков, их ловкость на коне, поднятие монет на всем скаку, то захотел непременно достигнуть того же, беспрестанно упражнялся и, конечно, не раз летал с лошади»[129].

На бивуаках жилось Одоевскому тоже и весело, и привольно, если верить Н. И. Лореру. «У Одоевского, – говорит он, – был собственный шатер, и он предложил мне поселиться с ним, на что я с удовольствием, конечно, согласился, любя его искренне и приобретая в нем приятного собеседника. Ко всем приятностям собеседничества у Одоевского присоединялся отличный повар, и мы с ним согласились дать обед. Для этой цели накупили у маркитанта всего необходимого вдоволь и составили пригласительный список. Приглашенных набралось до 20 человек, и в Иванов день, 24 июня, в трех соединенных палатках, с разнокалиберными приборами, занятыми у званых же, все мы собрались. Капитан Маслович был именинник, и мы пили радушно его здоровье и веселились на славу. После обеда Пушкина, знавшего наизусть все стихи своего брата и отлично читавшего вообще, мы заставили декламировать, и он прочел нам “Цыган”»[130].

Настроение духа Одоевского изменилось резко в июле месяце 1839 года, когда до него дошла весть о кончине его отца. «Мой милый друг, – писал он своему товарищу по несчастью М. А. Назимову, – я потерял моего отца: ты его знал. Я не знаю, как я был в состоянии перенести этот удар – кажется, последний; другой, какой бы ни был, слишком будет слаб, по сравнению. Все кончено для меня. Впрочем, я очень, очень спокоен. Мой добрый, мой нежный отец попросил перед кончиной мой портрет. Ему подали сделанный Волковым. “Нет, не тот”, – сказал он слабым голосом. Тот портрет, который ты подарил ему, он попросил положить ему на грудь, прижал его обеими руками и – умер. Портрет сошел с ним в могилу… Я покоен… – говорить – говорю, как и другие; но когда я один перед собою или пишу к друзьям, способным разделить мою горесть, то чувствую, что не принадлежу к этому миру»[131].

«Одоевский, получивший недели две тому назад горестное известие о кончине своего отца, – продолжает Лорер, – совершенно изменился и душевно, и физически. Не стало слышно его звонкого смеха; он грустил не на шутку, по целым дням не выходил из палатки и решительно отказался ехать с нами в Керчь. “Je reste ici comme victime expiatoire”, – были его последние слова на берегу. Чтобы отсрочить хоть несколько горестную минуту разлуки, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довезти нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся. “Ведь еще успеют перевезти твои вещи: едем вместе”, – уговаривал я его. “Нет, любезный друг, я остаюсь”. Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали фуражками и платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире?»[132].

Одоевский, действительно, смотрел на себя как на искупительную жертву и стал напрашиваться на опасность. Г. И. Филипсон имел случай наблюдать его в этом возбужденном состоянии.

«Я пошел навестить князя Одоевского, – рассказывает он, – который был прикомандирован к 4-ому батальону Тенгинского полка. Я нашел его в горе: он только что получил известие о смерти своего отца, которого горячо любил. Он говорил, что порвалась последняя связь его с жизнью; а когда узнал о готовящейся серьезной экспедиции, обрадовался и сказал решительно, что живой оттуда не воротится, что это перст Божий, указывающий ему развязку с постылой жизнью. Он был в таком положении, что утешать его или спорить с ним было бы безрассудно. Поэтому, пришед к себе, я тотчас изменил диспозицию: 4-й батальон Тенгинского полка оставил в лагере, а в словесном приказании поставил частным начальникам в обязанность, под строгою ответственностью, не допускать прикомандирования офицеров и нижних чинов из одной части в другую для участвования в предстоящем движении. Но и это не помогло. Вечером я узнал, что князь Одоевский упросил своего полкового командира перевести его задним числом в 3-й батальон, назначенный в дело. Я решился на последнее средство: пошел к Н. Н. Раевскому и просил его призвать к себе князя Одоевского и лично строго запретить ему на другой день участвовать в действии. Я рассказал ему причину моей просьбы и, казалось, встретил с его стороны участие. Призванный кн. Одоевский вошел в кибитку Раевского и, оставаясь у входа, сказал на его холодное приветствие солдатскую формулу: “Здравия

желаю Вашему Пр-ву”. Раевский сказал ему: “Вы желаете участвовать в завтрашнем движении: я вам это дозволяю”. Одоевский вышел, а я не верил ушам своим и не мог понять, насмешка ли это надо мною или следствие их прежних отношений? Наконец, такого тона на Кавказе не принимал ни один генерал с декабристами. Оказалось, что все это произошло просто от рассеянности Раевского, которому показалось, что я именно прошу его позволения Одоевскому участвовать в движении. Так, по крайней мере, он меня уверял. Я побежал к князю Одоевскому и объяснил ему ошибку. Вероятно, я говорил нехладнокровно. Это его тронуло; мы обнялись, и он дал мне слово беречь свою жизнь. Это глупое недоразумение нас еще более сблизило, и я с особенным удовольствием вспоминаю часы, проведенные в беседе с этой светлой, поэтической и крайне симпатичной личностью. Этих часов было немного»[133].

Желание Одоевского исполнилось скоро, но не совсем так, как он надеялся. Умер он не на поле брани, а пал случайной жертвой изнурительной горячки, которая свирепствовала на восточном берегу Черного моря, в Лазаревском форту, где Одоевский жил на позициях.

«Через месяц, когда мы были уже в Псезуапе́, – продолжает Филипсон, – я должен был ехать с Раевским на пароходе по линии и зашел к Одоевскому проститься. Я нашел его на кровати, в лихорадочном жару. В отряде было множество больных лихорадкой; жары стояли тропические. Одоевский приписывал свою болезнь тому, что накануне он начитался Шиллера в подлиннике на сквозном ветру чрез поднятые полы палатки»[134].

«5-го августа, – по словам Розена, – Одоевский был у всенощной в полковой церкви. Товарищ его Загорецкий встревожился, увидев лицо его необыкновенно раскрасневшимся, и считал это дурным признаком. На другой день, 6-го августа, Одоевский слег. В недостроенной казарме приготовили для него помещение в одной комнате: до этого пролежал он три дня в походной палатке, но не переставал быть веселым и разговорчивым и нисколько не сознавал опасности своего положения, читал импровизованные стихи на счет молодого неопытного лекаря. В день Успения, 15 августа, в 3 часа пополудни, прислуга отлучилась; Загорецкий остался один с больным, которому понадобилось присесть на кровать. Загорецкий помог ему, придерживая его; вдруг он, как сноп, свалился на подушку, так что, при всей своей силе, Загорецкий не мог удержать его; призвали лекаря и фельдшера; они решили, что больной скончался… Так отдал он Богу последний вздох беспредельной любви»[135].

«Когда я возвратился из своей поездки, – рассказывает Филипсон, – недели через две, Одоевского уже не было, и я нашел только его могилу с большим деревянным крестом, выкрашенным красной масляной краской. При последних его минутах был наш добрый Сальстет, которого покойный любил за его детскую доброту и искренность.

Но для Одоевского еще не все кончилось смертью. Через час после его кончины Сальстет увидел, что у него на лбу выступил пот крупными каплями, а тело было совсем теплое. Все бросились за лекарями; их прибежало шесть или семь, но все меры к оживлению оказались бесполезными: смерть не отдала своей жертвы. Много друзей проводило покойного в его последнее жилище. Отряд ушел, кончив укрепление, а зимой последнее было взято горцами. Когда в 1840 году мы снова заняли Псезуапé, я пошел навестить дорогую могилу. Она была разрыта горцами, и красный крест опрокинут в могилу. И костям бедного Одоевского не суждено было успокоиться в этой второй стране изгнания!»[136].

Правдивость этого рассказа подтверждена и Н. И. Лорером.

«Болезнь Одоевского, – пишет он, – не уступала всем стараниям медиков. Раевский с первого дня его болезни предложил товарищам больного перенести его в одну из комнат в новоустроенном форте, и добрые люди, на своих руках, это сделали. Ему два раза пускали кровь, но надежды к спасению не было. Весь отряд и даже солдаты приходили справляться о его положении; а когда он скончался, то все – штаб и обер-офицеры отряда пришли в полной форме отдать ему последний долг с почестями, и даже солдаты нарядились в мундиры. Говорят, что когда Одоевский лежал уже на столе, на лице его вдруг выступил пот… Все возымели еще луч надежды, но скоро и он отлетел! До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва Черного моря, одинокая могила с большим крестом; но и этот вещественный знак памяти недолго стоял над прахом того, кого все любили. Горцы сняли этот символ христианский»[137].

«Касательно могилы Одоевского, – пишет Розен, – есть разногласные мнения: одни уверяют, что весной 1840 года горцы овладели фортами, построенными на восточном черноморском берегу, где эпидемия значительно уменьшила личный состав гарнизона. Неприятель не только перерезал в фортах весь гарнизон, но и вырыл из земли мертвые тела и бросил их на съедение шакалам. Другое предание гласит, что между этими дикими горцами был начальником офицер, бывший прежде в русской службе и знавший лично Одоевского; он удержал

неистовых врагов, которые почтили могилу Одоевского, когда услышали, чей прах в ней покоится»[138].

X

Таковы сведения о жизни этого несчастного человека…

Все, с кем случай его сталкивал, остались под обаянием его личности, «красивой, кроткой, доброй и пылкой»[139]. «Кроме истории или повествования о великих событиях, – говорил один из его товарищей, всего ближе к нему стоявший, – есть история сердца, достигающая широких размеров в самой тесной темнице, а сердце Одоевского было обильнейшим источником чистейшей любви; оттого он всегда и везде сохранял дух бодрый, веселый и снисходительный к слабостям своих ближних»[140]. «Этот злополучный юноша скорее собою пожертвует другому, чем спасется гибелью невинного», – говорил про него другой приятель[141], и не нашлось ни одного человека, который сказал бы про него дурное слово, кроме его самого: «Я от природы беспечен, немного ветрен и ленив», – говорил он своим судьям; и, действительно, помимо этих прегрешений, едва ли кто мог бы указать на иные в его характере.

Был момент в его жизни, когда под тяжестью обрушившейся на него, как ему казалось, непоправимой беды он в полусознании бормотал бессвязные речи и в страхе был слишком откровенен – но кто решится осудить его за это? Надо простить этот невольный грех, тем более, что он произошел из одного лишь чистосердечия и сентиментальной доверчивости к начальству, в котором он видел прежде всего «людей», а потом уже «судей». Пусть был грех, но было и искупление. И в этом искуплении Одоевский проявил большую твердость духа…

Но лучшим оправданием его служит та теплота и нежность, какой он согревал всех, с кем делил чашу жизни. Он остался в памяти людей как поэтичный образ кроткого страдания, нежной дружбы и человеколюбия. Таким перешел он и в потомство, которое, как многие надеялись и хотели, должно было забыть его, но не забыло.

Еще при его жизни одна из его знакомых В. С. Миклашевич хотела спасти его образ от забвения и посвятила вымышленному описанию его жизни целый роман «Село Михайловское»[142]. Герой этого романа Александр Заринский – призванный спасать всех угнетенных – и есть наш скромный Александр Иванович. «Он был необыкновенно приятной наружности. Бел, нежен; выступающий на щеках его румянец, обнаруживая сильные чувства, часто нескромностью своей изменял его тайнам. Нос у него был довольно правильный; брови и ресницы почти черные; большие синие глаза, всегда несколько прищуренные, что

придавало им очаровательную прелесть; улыбка на розовых устах, открывая прекрасные белые зубы, выражала презрение ко всему низкому. Кто не умел понять его души, тот считал его гордецом и “философом”, считал его даже опасным человеком, умеющим наизусть цитировать Вольтера. Но Заринский был только масон, и никогда еще в истинном рыцаре не было столько христианского смирения, благочестия и доброты. Он был ангел-хранитель и защитник простого народа; он защищал его в деревнях от помещиков, в судах от судей, в кабинете губернатора от чиновников, и народ боготворил его. Конечно, в награду за свои добродетели он получил нежную любящую супругу и все блага тихой счастливой семейной жизни»[143].

Бедный Александр Иванович за свои добродетели награды в сей жизни не получил, и портрет его в этом романе, конечно, сильно идеализирован. Но надобно было иметь много доброты и тепла в своей душе, чтобы послужить оригиналом для столь рыцарски благородного портрета.

Лермонтов глубже проник в душу Одоевского, когда писал:

Он был рожден для них, для тех надежд
Поэзии и счастья… Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил – и Бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

Но он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие – без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый…

И было ль то привет стране родной,

Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно… Дела твои, и мненья,
И думы, – всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут: их ветер вновь уносит;
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…

И после них на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной…
Что за нужда! Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи…

К счастью, следы от дум Одоевского, вопреки его собственной воле, остались. Друзья не дали затеряться его стихотворениям, и в них сохранен для нас настоящий смысл его страдальческой жизни, – жизни в мечтах и в размышлениях. Это была жизнь очень интимная, ряд бесед с самим собою, в которых воспоминания отодвигали на задний план все надежды и упования, и раздумье брало верх над непосредственным ощущением действительности.

XI

Современники ценили высоко поэтический отголосок этой интимной жизни. Товарищи считали Одоевского способным «свершить поэтический труд на славу России»[144], они утверждали, что лира его «всегда была настроена, что он имел большое дарование и дар импровизации»[145]. Один из них говорил, что «Одоевский – великий поэт и что если бы явлены были свету его многие тысячи (?) стихов, то литература наша отвела бы ему место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и другими первоклассными поэтами»[146]. Конечно, все эти похвалы – преувеличение, но людей, готовых преувеличить его силы как поэта, было среди его современников много. В 1839 году графиня Ростопчина писала в одном частном письме В. Ф. Одоевскому: «Сюда на днях должен прибыть ваш двоюродный брат, и я горю нетерпением с ним познакомиться. В детстве моем семейство Ренкевичевых представляло мне его идеалом ума и души… Говорят, что он много написал в последние года и что дарование его обещает заменить Пушкина, и говорят это люди умные и дельные, могущие судить о поэзии»[147].

Но вернее, чем его поклонники, свои силы оценивал сам Александр Иванович.

В Чите в 1827 году он отозвался на смерть Веневитинова[148] таким глубоко прочувствованным стихотворением:

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились;
И Музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт!»
Но нет; едва лучи денницы
Моей коснулися зеницы, —
И свет во взорах потемнел:
Плод жизни свеян недоспелый!
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною не допетой,
Не дозвучит в земных струнах,
И я – в нетление одетый…
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь… И грубый камень,
Обычный кров немых могил,

На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

[«Умирающий художник»]

В Веневитинове Одоевский отпевал самого себя.

XII

Литературное наследство Одоевского неравного достоинства. Одоевский-лирик, поэт личных чувств и настроений, несравненно выше Одоевского-литератора, защитника и проводника известного литературного направления в нашей словесности.

А князь Одоевский, несмотря на свои юношеские годы, еще на свободе успел себя приписать к определенному литературному лагерю, успел даже тиснуть две статейки, в которых попробовал свои силы как критик и журнальный наездник[149]. Он выступал в них, как все его поколение, поборником «романтической» поэзии и тесно связанной с ней «народности». Как большинство его соратников в этом деле, он едва ли мог теоретически вывести формулу пресловутого «романтизма», не запутавшись в противоречиях; да он, впрочем, и не пытался выводить ее, а просто заявлял при случае о своем недовольстве приемами старого классического искусства и тем несоответствием этого искусства с «природой», какое он подмечал в старых образцах. В своей критической статейке «О трагедии Ротру “Венцеслав”» он, после многих колкостей по адресу старины, призывал наших поэтов не бояться нововведений, «когда таковые, не касаясь законов природы и искусства, клонятся к избавлению от излишних уз».

При такой любви к новизне в искусстве Одоевский имел, однако, большое пристрастие к старине народной. Он был патриот в искусстве и хотел, чтобы народный сюжет и по возможности народная форма проникли в нашу поэзию.

Эта любовь к самобытной русской литературе заставила его еще в самые юные годы заняться изучением нашей словесности со времен самых древних.

Ролью историка литературы Одоевский, однако, не ограничился: ему хотелось иллюстрировать свои исторические знания собственными поэтическими произведениями с более или менее широким общим замыслом.

До нас дошли две таких попытки, за которыми остается известное историко-литературное значение, хотя их художественная стоимость более чем скромная. Упомянуть о них, однако, необходимо, чтобы указать на внешнюю связь поэзии Одоевского с господствующим в те времена стремлением к «народности» и «романтизму».

Насколько в своих лирических стихотворениях наш поэт самобытен и оригинален, настолько в этих опытах в «романтическом» и «народном» стиле он раб установившегося

литературного шаблона. Таким является он, например, в своей неоконченной романтической поэме «Чалма», которая – не что иное, как вариация на старую тему борьбы свободного, страстного и наивного женского сердца с утонченно цивилизованным эгоизмом сердца мужского. Эту тему еще в двадцатых годах разрабатывал Пушкин, ее повторял затем Марлинский. Под пером Лермонтова она, как известно, была исчерпана, дополнена богатыми мотивами с резкой социальной и этической тенденцией и стала очень удобным предлогом для обличения различных извращений и недочетов нашей культуры. Одоевскому такое обличение было совсем несвойственно, и поэзии его не хватало страстности, чтобы удачно овладеть хотя бы только самой романической завязкой этой темы, как, например, овладел ею Пушкин в своем «Кавказском пленнике». «Чалма» вышла каким-то недоноском: вместо настоящего пыла страсти получилось лишь нагромождение довольно откровенных картин и не совсем скромных образов; вместо яркого восточного колорита присутствовала лишь мозаика из некоторых общеупотребительных восточных слов, и, наконец, рассказ начинался в таком тоне, что трудно было понять, чем он должен кончиться – драмой или комедией. Первый опыт в романтическом стиле оказался промахом; Одоевский понял это и от дальнейшей работы над поэмой отказался.

Несравненно более удачна оказалась другая попытка Одоевского выйти из сферы стихотворений чисто личного характера: длинная, в четырех песнях, историческая поэма об ослеплении князя Василька[150]. Одоевский работал над ней, кажется, около трех лет (1827–1839). Труд был не из малых – как может подтвердить любой лирик, которого обязали бы написать на одну тему 150 строф по 8 строк каждая. Одоевский предпринял этот подвиг умышленно, в интересах словесности «народной и самобытной».

Опыт этот показал прежде всего, что еще до ссылки поэт успел запастись весьма солидными историческими и археологическими сведениями. Их хватило не на какую-нибудь балладу или песню, а на целую бытовую картину далеких туманных времен.

Таких поэм, как «Василько», писалось в те времена немало. Они были весьма популярны как первые попытки использовать народный сюжет для литературных и, главным образом, патриотических целей и притом использовать его на новый лад, в стиле западноевропейского романтизма. Читая поэму Одоевского, можно, действительно, подумать, что она – переложение на русские нравы какой-нибудь рифмованной повести Вальтера

Скотта. Даже «чудесное», которое Одоевский особенно тщательно старался выдержать в русском стиле, смахивает на простое подражание столь распространенному тогда на Западе фантастико-мистическому символизму.

Содержание поэмы умышленно запутанное. Краткий летописный рассказ об ослеплении Василька давал мало пищи для вдохновения. Автору пришлось разбавлять рассказ собственным вымыслом. Этот вымысел мало оригинален: автор либо повторяет общеевропейские мотивы романтики, рисует соответствующие мрачным деяниям мрачные ночные пейзажи, описывает таинственные появления и исчезновения действующих лиц, рассказывает о тайных собраниях и свиданиях, изображает ужас темниц и подземелий и т. д., либо он повторяет опять-таки условные, в изобилии тогда встречавшиеся, но уже русские, народные мотивы: описывает какую-нибудь отеческую беседу князя с народом, в которой князь обнаруживает всю свою патриархальную душевную благость, а народ – свойственную ему покорность и сметливость; рассказывает о княгине, которая льет горючие слезы и полна страха ввиду зловещего сна или гадания; описывает красоты престольного Киева-града, съезд князей и обед, который по сему случаю был предложен и боярам, и нищим; рассказывает, как на этот княжий пир является неизбежный Баян – совсем как трубадур или менестрель в рыцарский замок.

Поет этот Баян хвалу киевскому князю Святополку за его гостеприимство, но примешивает к своей хвале зловещее пророчество об ослеплении Василька и, пользуясь правом, которое ему на сей случай пожелал дать Одоевский, говорит с укоризной пирующим князьям о слезах родного «убогого» народа:

Видел я мира сильных князей,
Видел царей пированья;
Но на пиру, но в сонме гостей
Братий Христовых не видел.
Слезы убогих искрами бьют
В чашах шипучего меда.
Гости смеются, весело пьют
Слезы родного народа.

Слава тебе! Ты любишь народ,
Чествуешь бедных и старцев.
Слава из рода в будущий род,
Солнышку нашему слава!
Ты с Мономахом Русь умирил
Кроткой, могучей десницей;

Тучи развея, ты озарил
Русское небо денницей.

Слава князьям! Но в стае орлов
Слышите, грает и ворон.
Он напитался туком гробов;
Лоснятся перья от крови:
Очи – красу молодого чела —
Очи, подобны деннице,
Он расклевал – и кровью орла
Рдеется в орлей станице.

Баяна сменяет опять традиционное лицо злодея, который вступает в союз с темными силами, чтобы погубить свою несчастную жертву. Вокруг Василька сплетается целая адская интрига, впрочем, не вполне нам ясная, так как третья часть поэмы утрачена. В последней части описывается, и притом весьма реально, вся омерзительная сцена ослепления.

Нетрудно догадаться, что именно заставило Одоевского остановиться на этой совсем не благодарной теме. Для него в ней крылся символический смысл. Несчастный князь Василько, низвергнутый нежданно с высоты своего положения в такую пучину несчастия и смирившийся духом, был историческим призраком, в который Одоевский облек свое собственное настроение – преклонение перед высшей волей, которой он сам свою несчастную судьбу доверил.

Религиозная тенденция поэмы, действительно, просматривается очень ясно. Автор, вопреки истории, перенес умышленно в эпоху, когда жил Василько, ту резкую борьбу христианства и язычества, которая отмечала собой первые годы христианского просвещения России. Все чудесное и фантастическое в поэме пригнано к этому мотиву борьбы двух религиозных начал. Как в исторических романах из жизни императорского Рима, – перед нами два русских Киева, один – надземный, христианский, другой – языческий, подземный, и этот подземный, пожалуй, красивее правоверного. Одоевский с особой тщательностью украшал его разными фантастическими и археологическими подробностями, желая быть по возможности «самобытным». Чтобы дать образец этой «самобытности», конечно, поддельной, приведем несколько строф из той славянской «Вальпургиевой ночи», которую поэт вклеил в свою поэму. Она, несмотря на всю фальшь, – самый образный и поэтический эпизод его рассказа.

Автор рассказывает, как князь Давид, главный виновник погубления Василька, идет совещаться с подземными силами в пещеру около Киева, где по ночам совершаются жертвоприношения уже давно поверженному Перуну. Рассказ длинный, с подробным описанием пещеры и привидений, которые ограждают к ней доступ, с описанием какой-то страшной девы, с мечом и светочем в руке, не то прорицательницы, не то фурии, – одним словом, с богатым инвентарем романтических ужасов. Упоминаются, конечно, и все истинные и мнимые божества русской мифологии – Перун, Стрибог, Велес, Купала, Коляда, Ладо и Дажбог. В присутствии всех этих зловещих призраков разыгрывается сцена заклинания и проклятия христианского Киева. И вот какие мелодичные стихи попадаются в этой сцене:

Хор жрецов.

Грудных младенцев, непричастных
Греху отцов,
Несите, ведьмы и русалки,
Пред лик богов!
Мы на костре сожжем начатки
От их волос,
Чтоб сын славян богам славянским
Во славу рос.

Три ведьмы.

Мы змеею зашипели
И как вихорь понеслись;
С визгом в теремы влетели
И детей из колыбели
Мы схватили и взвились.

Все ведьмы.

Цепки у ведьмы медвежие лапы,
Лёгок наш конь-помело,
Свищем и скачем, пока на востоке

Не рассвело.

Русалки.

Неслышной стопою
Касаясь земли,
Мы руку с рукою,
Как ветви, сплели.
Мы песнь напевали
И в лунных лучах,
Как тени, мелькали
На Лысых горах.
Мы дев заманили
На песенный глас,
Вкруг липы водили,
И с каждой из нас,
Смеясь, целовались
Они сквозь венок
И с нами сплетались
В русальный кружок.
Вот сходим. Как птицы,
Поем и летим,
Со смехом в светлицы
Порхнем к молодым;
То шепотом сладко
Над люлькой поем,
Поем и украдкой
Дитя унесем…

Всем этим бесовским призракам Одоевский готовил в конце своей поэмы полное посрамление. Свершить злое дело им удалось, но все их чары были бессильны пред духом праведника. Ослепленный Василько утратил способность зреть внешний свет; но тем ярче продолжал ему светить свет внутренний.

И нигде религиозная идея всей поэмы не выражена так ясно, как в заключительных словах, которыми священник поясняет всем присутствующим значение совершившегося пред их лицом преступления:

Пред Спасом не виновен Василько,
И пред людьми страдалец не виновен:
Пройдут князья, пройдет и суд князей;

Но истина на небе и в потомстве,
Как солнце просияет!

С известным правом эти слова можно отнести и к самому автору.

И для него, которому перестала светить «денница жизни», которому «целый мир стал темницей», – и ему продолжал светить тот внутренний свет, в котором и заключался весь смысл и все движение его земной жизни.

Какой облик приняла духовная сторона этой жизни под лучами такого света – нам покажут сейчас стихотворения, писанные им для себя, в свое утешение и свою защиту, а не для обороны чего-либо постороннего, хотя бы и столь дорогого писателю, как «самобытная» литература его родины.

XIII

В одном стихотворении, посвященном памяти отлетевших от него милых образов, Одоевский очень картинно и верно назвал всю свою духовную жизнь «воспоминанием о красоте мира сквозь сон». Действительно, он жил только воспоминаниями, и в них ему всегда светила красота недоступного для него мира. Жизнь успела подарить Одоевскому только первую свою улыбку – именно в те ранние годы, когда человек смотрит на такую улыбку как на залог грядущего долгого счастья, как на намек возможного в мире блаженства; и наш поэт, в силу особых условий его блестящей и счастливой юности, мог быть легче, чем кто-нибудь, прельщен таким ранним приветом жизни. Когда он готовился проверить ее обещания, когда он ей задал первый серьезный вопрос и поставил первое свое требование, – он в один день и навсегда потерял сразу все, что люди теряют постепенно и к чему они, ввиду такой медленной утраты, становятся мало-помалу равнодушны. Одоевский очутился в совсем особом положении; он не знал медленного угасания надежд, не испытал, как одна за одной гаснут путеводные звезды, его сразу окутала тьма, и он продолжал любить, безумно любить жизнь, создавая в мечтах ее пленительный образ по тем мимолетным воспоминаниям, которые сохранил о ней.

При всем печальном колорите его стихотворений – печальном потому, что правдивом, – в его стихах нет и тени пессимизма. Как бы он ни скорбел о себе – он был далек от всякой скорби о жизни; он приветствовал ее где только мог, и каждый, самый мимолетный веселый луч ее, случайно падавший в его темницу, он встречал с благодарностью и радостью.

Эта веселая благодарность была приветом той жизни, которая с ее светом и движением, как неизвестный заповедный рай, начиналась за оградой его собственного существования.

Мир мечты не мог быть для Одоевского тем, чем он был для многих других, которые, идя свободно своей дорогой, пресытясь обманами жизни, говорили, что все, кроме мечты, – суета и разочарование, что красота и блаженство не в сближении с миром, а в отдалении от него, что счастье – в мечтах, а не на земле. Для Одоевского такое утешение в мечтах существовало лишь наполовину. Его мечта была лишь «воспоминанием о красоте *жизни*», которая не обманула его, не надоела ему, а наоборот, прельщала его издали.

Мечта, поэтическое творчество и тот веселый «мир», красоту которого он силился припомнить, слились в его представлении в

одно неразрывное целое. Одоевский верил, что если все материальные его связи с этим миром порваны, то все-таки в его мечте осталась одна связь, неуловимо тонкая, но вместе с тем самая крепкая, которая пока цела и не даст ему погибнуть в одиночестве. Провожая последний «лучезарный хоровод блеснувших надежд», он молил эту воздушную деву-мечту запоздать своим отлетом; ее одну, «неотлетного друга», просил он побыть с ним, в залог того, что всякая мечта не есть случайное видение, что в ней дано общение с другими людьми, что она может присниться и другому и на ту же высоту вознести думы ближнего:

Промелькнул за годом год,
И за цепью дней минувших
Улетел надежд блеснувших
Лучезарный хоровод.
Лишь одна из дев воздушных
Запоздала. Сладкий взор,
Легкий шепот уст радушных,
Твой небесный разговор
Внятны мне. Тебе охотно
Я вверяюсь всей душой…
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
Все исчезли. Ты одна
Наяву, во время сна,
Навеваешь утешенье.
Ты в залог осталась мне,
Заверяя, что оне
Не случайное виденье,
Что приснятся и другим
И зажгут лучом своим
Дум высоких вдохновенье!

[«Последняя надежда. Е. А. Баратынскому», 1829]

Мечта, не как убежище для скорбящего и оскорбленного духа, а как живая связь с другими, – вот какой являлась Одоевскому эта богиня-фантазия, с которой большинство его современников любили встречаться не иначе, как вдвоем, в тишине, в уединении, вдали от людей и, по возможности, о них не думая.

«Как я давно поэзию оставил!» – говорил однажды Одоевский —

Я так ее любил! Я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,
Его красу и стройность вечных дел,
Господних дел, грядущих к высшей цели
На небе, где мне звезды не яснели,
И на земле, где в узах я коснел,
Я тихо пел пути живого Бога,
И всей душой Его благодарил,
Как ни темна была моя дорога,
Как ни терял я свежесть юных сил…
В поэзии, – в глаголах провиденья,
Всепреданный искал я утешенья —
Живой воды источник я нашел!..
О друг, со мной в печалях неразлучный,
Поэзия! Слети и мне повей
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей —
Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, целит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел-утешитель!

[«Поэзия», 1837–1839]

И за что же поэт так превозносил эту гостью? Не за то, что она ему давала забвение и под своим узорным покровом стремилась скрыть от него все мрачные стороны бытия, не за то, что она убаюкивала его мысль и смиряла тревогу сердца, – наоборот, лишь за то, что – высшее проявление жизни – она учила его любить эту жизнь и в конечном мире чуять бесконечность духа. Она была – Божьим глаголом, вдыхающим жизнь и вечность в Божий свет, и отнюдь не призывом к забвению того, что на этом свете творится:

Поэт
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,
Как сам Господь вдохнул в свой Божий свет —
В конечный мир всю духа бесконечность.

[«Поэзия», 1837–1839]

Чем же был мил Одоевскому этот Божий свет и о какой его красоте мог наш двадцатилетний узник вспомнить? Так мало было прожито, что само слово «воспоминание» звучит как-то странно; можно было бы подумать, что оно по ошибке поставлено вместо слова «надежда», если бы мы не знали, что для себя лично Одоевский навсегда от всяких надежд отказался.

Но он действительно любил мир, и любил его не эгоистично, не для себя, и знал, за что любил.

Его ровное и ясное миросозерцание опиралось и на общие размышления о красоте и цене жизни, и на память о тех ранних впечатлениях бытия, в которых для него было столько намеков на возможное в мире блаженство.

XIV

Первое, что в глазах Одоевского придавало миру его высокую цену и что одевало его в особую красоту, было Божие присутствие в нем, религиозный смысл всего бытия. Одоевский, как большинство людей его времени, был искренне верующим человеком, и притом христианином. Для него тайна Искупления и тайна Воскресения были двумя актами непосредственного Божьего вмешательства в дела мира, – два дара, в которых залог не только возможности спастись за гробом, но и залог того, что и здесь, на земле, часть обетованного блаженства станет истиной.

Воскресение не для неба, а для земли – вот один из лучей веры, который вспыхнул ярко в душе поэта в первые же дни его несчастья. В каземате Петропавловской крепости в пасхальную ночь 1826 года он писал:

Я, на коленях стоя, пел;
С любовью к небесам свободный взор летел…
И серафимов тьмы внезапно запылали
В надзвездной вышине;
Их песни слышалися мне.
С их гласом все миры гармонию сливали.
Средь горних сил воскресший Бог стоял,
И день, блестящий день, сиял
Над сумраками ночи;
Стоял Он радостный средь волн небесных сил
И полные любви божественные очи
На мир спасенный низводил.
И славу Вышняго, и на земле спасенье
Я тихим гласом воспевал
И мой, мой также глас к Воскресшему взлетал:
Из гроба пел я воскресенье.

[«Полночь», 1826]

Когда в другом стихотворении («Река Усьма») поэт говорил, что «цель всей жизни нашей – отрадный Спасов Крест» – он всегда разумел торжество этого Креста здесь, среди нас, и никогда не отчаивался в своей заветной мысли о «спасении на земле» и о воскресении из гроба не для бессмертия, а для жизни.

В Господе предел

Путей земных и всех благих деяний, —

говорил он, и весь земной путь, проходимый человечеством, был в его глазах таким благим путем к благой цели. Он как сын своего поколения, воспитанный в эпоху религиозно-сентиментального просветления духа, – верил в прогресс и в торжество «гуманизма». Сквозь туман веков ему было видимо это торжество, как видимы были и все трудности и опасности земной дороги.

Человек все-таки смертный пришлец великого бессмертного мира, думал поэт. Не все в этом мире создано для него и не все создание его рук.

Высится пышный дворец, горит он блеском алмазов, белеет под ним снежный фундамент и мрачный лес лежит у его ног. Это – Глетчер. Дивным резцом изваяны его стены, блестит и горит он своим убранством. Вокруг него стоят алтари из снега и, чистые, лежат на них приношения. Кто ваятель этого дворца и кто его житель? Ваятель – Век, отрасль вечности – мысль Творца, а житель его – царь роковой смерти. Человеку нет в этом дворце места. Сюда не взойдет он; для него, если уж он решился подняться на высоту – есть иное жилище. Там, под стенами дворца, стелется темный лес, необозримый для слабого человеческого зрения; частый, густой и дикий лес. В нем, если захочет, пусть живет человек и с высоты смотрит долу. Сирый жилец мира фантазии, пусть он тихо смотрит по сторонам и поддерживает пылкий дух своих мечтаний. Несчастный! в мире повсюду он зрит суету, зрит нищету чистых стремлений… Взглянет он ввысь – перед ним недоступная холодная вершина, посмотрит он долу – под ним сельская жизнь в своей вековой неподвижности (стихотворение «Глетчер», 1838).

В таких символических образах рисовалась Одоевскому земная жизнь человека, поставленного среди не им созданной и непобедимой природы, безразличной и холодной во всей ее божественной красоте. Выйти из инертной сельской жизни, из первобытного своего состояния – человек должен. Пылкий дух заставляет его идти вперед, влечет его на высоту, и мирная жизнь сменяется для него блужданием в непроглядном лесу, у подножия таинственного храма природы, созданной вечностью и творческой мыслью Бога. Состязаться с Богом в таком творчестве он – смертный пришелец – не может, но он не может также и остаться в долине: она тесна для него и таинственная высь его манит.

Необуздан бывает человек в своих стремлениях, мыслях и чувствах. Велик и ничтожен он в своих порывах. Он – как лавина.

Рванулась она и катится по склону крутогора… трепетному взору она кажется орудием неба; гром ее гремит по полянам. Для нее нет препятствий. Утес дрожит под ее ударом, и лес ложится на землю. Жестока бывает она в своем страшном, свирепом боренье: гибнут стада, гибнут люди. Все поглощает она и стремглав несется к озеру. И вот, когда она, полная ярости, в вихре снега и пара, мнит, что уничтожит и это препятствие… она сама гибнет. На нее падает луч солнца, и грозный шар, тая, обращается в воду («Лавина»).

Опять ряд символов: велик и грозен бывает человек, когда дает простор своей силе, – хочет сказать поэт. Все, что становится поперек дороги этой силе, может погибнуть, и страшная жестокость сопровождает иногда ее проявление. Но есть и для этой разрушительной силы нежданная могила и – что важнее – есть в мире солнце, есть свет духа, который обращает грубую и опасную снеговую глыбу в мирные и ясные воды.

Много в жизни человеческой и загадочно-страшного и жестоко-несправедливого, но как бы ни был труден путь земной, он все-таки есть движение от худшего к лучшему.

Этот непостижимый путь волнует нас своей мучительной тайной. Как скудно наслаждение сердца в этой жизни, как смешаны на этом похоронном пире скорбь с радостью! Иногда все кажется тенью, и весь мир как бы обширная гробница —

Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья;
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремя,
Как дар, без цели, донесут
И сбросят путники земные…
Без цели! Кто мне даст ответ?
Но в нас порывы есть святые,
И чувства жар, и мыслей свет,
Высоких мыслей достоянье!
В лазурь небес восходит зданье:
Оно незримо, каждый день
Трудами возрастает века;
И со ступени на ступень
Века возводят человека.

[«Элегия», 1830]

И возведут они его, наконец, на ту высоту, с которой он, в сознании своей нравственной победы, сможет спокойно обозреть пройденный им страдальческий путь разочарований, ошибок и преступлений.

За этот-то глубокий смысл, вложенный самим Богом в жизнь человека, смысл, освященный тайной Искупления и символически выраженный в тайне Воскресения, Одоевский любил жизнь.

Итак, он любил ее прежде всего за ее духовную красоту, за то, что она была ареной для нравственных подвигов человечества, ареной торжества, обещанного человеку и дарованного ему Богом.

XV

Кроме этой духовной красоты поэт любил в мире и его красоту внешнюю. Это была его вторая любовь – живая и сильная в его поэтической душе. Много великолепных поэтических образов, взятых из жизни природы, рассыпал Одоевский в своих случайных стихотворениях. Он не мог пройти мимо этой внешней красоты, не почувствовав прилива любви к творенью и наплыва религиозных чувств.

Поэзия – не Божий ли глагол,
И пеньем птиц, и бурями воспетый?
То в радугу, то в молнию одетый,
И в цвет полей, и в звездный хоровод,
В порывы туч, и в глубь бездонных вод.
Единый ввек и вечно разнозвучный?

[«Поэзия», 1837–1839]

– спрашивал он.

Свою песню он нередко делал отзвуком этой таинственной речи Создателя, но всегда в его описаниях и сравнениях зерном мысли и родником чувства оставался человек – созерцатель и сожитель этой немой величаво-красивой природы.

Не затем, чтобы забыть о людях, присматривался и прислушивался Одоевский к природе, а лишь затем, чтобы найти соответствие между ней и человеком. Мы встречали уже несколько таких описаний в его символических картинах природы, мы встретим их много и в его чисто лирических стихотворениях. Всегда в его пейзажах заключен скрытый или явный намек на какое-нибудь чисто человеческое чувство. Рисует ли поэт зеленое море родных полей, рощ и холмов и пышную сень лесов, вдоль которых бежит простая русская речка, «одетая, как невеста, в небесную лазурь» («Река Усьма», 1837) – мы чувствуем, что эта картинка набросана изгнанником в первую минуту свидания с отчизной, – так много в ней игривой радости, так эта речка бросается в объятия к склоненному над ней влюбленному лесу, так она шалит и радуется, как ребенок, так, резвясь, она разгульными струями бежит вдоль рощ и полей…

Рисует ли Одоевский дикий горный пейзаж, изображает ли он «великанов в ледяных шлемах, за плечами которых гремят колчаны, полные молний, туманы, которые, как пояс, облегают их

стан, сорвавшуюся вблизи них шумную лавину», – он приурочивает эти грозные и мрачные картины к прославлению какого-нибудь великого акта человеческой воли, как, например, к переходу через Альпы Наполеона, вслед за которым, по тому же пути, пройдет и сын той страны, где «в полночной мгле, среди снегов высится на своем пьедестале конь и его медный всадник» («Сен-Бернар», 1831).

Как часто Одоевский пояснял красоту человеческих помыслов, чувств и деяний такими картинами, в которых изображалась красота столь им любимой природы. И сам он на фоне этой вечной красоты, сначала в снегах Сибири, а затем в горах Кавказа, был каким-то поэтическим видением.

Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

говорил, прощаясь с ним, Лермонтов,

И мрачных гор зубчатые хребты…
И, вкруг твоей могилы неизвестной
Всё, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

После Бога, о котором Лермонтов вспоминал редко, и после людей, о которых он вспоминал в большинстве случаев недружелюбно, ему оставалось говорить только о природе, если он действительно хотел упомянуть о том, чем этот мир был дорог его другу.

XVI

У Одоевского была, впрочем, и еще одна привязанность, чисто земная. Он был большим патриотом. Размышления о судьбах России заставляли чаще биться его сердце. Он верил в великое призвание своей отчизны и мечтал о ее всеславянской миссии, и, как некоторые из его современников, он упреждал в данном случае славянофилов.

Патриотические думы Одоевского дошли до нас, конечно, весьма отрывочно. В своих стихах он говорил о родине часто, говорил возвышенно и хвалебно, – и в большинстве случаев без тени критического отношения к ее настоящему.

Но такое критическое отношение не умирало в его душе. Как бы молод Одоевский ни был и сколь бы ни были шаткими его политические взгляды, в основе своей его патриотизм отнюдь не отличался ни самодовольством, ни миролюбием.

Несмотря на то покаянное настроение, которое охватило поэта в тюрьме и выразилось, как мы помним, в полном отречении от всяких «заблуждений», Одоевский и в каземате ощущал иногда прилив боевого пыла и писал:

Таится звук в безмолвной лире,
Как искра в темных облаках;
И песнь, незнаемую в мире,
Я вылью в огненных словах.
В темнице есть певец народный;
Но – не поет для суеты:
Скрывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы;
Но, похвалой не обольщенный,
Не ищет раннего венца. —
Почтите сон его священный,
Как пред борьбою сон борца.

[«Сон поэта», 1826]

Поэт ценил, мы видим, свою песнь как песню «народную», и она была ему нужна для «борьбы», от которой он, по-видимому, не думал отказываться, – по крайней мере в рифмованных мечтах, которые никто не мог подслушать.

Мысли о родине сохранили свой боевой характер и во второй год испытания. На приветственные стихи Пушкина —

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
……..
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут —

Одоевский откликнулся известным стихотворением «А. С. Пушкину в ответ на его послание “В Сибирь”»:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над…

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на… —
И радостно вздохнут народы[151].

[1827]

К числу боевых нужно отнести и стихотворение «При известии о польской революции», если только оно принадлежит Одоевскому.

Оно было написано в 1831 году под свежим впечатлением июльского переворота. «Можно сказать наверное, – рассказывает Д. Завалишин, – что мрачное состояние духа имело бы очень вредное влияние на многих и дурные последствия при вступлении в такую мрачную жизнь, какова была в Петровском

каземате сначала, если бы тут не подоспело кстати известие о французской революции, возбудившее надежды в другом отношении и увлекшее снова все мысли и желания в политическую и умственную сферу, чем и отвлекло нас от мрачного настоящего положения и не позволяло вполне предаваться ощущению тягости его. Полученные газеты изменили разом общее настроение. Все оживилось интересом самих известий, независимо даже от неосновательных надежд, возбужденных у многих событиями в Европе. Все занялись чтением, пошли разговоры, суждения; даже на самого коменданта явно подействовали нежданные известия. Он впал в раздумье, что и отразилось на смягчении многих бесполезных строгостей»[152].

Возможно, что известие о французской революции поэтически отозвалось в сердце Одоевского, но полонофильские строки стихотворения «При известии…» позволяют усомниться в том, что оно принадлежит его перу, поскольку он, при всем своем либерализме, был большим патриотом[153].

Этими стихотворениями исчерпываются все политические мотивы в поэзии Одоевского. Воинствующий либерализм исчезает вместе с годами его молодости, уступая место уравновешенному и созерцательному взгляду на жизнь, смягчающему всякую резкость чувства.

Ни от одного из тех гуманных убеждений, за которые пришлось пострадать, Одоевский не отрекся, и только о способе проведения этих убеждений в жизнь он теперь хранил молчание. Оставляя за собой право критически относиться к некоторым сторонам русской жизни и, вероятно, критикуя их в частных беседах, поэт в своих стихах говорил лишь о тех явлениях русской действительности, которые не вызывали в нем иного чувства, кроме радости, и иных пожеланий, кроме самых восторженных.

Вот почему в его стихах так часто превозносится внешний блеск русской державы и ее международное призвание. Одоевский в данном случае не составлял исключения, так как в начале царствования императора Николая I патриотическая восторженная речь о могуществе России была обычным явлением в устах даже очень умных и осторожных людей.

Военная слава России нашла себе в Одоевском певца очень искреннего, а под конец его жизни, когда он солдатом служил на Кавказе, и одного из своих терпеливых и выносливых слуг, умеющих умирать безгласно.

Оригинальной красотой и силой патриотические стихотворения Одоевского, однако, не блещут.

Подвиги старых князей киевских и новгородских, восхваление князей-собирателей земли русской, подвиг Ермака,

гражданская доблесть Минина и Пожарского, затем Великий Петр и его победы, затем Суворов, пылающая Москва и нашествие галлов, наконец, победы нашего оружия на Востоке, «брак русского царства с Грузией» – все эти кровавые страницы родной истории приходили часто на память нашему мирному поэту, и так же часто поэзия и вымысел заступали в его речах место исторической правды. Иногда, впрочем, он позволял себе помечтать и о грядущем, и тогда его стихотворение выходило столь типично славянским, что под ним охотно подписался бы любой из членов кружка Хомякова. Таково, например, его стихотворение «Славянские девы».

В образе дев рисуется Одоевскому вся великая славянская семья. Быстры и нежны напевы дев ляшских, просты и дики песни дев сербских; дышат любовью и славой песни чешских дев – отчего же все эти девы не поют согласно святые песни минувших времен и не сольют всех своих голосов в единый голос? И отчего так грустны песни старшей дочери в славянском семействе, почему она проводит свои дни как ночи, в тереме, почему заплаканы ее очи? «Отчего ты не выйдешь в чистое поле, – спрашивает поэт старшую сестру, – отчего не разгуляешь своей грусти? Спеши в поле навстречу меньшим сестрам, веди за собой их хоровод и, дружно сплетя свои руки с их руками, запой песню свободы!»

Боже! Когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один!
Да потечет сей поток-исполин,
Ясный, как небо, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой.

[«Славянские девы»]

В стихах, в которых Одоевский говорил о России, ему приходилось неоднократно вспоминать о том лице, против которого он некогда поднял оружие. За исключением ранних стихов, на которые уже указано, Одоевский во всех своих словах о царе выдерживал тон восторженного почтения. Этот тон не был ему насильно навязан обстоятельствами, так как никто не заставлял его говорить об императоре, и если бы он питал к нему прежние враждебные чувства – он мог молчать. Нельзя видеть в этих словах также и умышленной лести, – в словах, которые были сказаны в тесном кругу, написаны для себя и не посланы по адресу.

Впрочем, одно стихотворение Одоевского было написано с прямым умыслом и надеждой на то, что оно дойдет по адресу. Это – известное стихотворение «Послание к отцу» (1836)[154].

Одни укоряли Одоевского за это стихотворение[155], другие извиняли его тем, что поэту все дозволяется: и кадить, и льстить, и проклинать, и благословлять – лишь бы он делал это отборными музыкальными стихами. Сам же поэт смотрел на эти стихи как на единственную пилу, которой он мог перепилить железную решетку своей темницы и выйти на волю[156]. Дело в том, что это послание кончалось таким обращением к императору:

> Займется ли заря,
> Молю я солнышко-царя,
> И вот к нему мое моленье:
> Меня, о солнце, воскреси
> И дай мне на святой Руси
> Побыть, вздохнуть одно мгновенье!
> Взнеси опять мой бедный чёлн,
> Игралище безумных волн,
> На океан твоей державы,
> С небес мне кроткий луч пролей
> И грешной юности моей
> Не помяни ты в царстве славы!

– и ходили слухи, что император, растроганный стихотворением, услышал просьбу Одоевского и разрешил ему перевод из Сибири на Кавказ[157].

Если этот слух верен, то все-таки не должно забывать, что у Одоевского были и другие стихотворения, в которых он говорил о царе в тех же выражениях и которые шефу жандармов не передавались. Заподозрить эти стихи в льстивой тенденции нет основания, да и написаны они к тому же с большой искренностью.

Остается предположить – и в этом не будет никакой натяжки – что у Одоевского, как и у многих других его товарищей, очень скоро после катастрофы исчезло неприязненное чувство к тому лицу, которое их так жестоко покарало. И это понятно. Они были врагами не какого-либо лица, а известной системы, известного государственного порядка. Этот порядок не мог в их представлении соединяться с личностью молодого императора Николая Павловича, которого они мало знали; они были свидетелями только единственного и притом самого тревожного дня его царствования; государственная тенденция этого нового

царствования определилась позднее, в те годы, когда декабристы не имели уже возможности пристально следить за ее развитием. Таким образом, они могли на первых порах лишь с известной натяжкой перенести свою нелюбовь к императору Александру на его брата. Кроме того, при их религиозно-сентиментальном мировоззрении и при их житейской неопытности они могли питать надежду на то, что новое царствование не пожелает повторить или усугубить ошибок прошлого. Наконец, нельзя забывать и того, что известным залогом этой надежды служили те частичные льготы, которыми правительство изредка смягчало непомерно тяжелые условия их жизни.

В 1837 году наследник Александр Николаевич совершил свое путешествие по Сибири. Для Одоевского это событие было поводом к созданию целого ряда патриотических стихотворений («На проезд Наследника Престола» и четыре стихотворения «На приезд в Сибирь Наследника Цесаревича»). Одоевский приветствовал наследника от имени забытой и в опале находящейся Сибири. Если в своих обращениях к императору поэт держался патетически возвышенного тона, то в приветствиях его сыну он этот тон еще более повысил. Его стихи были торжественным гимном в честь гостя, которого Сибирь встречала как исполнителя своих заветных мечтаний о том, чтобы «пришел, наконец, владыко и извел для великого света всех сидящих в узах темноты».

Когда Одоевский писал эти строфы, предчувствовал ли он, какое в них заключалось пророчество? Угадывал ли он, что с именем юноши, приезд которого он благословлял, будет связана память о падении тех «уз темноты», за борьбу против которых погибал он и его товарищи?

Во всяком случае, поэт был преисполнен чувств и надежд самых радостных.

XVII

Мир как воплощение Божьей мысли и воли и как арена для нравственного подвига человека, мир как воплощение красоты вечной и, наконец, среди этого мира Россия с ее настоящей и грядущей славой – вот мысли, которые вдохновляли поэта и вот источник той любви к жизни, которую не могли заглушить в нем печали его личного существования.

Что же дала ему жизнь, ему самому, как человеку, чтобы «воспоминание о ее красоте» могло скрасить его настоящее?

Отметим прежде всего, что вся личная жизнь поэта исчерпывалась, действительно, одними воспоминаниями.

Как недвижимы волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними – полный жизни мир,
А здесь я одинок и сир
Отдал всю жизнь воспоминанью —

[«Послание к отцу», 1836]

признавался он тому человеку, которого любил больше всего на свете.

Стихи, в которых он вел эти одинокие беседы со своим прошлым, должны были носить, конечно, характер самый интимный.

В одном грациозном по замыслу стихотворении «Роза и соловей» поэт заставляет соловья жаловаться на то, что роза, склонив печально свою голову, не глядит на него и его не слушает. «Зачем мне слушать тебя? – отвечает роза. – Ты про свою любовь поешь слишком громко, и мне грустно: если ты поешь не для меня одной, то, значит, ты меня не любишь». «Отдай мне всю твою душу, – говорит ей в ответ соловей, – не расточай ее другим, и тогда я буду петь тихо».

Песнь Одоевского о своем прошлом была именно такой тихой песнью любви, в которой и певец, и то, к чему он обращался, принадлежали неразрывно друг другу и в своих беседах не желали иметь свидетелей. «Скромный, пустынный цвет, распустившийся над могилой певца» – вот как сам поэт называл эти свои заветные думы. Но хоть эти цветы и росли над могилой и говорили о смерти, в них, тем не менее, таилось глубокое и

сильное очарование жизнью.

Само собою ясно, что о медленном увядании и смерти поэту приходилось думать и говорить очень часто. Еще в Петропавловской тюрьме он писал:

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!
В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен и тяжел полет
Души моей необновленной
Явлений новых красотой…
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность
Но он кипит… свои главы
Подъемлет он на вызов бури,
То отражает свет лазури
Бездонным сводом синевы,
Пылает в заревах, кровавый
Он брани пожирает след;
Шумит в ответ на громы славы
И клики радостных побед.
Но мысль моя – едва живая —
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен.
Все прежний мир она объемлет,
И за оградой душных стен —
Востока узница – не внемлет
Восторгам западных племен.

[«Дума узника», 1827]

Тюрьма сменилась каторгой, и мысль о настоящем стала еще мрачнее.

Одоевский узнал о смерти Грибоедова и писал:

О дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем!
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой
И горсть земли, с могилы взятой,
Прижму, как друга моего.
Как друга!.. Он смешался с нею,

И вся она родная мне.
Я там один с тоской моею,
В ненарушимой тишине,
Предамся всей порывной силе
Моей любви, любви святой
И приросту к его могиле,
Могилы памятник живой.
Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я – в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,
И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут.
Я в узах был; но тень надежды
Взглянуть на взор его очей.
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновенье —
Живила грудь, как вдохновенье,
Восторгом полнила меня!
Не изменилось заточенье;
Но от надежд, как от огня,
Остались только дым и тленье.
Они – мне огнь; уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснутся;
Что год, что день, то связи рвутся;
И мне, мне даже не дано
В темнице призраки лелеять,
Забыться миг веселым сном
И грусть сердечную развеять
Мечтанья радужным крылом.

[«Дума на смерть А. С. Грибоедова», 1829]

Так текли годы, и мысль о близкой смерти все настойчивее и настойчивее тревожила фантазию поэта. Одоевский писал отцу:

Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой чёлн, скользивший без кормила;
Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.

[«Послание к отцу», 1836]

Но вот каторга сменилась поселением; окончились и годы поселения: Одоевский ехал на Кавказ. На пути, за несколько верст до Ставрополя, он и его товарищ М. А. Назимов, сидевший с ним в одной повозке, увидели стаю журавлей, летевших к югу. «Приветствуй их!» – сказал Назимов своему товарищу, и Одоевский ответил на этот вызов стихами, в которых опять прозвучало приветствие смерти:

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на юг! туда, где яхонт неба рдеет,
И где гнездо из роз себе природа вьет;
И нас, и нас далекий путь влечет…
Но солнце там души не отогреет,
И свежий мирт чела не обовьет.

Пора отдать себя и смерти, и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?[158]

[«Экспромт», 1838]

И чем ближе подходил поэт к 1839 году, последнему в его жизни, тем явственнее слышался ему этот призыв смерти. Среди его стихотворений есть одно, очень сильное и мрачное, написанное неизвестно по какому случаю и обращенное к какому-то женскому образу, если под этим образом не разуметь души самого поэта. Это – очень яркое изображение предсмертной агонии.

Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна
Тебе, страдалица младая?
Уже давно заснули небеса;
Как усыпительна их сонная краса
И дремлющих полей недвижимость ночная!
Спустился мирный сон, но сон не освежит
Тебя, страдалица младая!
Опять недуг порывом набежит,

И жизнь твоя, как лист пред бурей, задрожит,
Он жилы нежные, как струны напрягая,
Идет, бежит, по ним ударит, и в ответ
Ты вся звучишь и страхом и страданьем.
Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем,
И по листу срывает жизни цвет…
И каждый миг усиливая муку,
Он в грудь твою впился, он царствует в тебе.
Ты вся изнемогла в мучительной борьбе;
На выю с трепетом ты наложила руку;
Ты вскрикнула, огнь брызнул из очей,
И на одре безрадостных ночей
Привстала, бедная: в очах горит мученье,
Страдальческим огнем блестит безумный взор,
Блуждает жалобный и молит облегченья…
Еще проходит миг; вновь тянутся мгновенья
И рвется из груди чуть слышимый укор:
«Нет жалости у вас! Постойте! вы так больно,
Так часто мучите меня…
Минуты нет покойной. Нет! довольно
Страдала я в сей жизни; силы нет…»

Приведенные стихотворения говорят достаточно ясно о том, какое безотрадное настроение охватывало поэта всякий раз, когда он начинал размышлять о своем настоящем.

Особенно печально был он настроен в самые последние годы своей жизни. Его предсмертная тоска всего яснее отразилась в его стихотворении «Моя Пери», которое он сочинил в Карагаче, в Грузии, в 1838 году, т. е. за год до кончины. Это единственное из всех его произведений, в котором он изменил своей любви к людям и жизни, почувствовал полное свое одиночество и с радостью готов был променять земную жизнь на любую воздушную отчизну. В сборнике его стихотворений, эти мрачные строки – одни из самых грациозных.

Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери;
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий…
Теперь, топлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подернутых очей.
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,

С усмешкою гляжу на них угрюмый;
Но жизнь моя цветет улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О, Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где все негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывет в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарею,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.

XVIII

Была и еще область чувств и ощущений, куда поэт спасался всякий раз, когда тягота действительности давала себя слишком чувствовать. Это – его личные воспоминания. Они в нем оставались так свежи, что перед ними бледнело настоящее.

Так много ценного, светлого и радостного запечатлелось в этих воспоминаниях, что жизнь, которая хоть на мгновение могла дать человеку такую радость и такой свет, была в глазах поэта навсегда оправдана.

Одоевскому досталось в дар радостное безоблачное утро, согретое материнской любовью. Любовь к покойнице, столь рано отлетевшей, Одоевский сочетал со своей любовью к людям:

Тебя уж нет, но я тобою
Еще дышу;
Туда, в лазурь, я за тобою
Спешу, спешу!
Когда же ласточкой взовьюсь я
В тот лучший мир,
Растаю и с тобой сольюсь я
В один эфир —
Чтоб с неба пасть росой жемчужной,
Алмазом слез
На бедный мир, где крест я дружно
С тобою нес.
Но на земле блеснув слезами,
Взовьемся вновь
Туда, где вечными зарями
Блестит любовь.

[«К отлетевшей», 1828]

Такое же глубокое чувство питал он и к своему отцу, которого, к несчастью для себя, пережил, хотя всего лишь на несколько месяцев. Трудно найти более нежное стихотворение, чем то, с каким он обращался к отцу в 1836 году. Он писал ему:

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,

Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной.

Проснется ль темный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос —
В луне, в туманной выси гор
Везде мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.

Когда ж об отчий твой порог
Пыль чуждую с иссохших ног
Стряхнет твой первенец-изгнанник,
Войдет – растает весь в любовь,
И небо в душу примет вновь,
И на земле не будет странник?

Нет, не входить мне в отчий дом
И не молиться мне с отцом
Перед домашнею иконой;
Не утешать его седин,
Не быть мне от забот, кручин
Его младенцев обороной!

[«Послание к отцу», 1836]

* * *

В раздумье над своей судьбой Одоевский спрашивал однажды Провиденье:

Зачем земли он путник был,
И ангел смерти и забвенья,
Крылом сметая поколенья,
Его коснуться позабыл?
Зачем мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнует трепетную грудь?
Как званый гость, или случайный,
Пришел он в этот чуждый мир,
Где скудно сердца наслажденье
И скорби с радостью смешенье
Томит как похоронный пир? —

[«Элегия», 1830]

На этом похоронном пиру он имел, однако, друзей, которых любил искренне.

Дружба, мы знаем, не изменяла ему ни разу во всю его жизнь. Он был любимцем своих товарищей, Вениамином в их семье; и сколько счастливых минут эта дружба принесла ему! Когда один из товарищей привез ему привет от курганских ссыльных, он, чувствуя, какую волну до самозабвения радостных воспоминаний этот привет поднял в его сердце, писал им:

Так путники идут на богомолье
Сквозь огненно-песчаный океан,
И пальмы тень, студеных вод приволье
Манят их в даль… лишь сладостный обман
Чарует их; но их бодреют силы,
И далее проходит караван,
Забыв про зной пылающей могилы.

[«А. М. Янушкевичу»[159], 1836]

Кажется, что и любовь, в тесном смысле этого слова, была одной из тех красот мира, которыми Одоевский успел насладиться. Нам, впрочем, ничего не известно о его сердечных привязанностях, но в двух стихотворениях есть несомненный их отблеск, есть намек на счастье, которое могло бы осуществиться, если бы поэт нечаянно не умер заживо. Оба стихотворения написаны в очень минорном тоне, но в этих грустных словах заключена радость очарованья:

Еще твой образ светлоокий
Стоит и дышит предо мной;
Как в душу он запал глубоко!
Тревожит он ее покой.
Я помню грустную разлуку:
Ты мне на мой далекий путь,
Как старый друг, пожала руку
И мне сказала: «Не забудь»!
Тебя я встретил на мгновенье,
На век расстался я с тобой!
И все – как сон! Ужель виденье —
Мечта души моей больной?

Но если только сновиденье
Играет бедною душой,
Кто даст мне сон без пробужденья?
Нет, лучше смерть и образ твой!
[«Мой непробудный сон», 1827]

Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою;
А встречусь – забьется в груди ретивое,
Как лист запоздалый на ветке.
Хотел бы – как небо в глубь синего моря —
Смотреть и смотреть тебе в очи!
Приветливой речи, как песни родимой
В изгнанье хотел бы послушать!
Но света в пространстве падучей звездою
Мелькнешь, ненаглядная, мимо —
И снова невидно, и снова тоскую,
Усталой душой сиротея.

*[«К *»]*

Но ощущение сиротства не могло поколебать веры поэта в святость и силу любви: ему стоило только оглянуться, чтобы иметь перед глазами пример такой самоотверженной и ни перед чем не отступающей привязанности; и Одоевский преклонился перед подвигом тех жен и невест, которые последовали в Сибирь за своими избранными и мужьями. Об этих «ласточках», которые прилетели в их тюрьму, этих «ангелах, низлетевших с лазури, небесных духах, видениях, одевших прозрачные земные пелены», об этих «благих вестниках Провиденья», которые каждый день садились у ограды их тюрьмы и умиротворяли их печали, поэт вспоминал с истинным умилением («Далекий путь», 1831[160]; «В альбом М. Н. Волконской», 1829).

Одоевский мог вспомнить также с благодарностью и о чисто внешнем блеске жизни, который тешил его во дни его свободы. И из этого круга светского веселья он также не вынес ни одного неприятного воспоминания. Обычного, очень распространенного тогда, глумления над пустотой и бессердечностью этого светского круга мы не находим в его стихах; мы встречаем, наоборот, редкую способность смотреть с высоты на внешние прикрасы жизни, смотреть на них философски, не гоняясь за ними и не тоскуя о них, как тосковали нередко многие самые злые их обличители…

Вот в каких словах прощался поэт с этим вихрем веселья[161]:

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица – свежей красотой.
Усталый, из толпы я скрылся,
И жаркую склоня главу,
К окну в раздумье прислонился
И загляделся на Неву.
Она покоилась, дремала
В своих гранитных берегах,
И в тихих, сребряных водах
Луна, купаясь, трепетала.
Стоял я долго; зал гремел…
Вдруг без размера полетел
За звуком звук. Я оглянулся,
Вперил глаза, – весь содрогнулся,
Мороз по телу пробежал.
Свет меркнул… Весь огромный зал
Был полон остовов… Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота,
С костей их все покровы спали;
Одно осталось: их уста,
Как прежде, все еще смеялись.
Но одинаков был у всех
Широких уст безгласный смех.
Глаза мои в толпе терялись,
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались…
Плясало сборище костей.

[«Бал», 1827]

В этой пляске смертей нас не может не поразить ее философское спокойствие. В отличие от всех danses macabres в ней нет ни сатиры, ни злорадства: ясный, трезвый взгляд на тленность всего мирского, среди которого человек счастлив, если может сохранить улыбку. Этот безгласный смех пляшущих остовов – не насмешка над весельем мира, а как бы оправдание улыбки среди неизбежного крушения.

* * *

Когда живешь окруженный могилами, как жил Одоевский, остается либо пожелать самому лечь скорее в землю – чего Одоевский никогда не желал, либо стремиться почерпнуть в этих гробах новые силы для подвига жизни – что наш поэт всегда и делал.

В одном очень интимном стихотворении («Два образа», 1832) поэт сам говорит вполне откровенно о том, чем для него в жизни были могилы.

В ранней юности, говорит он, предстали мне два образа, вечно ясные, слились они в созвездие над моим сумрачным путем; я возносился к ним с благодарной молитвой, следил их мирный свет и жаждал их огня; и каждая черта их светозарной красы западала мне в душу. В отливе их сияния передо мной открылся мир чудес, он цвел их лучами —

И жаждал я на все пролить их вдохновенье,
Блестящий ими путь сквозь бури пронести…
Я в море бросился, и бурное волненье
Пловца умчало вдаль по шумному пути.
Светились две звезды: я видел их сквозь тучи;
Я ими взор поил; но встал девятый вал,
На влажную главу подъял меня могучий,
Меня недвижного понес он и примчал —
И с пеной выбросил в могильную пустыню;
Что шаг – то гроб, на жизнь – ответной жизни нет;
Но я еще хранил души моей святыню,
Заветных образов небесный огнь и свет.

Но, наконец, померкло мое небо, и обе звезды упали на камни двух могил. Они рассыпались и смешались с прахом, и слить их в живую полноту я теперь бессилен —

И только в памяти, как на плитах могилы,
Два имени горят: когда я их прочту,
Как струны задрожат все жизненные силы,
И вспомню я сквозь сон всю мира красоту.

То, что в этих стихах сказано о каких-то образах, земное имя которых от нас скрыто, можно отнести ко всем впечатлениям и образам, с которыми Одоевскому пришлось столкнуться в

короткие дни его счастливой и вольной жизни. Все его воспоминания были кладбищем, и все светлые и радостные чувства и ощущения – могильными плитами, говорившими о прошлом, но зато о таком хорошем и красивом прошлом, что поэт ни разу не пожалел о том, что остается среди живых и что ему приходится скрашивать свои будни созерцанием раскинувшегося перед ним кладбища.

XIX

Можно спросить, однако, неужели декабрьского дня было недостаточно для того, чтобы отнять у этого человека всякую любовь к жизни и всякую охоту миролюбиво ею восхищаться? Неужели этот день, день страшного разочарования, не мог навсегда оставить в сердце человека осадок горечи и злости, достаточный, чтобы вызвать в нем не только осуждение переживаемой минуты, но вообще отрицательное отношение к самому процессу жизни, к ее радостям, благам и идеалам?

А между тем пессимистический взгляд на жизнь, на судьбу человека и на его нравственную ценность был чужд всем декабристам, даже наиболее пострадавшим из них, конечно, за исключением тех, на кого несчастие так сильно подействовало, что их душевное равновесие было навсегда поколеблено. Как бы ни было тяжело их несчастие, они не переносили своей печали с личных ощущений на почву историко-философских обобщений.

Такая устойчивость в миросозерцании вытекала из непоколебимой веры в правоту тех основных гуманных взглядов и тех общественных идеалов, которые заставили их стать в ряды недовольных; и история выполнила часть намеченной ими программы, а в наши дни обещает выполнить и остальную. Катастрофа 14 декабря была в их глазах крушением боевого плана, но не отрицанием самого мотива борьбы, и этот роковой день не поколебал в их сердцах ни уверенности в правоте их убеждений, ни доверия к нравственным силам человека вообще.

XX

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал,
Но с юных лет пил желчь мучений
И в гробе заживо лежал;
Кто ядом облит был холодным
И с разрушительной тоской
Еще пылал огнем бесплодным
И порывался в мир душой,
Но порывался из могилы —
Тот жил! Он духом был борец:
Он, искусив все жизни силы,
Стяжал страдальческий венец.

[«Элегия», 1830]

– писал Одоевский в одной из своих элегий.

Эти слова – его эпитафия: так сжато и полно выражена в них вся сущность его внутренней жизни – а иной он не имел.

Поэтическое вдохновенье как дар природы… любовь к миру и к людям… очарование красотой этого мира… пыл душевного огня, презирающий опасность… мимолетная улыбка свободы и счастья… живая могила… разрушительная тоска, и все-таки жизнь, жизнь, полная духовной борьбы… и над всем этим венец страдания…

* * *

Печатается по изданию: *Котляревский Н. А.* Декабристы. Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский: их жизнь и литературная деятельность. СПб., 1907. (с сохранением особенностей стиля, орфографии и синтаксиса).

notes

Примечания

1

Когда его отец скончался, Лермонтов посвятил ему стихотворение, в котором правды, вероятно, было столько же, сколько и преувеличения:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец.
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет…

[1831]

2

Поэт вообще любил приводить свою загадочную меланхолию в связь с грустными воспоминаниями об этом выстраданном семейном раздоре. Так, например, он писал:

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец,
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом; —
В ней соку нет, хоть зелена, —
Дочь смерти – смерть ей суждена!

[1831]

3

Лермонтов вспоминал о своем пребывании в университете с иронией:

Святое место!.. Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры,
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить – с водой иль просто голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто – в грязной луже, Вакхом упоенный,
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяяся чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;
Уходит, – втрое хуже…

4

Если верить Лермонтову, то он впервые влюбился, имея 10 лет от роду. Вот что он занес в свою тетрадку:

«1830 г. 8 июля. Ночь.

Кто мне поверит, что я знал уж любовь, имея 10 лет от роду? – Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. – Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. – Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. – Я думаю, что в такой душе много музыки».

Лермонтов полюбил второй раз, когда ему было 12 лет. См. стихотворение «К гению» 1829 года.

5

Искреннее признание такого влюбленного мальчика сохранено в одном стихотворении:

Сон

Я видел сон: прохладный гаснул день,
От дома длинная ложилась тень,
Луна, взойдя на небе голубом,
Играла в стеклах радужным огнем;
Всё было тихо, как луна и ночь,
И ветр не мог дремоты превозмочь.
И на большом крыльце меж двух колонн,
Я видел деву: как последний сон
Души, на небо призванной, она
Сидела тут пленительна, грустна;
Хоть, может быть, притворная печаль
Блестела в этом взоре, но едва ль.
Ее рука так трепетна была,
И грудь ее младая так тепла;
У ног ее (ребенок, может быть)
Сидел… ах! рано начал он любить!
Во цвете лет, с привязчивой душой,
Зачем ты здесь, страдалец молодой?..
И он сидел и с страхом руку жал,
И глаз ее движенья провожал.
И не прочел он в них судьбы завет,
Мучение, заботы многих лет,
Болезнь души, потоки горьких слез,
Всё, что оставил, всё, что перенес;
И дорожил он взглядом тех очей,
Причиною погибели своей…

[1830]

6

В юношеских тетрадях Лермонтов в таких строках изъяснялся в любви этому краю, после первого своего знакомства с ним.

Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!

* * *

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, и так оробеют, в таком уж смущеньи, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные, громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль по краям тропы виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безыменная речка, и выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный иль просто охотник… все, все в этом крае прекрасно.

Воздух так чист, как молитва ребенка.
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно;
Война их стихия, и в смуглых чертах их душа говорит,
В дымной сакле, землей иль сухим тростником
Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье,
И шьют серебром – в тишине увядая
Душою – желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.

[1830]

7

Этой далекой своей родине (поэт вел свой род от шотландских рыцарей) Лермонтов посвятил одно из самых грациозных своих юношеских стихотворений:

Желание

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой…
О! зачем я не ворон степной?..

[1831]

8

О ком вспоминал он при этих думах о казни?

9

Предсказание

Это мечта.

Настанет год, России черный год,
Когда…….. упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как вид его с возвышенным челом.

10

Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет;
Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.

[«Джулио», 1830]

Есть сумерки души, несчастья след,
Когда ни мрака в ней, ни света нет.
Она сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна ей, и смерть страшна;
И небо обвинить нельзя ни в чем,
И как на зло всё весело кругом!

[«Литвинка», 1830]

11

В недавно вышедшей книге профессора Дюшена (*Duchesne E.* Michel Jourievitch Lermontov. Sa vie et ses œuvres. Paris, 1910) разъяснен с большим знанием дела вопрос о всех литературных заимствованиях, которые можно подметить в творчестве Лермонтова. Большой знаток Лермонтова и хорошо вооруженный знанием европейской романтики, профессор Дюшен отметил в стихотворениях Лермонтова все места, которые повторяют или напоминают строфы Мицкевича, Гёте, Шиллера, Гейне, Цедлица, Байрона, Оссиана, Скотта, Мура, Шатобриана, Гюго, Барбье, Виньи, Мюссе и Шекспира. Результат этой работы указывает на большую начитанность Лермонтова, на совпадение его настроения с настроением указанных поэтов и главным образом на то, что при всех этих невольных, иногда и вольных заимствованиях наш поэт оставался самостоятельным художником и мыслителем, который не вычитывал из книг настроения, а лишь иногда подкреплял и пояснял его хорошими готовыми образцами.

12

Тот же мотив одинокой любви дан в стихотворении «Стансы» [1831].

Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою.
Она, как чумное пятно
На сердце, жжет, хотя темно;
Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу – как неба властелин —
В прекрасном мире – но один.

Любопытны, например, те строфы, с которыми поэт обращается к Кавказу (в посвящении поэмы «Аул Бастунджи»). В них слышен чисто «демонический» мотив и аналогия с «Демоном» бросается в глаза:

Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокий,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то недоступные уму
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле…

14

Этот ответ Демона, что «Бог занят небом, не землей», был в окончательной редакции поэмы пропущен.

15

Только в первой редакции поэмы соблазненная демоном героиня делается духом ада.

16

Про нашего героя один из его светских знакомых высказывался в таких выражениях: «Как видно из его бумаг и поступков, он имел характер пылкий, душу беспокойную и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает отчего она произошла? Мне сказывали, что его умственные способности очень рано стали развиваться. Он узнал дурную сторону света, когда еще не мог остеречься от его нападений, ни равнодушно переносить их. Его насмешки не дышали веселостью; в них видна была горькая досада против всего человечества. Правда, были минуты, когда он предавался всей доброте своей. Обида малейшая приводила его в бешенство, особливо когда трогала самолюбие. У него нашли множество тетрадей, где отпечаталось все его сердце; там стихи и проза; есть глубокие мысли и огненные чувства. Я уверен, что если б страсти не разрушили его так скоро, то он мог бы сделаться одним из лучших наших писателей: в его опытах виден гений…»

17

Видоизменен лишь конец поэмы; пленника убивает отец влюбленной в него черкешенки. Мотив, напоминающий «Абидосскую невесту».

18

Начало поэмы напоминает «Лару» Байрона.

19

В поэме очень заметны следы влияния Конрада Валенрода Мицкевича.

20

Кроме поименованных поэм до нас дошли еще отрывки однородных с ними юношеских сочинений Лермонтова. К их числу относятся «Преступник» (1829) – исповедь какого-то разбойника, который жил в связи с своей мачехой и на большой дороге застрелил своего отца; «Олег» (1829) – начальные строфы исторической поэмы, в которых описывается свиданье князя Олега с Стрибогом, которого он вызвал из пучины озера; «Венеция» (1829) с неизменной гондолой, гитарой и чичизбеем; «Два брата» (1829) – рассказ о нежнейшей дружбе двух братьев, насмерть рассорившихся из-за любви к одной женщине; «Исповедь» (1830) – покаяние испанского монаха, которого предают казни за то, что он, презревший жизнь, не мог разлюбить ее и не устоял перед красотой одной монахини (вероятно, первый набросок «Боярина Орши»); «Две невольницы» (1830) – сжатая и очень красивая история любви испанки Гюльнары к султану Ахмету, который влюблен в гречанку Заиру. Заира не любит султана, и ее бросают в волны у подножия башни, где Гюльнара, с улыбкой гордости ревнивой поет свою песню мщения (навеяна «Бахчисарайским фонтаном» и «Гяуром»).

Как лишний меж людьми, своим рожденьем
Он душу не обрадовал ничью,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, преступлением.
Он материнской ласки не знавал:
Не у груди, под буркою согретый,
Один провел младенческие леты;
И ветер колыбель его качал,
И месяц полуночи с ним играл!
Он вырос меж землей и небесами,
Не зная принужденья и забот;
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один лазурный свод;
И лишь орлы да скалы величавы
С ним разделяли юные забавы.
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою,
И бури юга отразились в ней
Со всей своей ужасной красотою!..
……
От сердца, мнилось, отлегло;
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренне гордился,
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один,
Забыл он жизни скоротечность,
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он всё, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..

Или:

…передо мной
Блестит надменный, глупый свет
С своей красивой пустотой!

[1830]

Как, например, «Два великана», «Парус», «Опять народные витии», «Умирающий гладиатор», «Русалка», «Еврейская мелодия», «Ветка Палестины».

24

«Казначейша» была, кажется, набросана еще в Москве в 1830 году.

Эти строфы были затем перенесены Лермонтовым в знаменитое стихотворение «Памяти А. И. Одоевского».

26

«Маскарад» написан Лермонтовым в двух редакциях. Вторая редакция возникла совершенно случайно, в угоду цензуре, которая не пропускала первую редакцию на сцену. Как вынужденная случайность, вторая редакция может быть совсем обойдена.

В стихотворениях Лермонтова эта резкая нота не новая. Еще в юношеских его стихах встречались строфы с очень откровенным общественно-политическим смыслом. Попадаются они и в стихотворениях позднейшего периода, даже такого веселого, каким были годы юнкерской жизни.

Так, например, в поэме «Сашка» есть строки, по смыслу близко подходящие к заключительным словам стихотворения «На смерть Пушкина». Поэт говорит в этих строках о тех людях, которые трудятся, «как глупая овца, в рядах дворянства с рабским униженьем» и «прикрыв мундиром сердце подлеца», ищут чинов, «мирясь с людским презреньем» («Сашка», I, CXLVI).

Недавно было восстановлено одно, в отрывке сохранившееся, стихотворение Лермонтова, в котором речь шла также о льстецах, стоящих вокруг трона. Стихотворение должно быть отнесено, кажется, к 1836 году:

И день настал, и истощилось
Долготерпение судьбы,
И море шумно ополчилось
На миг решительной борьбы,
И быстро поднялися волны,
Сначала мрачны и безмолвны.
И царь смотрел; и окружен
Толпой льстецов, смеялся он;
И царедворцы говорили:
«Не бойся, царь… мы здесь… Вели,
Чтоб берега твоей земли
Стихию злую отразили,
Ты знаешь, царь, к борьбе такой
Привык гранитный город твой».
И гордо царь махнул рукою
И раздался его приказ.
Вот ждет, довольный сам собою,
Что море спрячется как раз.
Дружины вольные не внемлют,
Встают, ревут, дворец объемлют…
Он понял, что прошла пора,
Когда мгновенный визг ядра
Лишь над толпою прокатился
И рой мятежных разогнал;
И тут-то царь затрепетал,

И к царедворцам обратился…
Но пуст и мрачен был дворец
И ждет один он свой конец.
И гордо он на крышу входит
Столетних, царственных палат,
И сокрушенный взор возводит
На свой великий пышный град…
……

«Два Великана» 1832. Ср.: «Сашка, I, 7»:

Москва! Москва!..
…… ……
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла…

Он умел также писать удивительные женские портреты. Портреты графини А. К. Воронцовой-Дашковой и княгини М. А. Щербатовой – уники словесной портретной живописи:

Как мальчик кудрявый резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле – и радость и горе.
В глазах – как на небе светло,
В душе ее тёмно, как в море!

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

[«К портрету графини Воронцовой-Дашковой», 1840]

На светские цепи,
На блеск упоительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны

Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки;
Как ветер пустыни
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру.

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит,
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

[«М. А. Щербатовой», 1840]

«Сосед», 1837; «Соседка», 1840; «Пленный рыцарь», 1840:

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решетка бойницы,
Каменный панцирь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

31

Т. е. французам, которые на словах ополчились против России за поляков.

32

Лермонтов собирался даже написать целую поэму из древнехристианской жизни, как это видно по отрывку: «Это случилось в последние годы могучего Рима», 1841.

Любопытно, что Пушкин не отмечен.

34

В повести есть ценные строки, в которых нетрудно узнать страничку из автобиографии.

«[Саша] разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие! Отец им вовсе не занимался, хозяйничал и ездил на охоту. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презреньем улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь, болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки… Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! Никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению».

35

«До двенадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и, наконец, увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите, ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю трех тысяч душ и племяннику двадцати тысяч московских тетушек. Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг – чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было впрочем не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их la bande joyeuse».

Много личных воспоминаний об одном из ранних увлечений кроется и на тех страницах повести, на которых рассказана история жестокосердного кокетства Печорина с Лизой Негуровой.

Критика нападала на автора за то, что он вплел в рассказ эту скучную Веру. Но фигура эта нужна для контраста и для оттенения целого строя чувств в душе героя.

37

В первоначальном варианте рукописи за этой картиной следует, однако, очень жесткое рассуждение по ее поводу.

Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Властелины на земле!
Люди, люди развращенные —
То рабы, то палачи —
Бросьте, злобой изощренные
Ваши копья и мечи!
Не тревожьте сталь холодную —
Лютой ярости кумир!
Вашу внутренность голодную
Не насытить целый мир!
Ваши зубы кровожадные
Блещут лезвием косы —
Так грызитесь, плотоядные,
До последнего, как псы!..

Кроме этих двух философских поэм Губером была написана еще поэма «Прометей» – очень характерная как попытка примешать к концепции Прометея Гёте байронический мотив.

Но, оплакивая мирного и веселого друга, Ростопчина понимала ясно, какой утратой для родины была смерть Лермонтова. Она писала:

Да! он погиб, – поэт – надежа наш
Единый луч на небосклоне русском,
Единая отрадная заря
Меж редкими, закатными звездами, —
Меж тех светил, что на конце пути
Сияют нам в просонье, утомленном,
Едва горя и скупо грея нас
Поэзии огнем животворящим…
Да! Он погиб… И кто нам заменит,
Кто нам отдаст его из современных,
Из сверстников?.. В чьих песнях мы найдем
Отваги жар, и мысли сильной блеск,
И вопль болезненный, звучащий глухо
Под праздничным, восторженным напевом,
Как тайный стон измученного сердца.
Как вечная, невольная молитва?..

[«Пустой альбом», 1841]

41

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 9, 10.

42

Государственный Архив. I. В., № 347. Дополнительные сведения об Одоевском имеются в нижеследующих делах этого Архива №№ 62, 113, 192, 208, 217, 222 и 229.

43

Письмо к тетке 1836 г., из Иркутска. – Русский архив. 1885. I, с. 130.

44

Из неизданных писем к В. Ф. Одоевскому, хранящихся в Импер. Публичной Библиотеке.

45

Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/X. 1823, 23/XII. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372, 377.

46

1821 г. 10 октября – юнкер. 1822 г. 1 мая – эстандарт-юнкер. 1823 г. 23 февраля – корнет.

В корнеты он был произведен 23 февраля 1823 г.

48

Из неизданного письма 1822, 3/VI из Великих Лук (Импер. Публичная Библиотека).

49

Из неизданного письма к В. Ф. Одоевскому 1821, 24/VIII (Импер. Публичная Библиотека).

50

Из переписки В. Ф. Одоевского. 1823, 2/III. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 376.

51

Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/X. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372.

В его письмах попадаются иногда очень милые остроты:

Лежачих не бьют, а особливо ослов; ты их тем заставишь только встать, чтобы снова лягаться.

Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни.

53

Из неизданного письма 1824 г. (Импер. Публич. Библиотека). Смысл этих писем не совсем соответствует словам бар. А. Розена, который говорит, что Одоевский был христианин с «философическими воззрениями Канта и Фихте». (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 10). Одоевский был в значительной степени равнодушен к философии.

54

Вот это неизданное стихотворение: оно не из сильных (Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 5/X. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 373–374).

…сбросив бремя светских уз,
В крылатые часы отдохновенья,
С беспечностью любимца муз
Питаю огнь воображенья
Мечтами лестными, цветами заблужденья.
Мечтаю иногда, что я поэт,
И лавра требую за плод забавы,
И дерзостным орлом лечу, куда зовет
Упрямая богиня славы:
Без заблужденья – счастья нет.
За мотыльком бежит дитя во след,
А я душой парю за призраком волшебным,
Но вдруг существенность жезлом враждебным
Разрушила мечты – и я уж не поэт!
Я не поэт! – и тщетные желанья
Дух юный отягчили мой!
Надежда робкая и грустны вспоминанья
Гостьми нежданными явились предо мной.

55

Из неизданного письма 1824, 19/III (Импер. Публичная Библиотека).

56

Генерал Раевский, под началом которого он служил на Кавказе, продиктовав свои реляции, присылал их обыкновенно рядовому Одоевскому для просмотра и поправок. (Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 646–647).

57

«Воспитывался у моих родителей, – писал он в одном показании, – учители мои были: российского языка и словесности д. с. с. непременный секретарь Императорской Российской Академии Соколов; французского: Геро, Шопен; немецкого: Катерфельд; английского: Дайлинг; латинского: Белюстин, а потом Диц; греческого: Попов; истории и статистики: Арсеньев (короткое время) и Диц; чистой математики: Темясен; фортификации: полевой и долговременной: Фарантов; физики: профессор Делош; законоучители: протоиереи Каменский и Мансветов.

58

В письмах к В. Ф. Одоевскому. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 371–378.

Prince de mon âme – называл его А. Бестужев.

60

Хомяков уверял Одоевского, что он (Одоевский) вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства. *Лясковский В.* А. С. Хомяков. М., 1897, с. 12.

61

Он удерживал Грибоедова от излишнего увлечения закулисными цирцеями: А. С. Грибоедов. – Русская старина. 1874. Т X, с. 276; а также: Русский архив. 1874. I, 1537.

Письмо писано, впрочем, при таких условиях, что принимать его всецело на веру невозможно. Каковы бы ни были, однако, эти условия, письмо могло бы быть мягче. «Брат Александр! – писал ему Грибоедов, – подкрепи тебя Бог! Я сюда прибыл на самое короткое время. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат! зачем ты так несчастлив?.. Осмелюсь ли предложить тебе утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь, нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных, сделаться в узах и в заточении лучшим, нежели в самой свободе, – вот подвиг, который тебе предлагаю… Кто завлек тебя в эту гибель? Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброте сердца позаимствовать!» (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 187–188).

63

Бестужев одно время жил в квартире Одоевского, и к нему же на квартиру скоро приехал Кюхельбекер; это подало повод Каховскому сказать на допросе, что иногда для совещаний заговорщики собирались у Одоевского.

«Одоевский по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело», – показывал А. Бестужев.

В своих показаниях Одоевский отрицал этот факт.

66

Чего не было.

Одоевский отвергал это показание Бестужева.

Одоевский в произнесении этих слов также сначала не сознался, и утверждал, вопреки истине, что он *никогда* не бывал на совещаниях общества; затем он признал, что слова действительно произносил, но настаивал на том, что на совещаниях никогда не был.

69

«Все же принятие в чем состоит? “Наш ли ты?” – Ваш! – шалость, конечно, противозаконная, преступная, сделалась по милости Рылеева ужасною».

Цель общества, как Одоевский говорил Рынкевичу, было достижение представительного правления посредством распространения просвещения (?).

Несмотря на очную ставку, Одоевский показывал, что не получал этой копии и не читал конституции.

72

«14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 229. Ср. *Завалишин Д.* Записки декабриста. Мюнхен, 1904. I, с. 309.

73

Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 14–15.

Корф М. Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857, с. 116.

75

Ср. «14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 235–237.

У Одоевского при себе было 2 пистолета; один он уступил В. Кюхельбекеру. Одоевский должен был признать этот факт, хотя сначала отрицал его. Есть указание, что в пистолет, который он дал Кюхельбекеру, он насыпал песку, зная шальной нрав своего товарища.

Другое показание: «Я двадцать раз хотел уйти, но тут меня обнимали, целовали, и чтобы не показаться трусом, я остался, из дружбы также, сам не знаю отчего».

78

Шинель Одоевского, действительно, кто-то с него снял и затем в ней парадировал.

Гастфрейнд Н. Кюхельбекер и Пущин в день 14 декабря 1825. СПб., 1901, с. 10, 14, 18.

Свою растерянность и отсутствие всякого замысла Одоевский пояснял в показаниях умышленной и, вероятно, ложной бравадой. «Сменившись с дворцового караула, – писал он, – и присягнув, я возвратился домой, разделся и надел сюртук, сначала я поехал в конфектную лавку, а потом зашел к Рылееву для того, чтобы посмеяться над его мечтаниями, ибо все было тихо, и я полагал, что уже все предположения его, все его надежды рушились. Он отвечал мне: “Иди на Исаакиевскую площадь, посмотри еще: может быть, что и будет”. Я повторю, что в полки я поехал единственно из любопытства. Это должно быть согласно не только со всеми прочими показаниями, но оно явствует из самого дела. Если были какие-либо на кого возложены обязанности, то конечно не на меня, ибо они не могли на меня ни надеяться, ни полагаться».

81

«Чебышев – человек достаточный, – пишет Одоевский в другом показании, – добрый, с которым я уже знаком года два; что я зашел к нему, то это по весьма естественному случаю. Когда начали толпу разгонять, я пошел по Галерной улице и поворотил в переулок. Потом зная, что все окружено войсками, некуда было мне идти более, как через Неву. Я перешел ее, увидел, что отряд Конной Гвардии идет по Васильевской набережной. Чтобы не встретиться с ним, пошел я налево вдоль домов по тротуару; Конная Гвардия была уже очень близка. Я очутился близко дома Чебышева и зашел к нему. Сперва стоял я в сенях и думал: идти ли мне или нет? Наконец решился. Сперва я увидел одних его племянниц, которые были в большом страхе и расспрашивали меня. Я сел и почти ничего не отвечал. Потом вошел и сам Чебышев. “Ты откуда?” Я скрепился духом, отвел его в другую комнату и сказал ему, что я замешан в этом безумном и преступном возмущении. Я употребил слово тогда “шалости”, но теперь не смею и повторить такое непристойное слово, когда дело идет о злодеяниях. “Тебе делать нечего иного, как идти отдать шпагу и просить прощения у Государя”. Я худо, очень худо сделал, что тотчас же не последовал совету этого доброго человека, но я был почти без памяти».

82

Писатель А. А. Жандр, «родственницу которого Одоевский спас, вытаща ее из воды». Рассказывали, что Жандр не выдал Одоевского явившимся к нему в дом сыщикам. (Русская старина. 1874. Т. X, с. 157).

Данилов И. Забытая писательница. – Исторический вестник. 1900. Июль, с. 198. Мордвинов здесь, очевидно, спутан с Ланским.

Schnitzler. Histoire intime de la Russie. I, 248.

85

Декабристы в рассказе помощника квартального. Берлин, 1903, с. 20–26. Рассказ этот перепечатан под заглавием «Из воспоминаний петербургского старожила» в «Историческом вестнике», 1904. Январь.

Записки князя Трубецкого. Лейпциг, 1874, с. 22.

87

Записки М. Бестужева. – Русская старина. 1870. I, с. 274 (II издание).

Очень характерно, что такие показания он предполагал известными. Когда его потом спрашивали, кто убийца Милорадовича, то он высказал свои подозрения и готов был также повторить их на духу.

После этих слов вступления начинаются сами показания, с которыми мы уже знакомы.

Ср. рассказ о проруби.

91

Неподтвержденный факт. Слова, вероятно, продиктованы расстроенным воображением.

«И как увижу, – пишет он в другом показании, – Вашу снисходительность, то весь от чувств расстроюсь и половину забуду».

93

Донесение комиссии о разрядах, с. 35.

Басаргин Н. Записки. С. 56.

Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 204.

Жизнь декабристов в Чите и в Петровском заводе подробно рассказана по этим сведениям С. Максимовым («Сибирь и каторга», III, гл. 2). Много архивных сведений дано в книге Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири».

Завалишин Д. Записки. II, с. 80–81, 164.

Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 212–213.

Завалишин Д. Записки. II, с. 86–87.

100

«К частоколу в разных местах виднелись дорожки, протоптанные стопами наших незабвенных добрых дам, – пишет Беляев. – Каждый день по несколько раз подходили они к скважинам, образуемым кривизнами частокола, чтобы поговорить с мужьями, пожать им руки, может быть, погрустить вместе, а может быть, и ободрить друг друга в перенесении наложенного тяжелого креста. Сколько горячих поцелуев любви, преданности, благодарности безграничной уносили эти ручки, протянутые сквозь частокол! Сколько, может быть, слез упало из прекрасных глаз этих юных страдалиц на протоптанную тропинку. Всю прелесть, всю поэзию этих посещений мы все чувствовали сердцем; а наш милый поэт Ал. Иванович Одоевский воспел их чуднозвучными и полными чувства стихами». (*Беляев А.* Воспоминания декабриста. С. 231).

101

Существовала целая комиссия для выработки устава внутреннего управления этой «общиной». В комиссии принимал участие и Одоевский. (*Завалишин Д*. Записки. II, с. 225).

Одоевский был очень хороший музыкант.

103

Завалишин Д. Записки. II, с. 94, 95, 97.

104

Среди декабристов в Чите образовалось целое религиозное общество, которое называлось «конгрегация». О нем, вероятно, и идет речь у Басаргина. Ср. *Сиротинин А.* Князь А. И. Одоевский. – Исторический вестник. 1883. Май, с. 400.

105

Басаргин Н. Записки. С. 86.

Завалишин Д. Записки. II, с. 103.

107

Из записок Н. И. Лорера. – Русское богатство. 1904. VII, с. 78–79.

Сам барон Розен пояснял своим товарищам личное освобождение крестьян Прибалтийских губерний из крепостной зависимости без наделов земли, без всяких выкупных договоров, но с общим правом приобретения земельной собственности по обоюдным соглашениям.

109

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 10–12.

110

Одоевский сочинил в каземате даже целую грамматику русского языка (*Беляев А.* Воспоминания декабриста. С. 241), и Розен хранил у себя основные правила этой грамматики, записанные рукой Одоевского (*Розен А.* Записки декабриста. Лейпциг, 1870, с. 230). К собранию сочинений Одоевского Розен приложил письмо Александра Ивановича (очевидно, к князю Вяземскому, как утверждает Розен), из которого видно, что декабристы имели намерение издавать альманах «Зарница» в пользу невинно заключенных и просил у столичных литераторов содействия (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 189). Письмо подписано Z.Z., но, судя по стилю и тону, едва ли принадлежит Одоевскому.

111

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 7.

Розен А. Записки. С. 255.

113

Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 242.

Басаргин Н. Записки. С. 127.

115

Сведения о сибирской жизни Одоевского и переписка его отца с властями по вопросу о перемещении сына в разные города Сибири и о свидании с ним хранятся в Архиве III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (I экспедиция, № 61, часть 86).

Он располагал суммой в 1000 руб. ежегодно.

В 1833 г. Одоевский пожелал помочь из своих денег трем товарищам, которые были выпущены на поселение и очень нуждались. Он просил своего дядю Ланского высылать ему ежегодно 6000 руб. и хотел 3000 из этой суммы уделить товарищам. Дело о разрешении этой присылки дошло до Государя, который отказал в просьбе. Одоевскому было выставлено на вид, что по своему положению он имеет право получать лишь 1000 р. ежегодно.

117

Инвентарь этого хозяйства сохранился по описи Волостного Головы, который ее составил, когда Одоевский покидал Елань и передавал барону Штейнгелю свое имущество. Опись довольно любопытна. Вот она с сохранением орфографии оригинала.

Наименование имуществу

Земли самим расчищенной – 1 1/2 дес.

Земли нанятой у крестьян на разные сроки от 4 до 20 лет – 16 1/2 дес.

Из них засеенных разным хлебом – 13 дес.

Дом деревянный с пристроенною горницею отъщекоторенную внутри – 1.

При нем анбар.

Скотников с поветами – 2.

Огород.

В горнице благословение Божие образ святителя Инокентия без оклада.

Мебели: Картина масленными красками писанная в золотых рамах. Другая гравированная в черных рамах с прозолот. по краям. Столярной работы из березового дерева шкаф со стеклами. Книжных шкафов – 2, ширмы, диван, кровать, барометр. Фортопьяна (оставлена с тем чтобы зимою переслать).

Разных вещей: ложек серебренных – разливальная;

хлебальных больших – 2, чайных – 2, поднос лаковый, чайник фарфоровый, чашек фарфоровых – 3 пары, скатерть, салфеток – 2, кофейная мелница, графин хрустальный, рюмок – 3, стакан, миска фаянцовая, тарелок глубоких – 2, тарелок мелких – 2. Блюдо.

Кухонной посуды: кастрюль больших – 1, малых – 1, сковород – 2, нож поварской, ухват, сковородник.

При доме: лошадей 4

корова 1

свиней 4, из коих две прапали и одну убили.

Карабок с 4 камнями уборными,

телег 3

сани 1

дровень 2

дрогов 6

сох 4

борон железных 3
деревянная 1 хомутов наборных 1 простых 6
шлей 5
Ненеустков 3
узд 5
дуг 2
топоров уских 2
широких 1
долот 2
седелка железная 1
серпов новых 6
старых 3
кос новых 4
старых 3
горбуш 2

118

Иркутский ген. – губернатор подтверждает искренность раскаяния Одоевского и действительность его недуга. Письмо Одоевского было оставлено, однако, без производства.

119

Где князь Иван Одоевский бывал сам, когда командовал драгунским полком в Сибири.

120

Тяжело читать эти письма. Желая задобрить Бенкендорфа, князь Иван Одоевский не скупится на бранные слова по адресу товарищей своего сына, этих «мерзавцев», которые его увлекли: он говорит, что стыдится сына и что и его следовало повесить, как тех «монстров». Он восторженно отзывается об императоре Николае, пишет, как он боялся, чтобы царь и Бенкендорф не простудились на смотру, выражает свой неописуемый восторг по поводу подавления Тольского восстания, поздравляет восторженно Бенкендорфа с графским титулом – и все это затем, чтобы в конце каждого письма напомнить о сыне и просить за него.

121

Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири. С. 135–136.

122

Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. I, с. 366–368.

123

Латинские слова в воспоминаниях Сатина опущены.

124

Из воспоминаний Н. М. Сатина. – Почин. М., 1895, с. 243–244.

125

Из автобиографических рассказов бывшего Кавказского офицера. – Русский архив. 1881. II, с. 231.

Розен А. В ссылку. М., 1900, с. 208, 209.

127

Полярная звезда. 1861. VI, с. 338 и след. Статья «Кавказские Воды».

Огарев и в стихах вспоминал своего друга —

…кого я глубоко любил,
Тот – муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок, —
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье.

129

Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 413.

130

Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 646–647.

131

Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 192–193.

132

Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив». 1874. II, с. 649–650.

133

Воспоминания Г. И. Филипсона. М., 1885, с. 202–204.

Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 202–204.

135

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 17–18.

Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 202–204.

137

Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 651.

138

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 19, 20.

139

Каратыгин П. Воспоминания. – Русская старина. 1875. Т. XII, с. 736.

140

Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 9.

Гастфрейнд Н. Кюхельбекер и Пущин…, с 36.

142

Роман «Село Михайловское или помещик XVIII столетия» был написан в 1828–1836 годах, но по цензурным условиям увидел свет лишь в 1866 [в 1865. – *Ред*.] году. Три главных действующих лица этого романа: Заринский, Ильменев и Рузин списаны – как утверждают близкие знакомые автора – с кн. Одоевского, Рылеева и Грибоедова. Действие рассказа происходит в XVIII веке, в кругу старой помещичьей жизни и вертится, главным образом, вокруг разных любовных интриг, описанных и развитых в стиле старых романов «с приключениями». Автор подражал, очевидно, Вальтеру Скотту, но не вполне удачно. Рассказ страшно растянут (4 тома) и полон совсем невероятных драматических положений. Роман имеет, впрочем, и свои достоинства (которые заставили Пушкина похвалить его, когда он прочел первые главы в рукописи). Несмотря на все невероятности интриги (даже мертвые воскресают), рассказ в некоторых своих частях правдив и реален. Хороши, например, описания быта духовенства высшего и низшего (в литературе 30-х годов нет этим описаниям параллели – в чем их большая ценность) и очень правдивы рассказы о разных помещичьих насилиях над крестьянами (эти страницы и сделали невозможным появление романа в печати). Нужно отметить, что во всем ходе рассказа нет решительно ничего схожего с историей декабрьского происшествия или с историей жизни того или другого декабриста. (*Данилов И*. Забытая писательница – Исторический вестник. 1900. Июль, с. 193–205).

143

Село Михайловское. СПб., 1865. I, с. 53, 55, 57, 60, 65, 207, 208, 227; II, с. 134, 213; III, с. 4, 7, 10, 213, 223.

Розен А. Записки. Лейпциг, 1870, с. 364.

145

Розен А. Записки. С. 260.

Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 206.

147

Из Пятигорска. – Русская старина. 1904. Июль, с. 161.

148

С Д. В. Веневитиновым Одоевский первый и единственный раз встретился в 1824 г. на балу у гр. Апраксина. Веневитинов произвел на Одоевского глубокое впечатление своей «меланхолией, полной грусти улыбкой и иронией». Стихи Веневитинова Одоевский ценил высоко за их «глубокое чувство, столь редко встречающееся в русских стихотворениях».

149

О трагедии «Венцеслав», сочинение Ротру, переделанной г. Жандром. – Сын Отечества. 1825. Т. XCIX; Перечень из писем к издателям «Сына Отечества» из Москвы. – Сын отечества. 1825. Т. CII.

150

Первая, вторая и четвертая часть поэмы сохранились: третью потерял Беляев. В ней был заговор Давида о погублении Василька, вступление Василька с дружиной в Киев, посещение ими храма, раздача милостыни, наконец, явление Василька во дворец к Святополку, его арест и отправление за город. (Русская старина. 1882. XXXIV, с. 564).

151

Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 32.

Завалишин Д. Записки. II, с. 145, 149.

153

Вот это стихотворение (Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 35–36):

Недвижимы, как мертвые в гробах,
Невольно мы в болезненных сердцах
Хороним чувств привычные порывы;
Но их объял еще не вечный сон,
Еще струна издаст бывалый звон —
Она дрожит – еще мы живы!
Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков
И вздрогнули в сердцах живые струны —
Все чувства вдруг в созвучие слились…
Нет, струны в них еще не порвались!
Еще, друзья, мы сердцем юны!
И в ком оно от чувств не задрожит?
Вы слышите: на Висле брань кипит! —
Там с Русью лях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.
Мы братья их! Святые имена
Еще горят в душе: она полна
Их образов, и мыслей и страданий.
В их имени таится чудный звук:
В нас будит он всю грусть минувших мук,
Всю цепь возвышенных мечтаний.
Нет, в нас еще не гаснут их мечты!
У нас в сердца их врезаны черты.
Как имена в надгробный камень.
Лишь вспыхнет огнь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выи вьется синий пламень…
Сей огнь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом…
Да судит Бог!.. А нас, мои друзья,
Пускай утешить мирная кутья
Своим таинственным обрядом.

[1831]

Оно ходило по рукам в массе списков. Один список был прислан в редакцию «Русской Старины» крестьянином Самсоновым. (Русская старина. 1875. Т. IX, с. 47).

155

В особенности Завалишин, который говорит, что Одоевский раньше наделял царское семейство самыми язвительными эпитетами, а затем написал это стихотворение. *Завалишин Д.* Декабристы. – Русский вестник. 1884. Т. II, с. 856–857.

Розен А. Записки. Лейпциг, 1870, с. 364.

157

Ср. с. 295: «Следует заметить, – справедливо указывает Н. Мазаев, – что эта милость коснулась не одного Одоевского, а одновременно и других декабристов, находившихся с ним в одном разряде». (Сочинения А. И. Одоевского. С. IX).

Перечитывая через год это стихотворение в списке бар. Розена, Одоевский прибавил следующие строки:

И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем,
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям?

(Сочинения А. И. Одоевского. С. 71).

159

С А. М. Янушкевичем Одоевский познакомился в Ишиме. Янушкевич, польский патриот, человек очень образованный и много путешествовавший, был сослан в Сибирь за антиправительственную агитацию. С Одоевским в Ишиме он поделился той кипарисной веткой, которую сорвал в Италии на могиле Лауры, и Одоевский отблагодарил его в трогательном стихотворении «А. М. Янушкевичу, разделившему со мною ветку с могилы Лауры». (Из записок Н. И. Лорера. – Русский Архив. 1874. I, с. 363–364).

«С другом любо и в тюрьме!»
В душе мыслит красна девица
«Свет он мне в могильной тьме…
Встань, неси меня, метелица,
Занеси в его тюрьму!
Пусть, как птичка домовитая,
Прилечу и я к нему,
Притаюсь, людьми забытая».

161

Он сложил это стихотворение, когда ночью на пути в Сибирь он проезжал мимо дома кн. Кочубея, где в тот вечер был блестящий бал; см. с. 289.